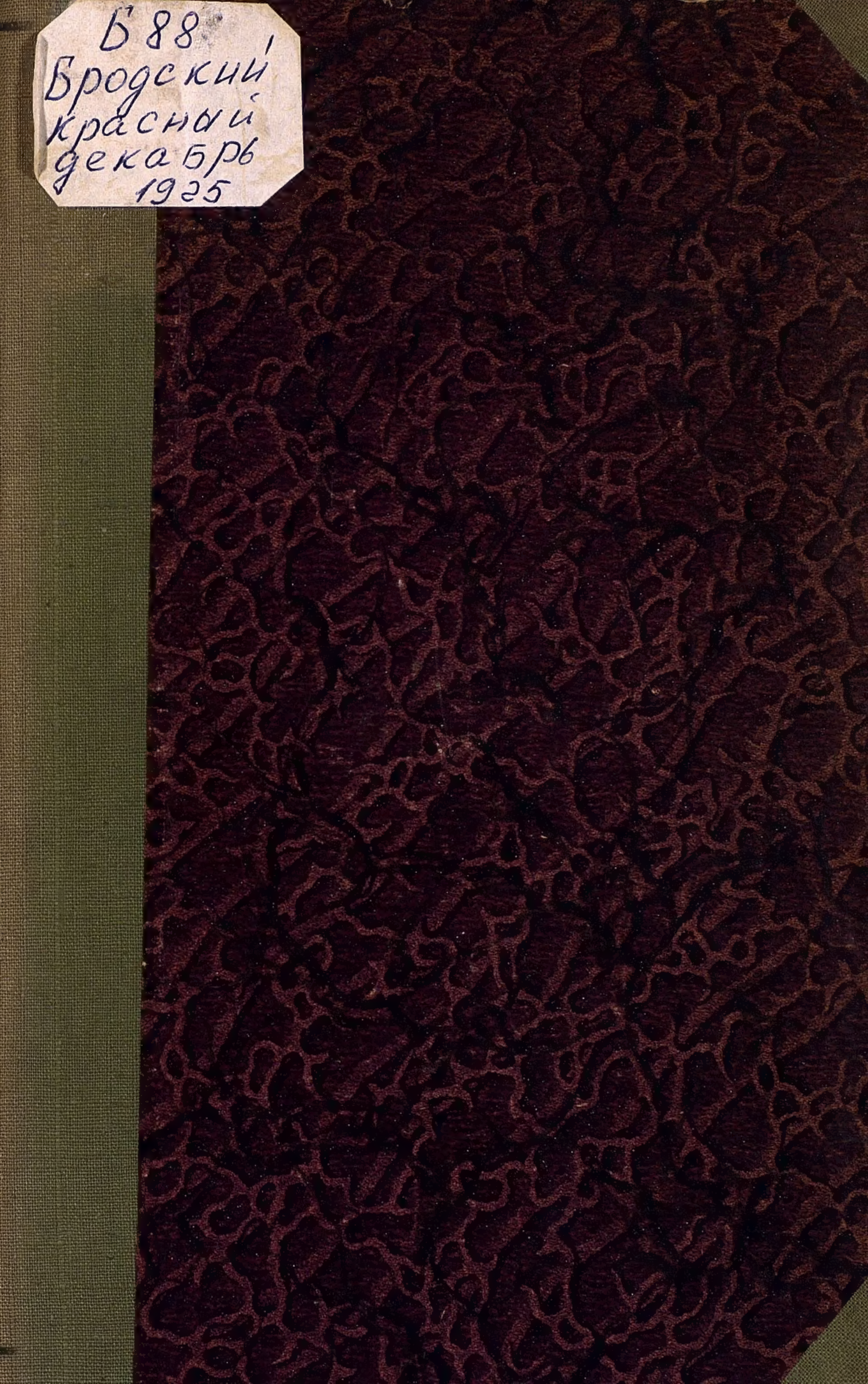

Б 88
Бродский
красный
декабрь
1925

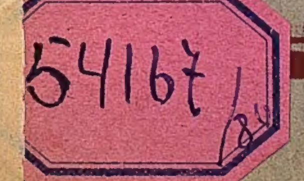
Н. Л. БРОДСКИЙ и В. ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ

КРАСНЫЙ ДЕКАБРЬ

1825—1905

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ МОТИВЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

ЛЕНИНГРАД
„КОЛОС“
1926




КОЛОС
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

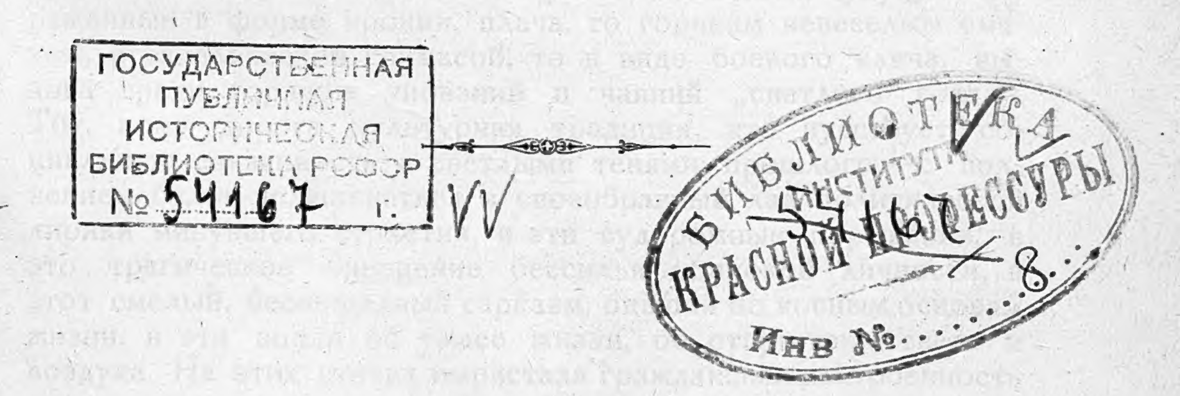


Н. Л. БРОДСКИЙ и В. ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ

„КРАСНЫЙ ДЕКАБРЬ“

от 14 декабря 1825 г. к декабрю 1905 года

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ МОТИВЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ



ЛЕНИНГРАД
„КОЛОС“
1925

ПРЕДИСЛОВИЕ.

„Наступило время пополнить литературу процензурованную литературой потаенной, представить современникам и сохранить для потомства ту общественную мысль, которая прокладывала себе дорогу, как гамлетовский подземный крот, и являлась негаданно то тут, то там, постепенно напоминая о своем присутствии и призывая к делу“. Эти строки, написанные Огаревым в 1861 году, сохраняют силу и свежесть и для наших дней: то, что Огарев собрал в своем сборнике „Русская потаенная литература XIX века“, появилось в заграничной печати и, отпечатанное лондонским станком, стало достоянием сравнительно небольшого круга читающей России, едва заметного среди „мертвых душ“ громадной части и миллионов безазбучного населения. Таким образом, потаенное в прошлом веке оставалось запретным для большинства читателей XIX века, остается неизвестным и нашей современности. А между тем поэтическое наследие, „цензуры не видавшее“, имеет значительный интерес: здесь „былое и думы“ той третьей России, которая была „между Россией Зимнего дворца и беззаботной, машинальной Россией миллионов, живущих день за днем, думающих только о своем личном деле, о своей личной потребности“ [1]), здесь те чувства, которыми дышала молодая Россия—негодование на настоящее и надежда на будущее, выраженные в форме иронии, плача, то горьким невеселым смехом, страдальческой гримасой, то в виде боевого клича, вызова среди горящих упований и чаяний „светлого града“. Тот, кому дорога культурная традиция, кто чувствует социальную связанность с светлыми тенями прошлого,—с волнением будет вслушиваться в своеобразный лад политической лирики минувшего столетия, в эти судорожные порывания, в это трагическое ощущение бессилья одинокой личности, в этот смелый, беспощадный сарказм, бивший по косным основам жизни, в эти вопли об ужасе жизни, об отсутствии света и воздуха. На этих стихах вырастала гражданская настроенность

---

[1]) „Голоса из России“. Часть IV. Лондон 1858, стр. 9. („Письмо к издателю“ без подписи; принадлежит П. Л. Лаврову).

молодой России; они будили оппозиционную мысль и звали к отрицанию всего, что давит и мешает народу; они толкали к реальному протесту, сдружали в единую, тесную семью всех, кто жаждал „вольности“, „обломков самовластья“: революционные стихотворения Пушкина в рукописных стихах облетали по всей России, вызывая у власть имущих желание сгноить непокорного поэта в соловецкой келье; не было канонира, которому не были бы известны песенки Рылеева; стихи Лаврова собирались слушать, по словам автора, „чиновные Петербургские снобы со звездами, люди машинальной служебной деятельности и копеечного ералаша, помещики и спящие девять десятых своей жизни и те потерянные в России личности“ из образованного круга, несогласные между собою во многом, но одновременно задыхавшиеся в режиме Дуббельтов, Тимашевых и прочих соратников III-го отделения. Разумеется, и другие стихи имели такое же распространение: нет ни одного провинциального архива, где бы не было тетрадей с запретными стихами; в Ленинградской Публичной Библиотеке нам известны сотни эпиграмм, пародий, политических стихотворений, остающихся до сих пор „потаенными“. Пора собрать весь этот материал, ценный для истории нашей общественной мысли. Мы не задавались целью в этом сборнике представить с исчерпывающей полнотой ни рукописной потаенной литературы, ни тех произведений политической лирики, которые нашли отражение в печатных органах. Мы пользовались рукописными сборниками средины XIX в., щедро заимствовали из Огаревского собрания 1861 г., из „Лютни“ в 7-м Лейпцигском издании, из „Русской библиотеки“ т. I (Лейпциг 1858 г.), Герценовского „Колокола“, „Голосов из России“ (Лондон 1858) и др. заграничных сборников; собрали стихотворное наследие Огарева, не увидевшее света в издании его сочинений в России и частично извлеченное нами из его рукописного архива; впервые в русском незарубежном издании привели группу политических стихотворений П. Лаврова; собрали не мало стихотворных образцов из трудно находимых или забытых изданий,— но не могли отказаться от воспроизведения и тех лирических откликов на политические темы, что давно вошли в литературный обиход: таковы некоторые произведения Пушкина, Рылеева и др. поэтов XIX-XX в.в., слишком характерные для умонастроения общественных групп определенного исторического момента.

Хронологическими вехами политической поэзии в нашем сборнике является путь от 14 декабря 1825 г. к декабрю 1905 г. Три движущих силы определяют этот путь—либеральное дворянство первой половины XIX в., демократическая интеллигенция второй половины минувшего века и организованный пролетариат начала XX столетия. Под знаком этих социальных групп окрашивалась тематика политической лирики, становясь

резче и решительней, ударней и беспощадней. В 1905 году еще не звучал громко лирический голос подлинного пролетарского поэта,—от его имени говорили в стихах представители иной общественной психологии, но мощное выступление рабочего класса определяло тон лирических отголосков, содержание, выбор мотивов.

Резко бросаются в глаза черты, отличающие эти мотивы в начале и конце минувшего века; если в поэзии декабристов, Пушкина и других по разным причинам оппозиционно настроенных поэтов дворянского происхождения еще крепки националистические воззрения, конституционные иллюзии и вера в царя. в свободу „просвещенную“, дарованную сверху, „по манию царя“, еще звучат религиозные декламации, то по мере обострения социальных отношений в капитализируемой стране голос отрицания разночинной писательской среды все явственней окрашивается социалистически, изживаются былые иллюзии под железным напором новой экономики и развертывающейся классовой борьбы, с каждым десятилетием социалистическое мировоззрение глубже втеснялось в демократическую интеллигенцию.—В. Вересаев, вспоминая об эпохе 90-х годов и о под'еме после знаменитой петербургской стачки ткачей. писал: „Кого не убеждала теория, того убедила эта стачка и меня в том числе“. Революционный пролетариат в годы, предшествующие первой буржуазной революции 1905 года, притянул к себе многих попутчиков из среды буржуазной писательской интеллигенции, — под его влиянием политические песни зашумели уже тем красным шумом, который предвещал девятый вал второй пролетарской революции наших дней.

Редакторы сборника надеются, что читатель этой книги не найдет существенных пробелов в политической лирике, представленной здесь, и получит достаточно полное представление о главных событиях и лицах далекого и недавно минувшего, зачерченных в памфлете и пародии, сатире и эпиграмме.

14 XII 1924 г.

Часть I

ГЛАВА I.

Александр I и правящий круг.

Александровская колонна.

В России дышит все военным
ремеслом,
И ангел делает на караул кре-
стом.

А. С. Пушкин.

На воцарение Александра I.

Сказал деспот: „мои сыны!
Законы будут вам даны,
Я возвращу вам дни златые
Благословенной старины!"
— И обновленная Россия
Надела с выпушкой штаны.

Сказки (Noël).

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот;
Спаситель горько плачет,
А с ним и весь народ.
Мария в хлопотах наследника
стращает:
„Не плачь, дитя, не плачь, сударь,
Вот бука, бука, русский царь!"
Царь входит и вещает:
„Узнай, народ российской,
Что знает целый мир—
И прусской, и австрийской
Я сшил себе мундир.
О, радуйся, народ! Я сыт, здо-
ров и тучен,
Меня газетчик прославлял,
Я ел и пил, и обещал,
И делом не замучен.
Узнай еще в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку,
А Соца—в желтый дом;
Закон постановлю на место вам
Горголи,
И людям все права людей,
По царской милости моей
Отдам из доброй воли!"
От радости в постеле
Запрыгало дитя:
„Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?"
А мать ему: „бай, бай, закрой
свои ты глазки,
Пора уснуть уж, наконец,
Послушавши, как царь отец
Рассказывает сказки" [1]).

1818.

А. С. Пушкин.

Подражание французскому.

Народ мы русской позабавим,
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

Фонарь.

Друзья, не лучше ли на место фонаря,
Который темен, тускл, чуть светит в непогоды,—
Повесить нам царя?
Тогда бы стал светить луч пламенной свободы [2])

На смерть Александра I.

Всю жизнь провел в дороге,
А умер в Таганроге.

* * *

Свободы гордой вдохновенье,
Тебя не чувствует народ,
Оно молчит, святое мщенье,
И на царя не восстает.
Пред адским игом самовластья
Покорны вечному ярму,
Сердца не чувствуют несчастья,
И ум не верует ему.
Я видел рабскую Россию
Перед святыней алтаря,
Гремя цепьми, склонивши выю,
Она молилась за царя!

1824.

Н. М. Языков.

Боже, коль благ еси,
Всех царей в грязь меси!
Кинь под престол!
Кинь под престол!
Сашеньку, Машеньку,
Мишеньку, Костеньку,
И Николашеньку
Ж... на кол! [3])

Кн. П. А. Вяземский.

Аракчеевщина.

Аракчеевщина при Александре Первом, как и бироновщина при Анне Иоанновне, оставила о себе самые мрачные воспоминания. В безымянных песнях народа, как и в произведениях величайших наших поэтов, имя „Рахчеева-генерала“, „Угрюм Бурчеева“, „надменного временщика“, „холопа венчанного солдата“ произносили с отвращением и негодованием.

Начал он свою карьеру при Павле, при нем он собственноручно вырывал усы солдатам; в день воцарения Павла на разводе откусил у солдата ухо; оскорблял и истязал подчиненных. Павел пожаловал ему именье в Новгородской губернии, титул графа с девизом „без лести—предан“.

Но за ложь и невероятные жестокости даже Павел дважды его подвергал опале, за то при Александре I во все его царствование, а в особенности после войны 12 года, он был вершителем судеб порабощенной страны. Испугавшись растущего недовольства, Александр I, не выполнивший своих обещаний и удаливший либерального Сперанского, в Аракчееве видел свой щит. С помощью Аракчеева он вводил в России знаменитые военные поселения, о которых долго вспоминали жертвы этих поселений в своих песнях.

В этих поселениях „на поверхности был блеск, а внутри уныние и бедствие“. Лихорадки, поносы, цынга, куриная слепота царили в аракчеевском раю. Здесь все было напоказ. Поселенцы умирали с голоду, а когда приезжал Александр I полюбоваться своими американскими штатами, его самым немилосердным образом обманывал „без лести преданный“ временщик. На глазах Александра I поселенцам приносили на обед жареного гуся и поросенка, а когда царь шел к другому поселенцу, того же гуся несли через заднее крыльцо, передавали в следующий дом, и так по всему посе-

лению. Не даром солдаты переделывали девиз „без лести—предан“ в другой: „бес—лести предан“.

Жестокий и сладострастный Аракчеев засекал своих крепостных. Их секли на его глазах, а потом иссеченные являлись к нему, показывали ему окровавленные места, и палач решал, достаточно ли наказан его раб. Когда в 1824 г. крепостные убили его любовницу Настасью Минкину (из дворовых), с которой Аракчеев заставлял рисовать икону богородицы, Аракчеев неистовствовал и проливал реки крови.

Он называл себя „истинно-русским неученым новгородским дворянином“ и был предшественником истинно-русских людей, „без лести преданных“ царям и без жалости мучивших порабощенный народ. Его сподвижниками были архимандрит Фотий, „полу-фанатик, полу-плут“, морочивший барынь-аристократок, и „просвещения гаситель и гонитель свободной мысли“—Магницкий. Когда Аракчеев умер, его крепостные долго не верили своему счастью, все боялись, что „людоед“ (так звали его) вновь вернется в Грузино для истязаний. Этому „людоеду“ отдал Александр „благословенный“ на муку народ, и эта мука не прекращалась от 1812 до 1825 года. После 14 декабря 1825 года аракчеевщину сменила николаевщина. О том, чем была аракчеевщина для страны, красноречиво свидетельствуют ниже приводимые произведения.

Глас вопиющего в военных поселениях.

Об аракчеевщине.

Жизнь в военном поселеньи —
Настоящее мученье,
Только не для всех.
Поселяне голодают,
Зато власти поживают
Очень хорошо!
Для полков здесь—заточенье,
Голод, холод, изнуренье—
Хуже, чем в Крыму.
Здесь ячмень дают уланам,
А рожь прячут по карманам,—
Так заведено.
В ряд по струнке, как солдаты,
Поселянские здесь хаты,
Все по чертежам.
Чисто прибрано снаружи,
А внутри—едва ли хуже
Можно отыскать.
Комитеты, магазины,
Образцовые овины—
Только на показ.
Окружные, областные—
Все мошенники такие,
Каких не найдешь.
Казначеи, авдиторы
И квартирместры—все воры.
. . . .

Писаря—капиталисты,
Мрут, как мухи, кантонисты,
Воздух, вишь, такой!
Хлеб казенный не родится,
Зато собственный спорится—
Некуда девать.
Страшно плохи лазареты,
Зато собственны кареты
У смотрителей.
Люди в поле убирают,
Здесь же графа ожидают,
Площади метут.
Офицерик-оборванец
Первый был в полку
По уши в долгу,—
А как здесь пообживется,
Всем на свете заведется,
Брюхо отростет.
А спросите у любого:
„С содержанья небольшого
Как живете вы?“
—„Хотя сами не богаты,
На богатых мы женаты,
Этим и живем“.
Им пример—начальник штаба,
Он же строил ведь дворец
. . . .

На те денежки дворцовы
Взял имение Чернова—
Вот вам образец!
Из полков завод исправил,
Тем доходец поприбавил,
Ай да молодец!
Ведь Панаев генерал
Для следствия приезжал,
Было плут струхнул,
Долги руки помогли,
Все к порядку привели—
И концы к чертям!

Вот пасторовы детишки,
Добывают так чинишки,
А починочку—в карман!
Жизнь в военном поселеньи—
Настоящее мученье,
Только не для всех.
На бумаге все прекрасно,
А на деле так ужасно,
Хоть не говори! [4])

Песня об Аракчееве.

Аракчеев, граф Рахчеев, господин,
Опивает, объедает наше жалованье:
Боевое, строевое, третье — денежное.
Он на эти-то на деньги, граф, палаты себе склал,
Он повыстроил хоромы — бел, хрустальный потолок.
И на этом потолку бежит речкою вода.
Бела рыба пущена, кровать нова взмощена.
Как на этой-то кровати граф Рахчеев почивал,
Граф Рахчеев почивал, белу рыбу искушал,
Белу рыбу искушал, генералов созывал.
Генералов созывал, им похвастывал:
— Я повыстрою хоромы, да не эдаки еще,
Я не хуже, я не лучше государева дворца!
А и тем, будто, похуже —
Золотого нет орла,
Золотого нет орла, позолоченого.

Песня о Рахчееве.

Как по речке, по реке,
По матушке Неве
Легка лодочка плывет.
За собой лодка ведет
Тридцать восемь кораблев,
Во кажинном в корабле
По пяти сот молодцов,
Гребцов-посельничков.
Хорошо гребцы гребут,
Веселы песни поют,
Разговоры говорят,
Все Рахчеева бранят.
Ты, Рахчеев осподин,
За столом сидишь един,
Перед ним водки графин,
Пропиваешь, проедаешь
Наше жалование,
Что другое—трудовое,
Третье денежное,
Как на эти же на деньги

Стал заводы заводить.
Стал полаты заводить,
Белокаменны полаты,
Стены мраморные,
Весь хрустальный потолок,
Что с подвырезом окошко,
Позолоченный конек.
Из Москвы первый домок
И не хуже он, не лучше
Осударева дворца.
Только тем-то и похуже—
Золотого нет орла.
—„Тысяч сорок издержу,
Золотой орел солью,
Всю Рассею удивлю,
Всю я чернядь разорю [5]).

На Аракчеева.

I.

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю—он друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести.
Кто ж он, „преданный без лести“?
Просто—фрунтовый солдат.

II.

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу!
А впрочем...

1820 г.

А. С. Пушкин.

Акростих на Аракчеева.

Аггелов племя,
Рыцарь бесов,
Адское семя,
Ключ всех оков!
Чувств не имея,
Ешь ты людей,
Ехидны злее,
Варвар! злодей! [6]).

На Фотия [7]).

Полу-фанатик, полу-плут;
Ему орудием духовным—
Проклятье, меч, и крест, и кнут.
Пошли нам, господи, греховным
Поменьше пастырей таких,
Полу-благих, полу-святых.

1819 г.

А. Пушкин.

На графиню А. А. Орлову [8]).

(Приписывается А. С. Пушкину).

Благочестивая жена
Душою богу предана,
А грешной плотию—
Архимандриту Фотию.

Эпиграмма на Карамзина.

(Приписывается А. С. Пушкину).

В его „Истории“ изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Андрею Муравьеву.

На диво нам и всей Европе—
Ключ камергерский, золотой
Привесили к распутной....
И без того всем отпертой.

На кн. А. Н. Голицына [9].

Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения гонитель,
Покровитель Бантыша!
Напирайте бога ради
На него со всех сторон:
Не попробовать-ли сзади?
Там всего слабее он.

1819. *А. С. Пушкин.*

Эпитафия духовнику Анны Львовны.

(Приписывается С. А. Соболевскому).

Не памятник, а диво!

В могиле гроб,

Во гробе поп,

В попе вино и пиво

Сравнение Петербурга с Москвой.

У вас Нева,
У нас Москва.
У вас Княжнин,
У нас Ильин.
У вас Хвостов,
У нас Шатров [10]).
У вас плутам,
У нас глупцам,
Больным б—м,
Дурным стихам
И счету нет.
Боюсь и здесь
Не лучше смесь:
Здесь вор в звезде,
Монах в ....,
Осел в суде,
Дурак везде.
У вас совет,
Его здесь нет—
Согласен в том;
Но желтый дом
У вас здесь есть.
В чахотке честь,
А с брюхом лесть —
Как на Неве,
Так и в Москве.
Мужей в рогах,
Девиц в родах,
Мужчин в чепцах,
А баб в портках—
Найдешь у вас,
Как и у нас,
Не пяля глаз.
У вас авось—
России ось—
Крутит, вертит,
А кучер спит.

Кн. П. Вяземский.

ГЛАВА II.

Вольнолюбивые стихи.

Вольность.

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица,
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру,
Хочу воспеть я вольность миру,
На троне поразить порок.
Открой мне благородный след
Того возвышенного Галла,
Которому средь славных бед
Ты гимны смелые внушала *).
Любимцы ветреной судьбы,
Тираны мира, трепещите!
А вы—мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
Увы, куда ни брошу взор,
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы!
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений,
Повсюду Рабства грозный Гений
И к Славе роковая страсть!
Лишь там над царскою главой
Неслышимо людей стенанье,
Где крепко с Вольностью Святой
Законов мощных сочетанье,
Где всем простерт их твердый щит,
Где, сжатый верными руками
Граждан, над равными главами
Их меч без выбора скользит.
И преступленье с высока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.
Владыки! Вам венец и трон
Дает Закон, а не Природа—
Стоите выше вы Народа,
Но вечный Выше нас Закон.
И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль Народу, иль царям
Законом властвовать возможно!
Тебя в свидетели зову,
О! мученик ошибок славных,
За предков, в шуме бурь недавних,
Сложивший царскую главу.
Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Челом развенчанным приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон, Народ молчит,
Падет преступная секира,
И самовластная порфира
На Галлах скованных лежит.

---

*) А. Шенье.

Самовластительный злодей.
Тебя твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей,
Я с злобной радостью увижу. [11])
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас неба, срам природы,
Упрек ты богу на земле.
Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сияет
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчиво певец
На грозный, спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец,
Он слышит Клии мрачный глас
Над сими страшными стенами,
Калигулы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит... в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен тихо мост подъемной,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной.
О стыд, о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары,
Падут преступные удары,
Погиб увенчанный злодей.
Внемлите истине, цари,—
Ни наказанья, ни награды,
Ни мрак темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды!
Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона—
И станут стражею у трона
Народов вольность и покой. [12])

1819 *А. С. Пушкин.*

Послание к Пушкину.

(По поводу его „Оды на вольность“).

Огнем свободы пламенея
И заглушая звук цепей,
Проснулся в лире дух Алцея—
И рабства пыль слетела с ней.
От лиры искры побежали
И вседержащею струей,
Как пламень божий, ниспадали
На чела бледные царей.
Счастлив—кто гласом твердым, смелым,
Забыв их сон, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рожден!
И ты великим сим уделом
О, муз питомец, награжден!
Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей холодных самовластья
В друзей добра и красоты!
Но граждан не смущай покою
И блеска не мрачи венца,
Певец! Над царскою парчою
Смягчай, а не тревожь сердца.

1820 *Ф. И. Тютчев.*

Элегия.

Еще молчит гроза народа,
Еще окован русский ум,
И угнетенная свобода
Таит порывы светлых дум.
О! долго цепи вековые
С рамен отчизны не падут,
Столетья грозно протекут,
И не пробудится Россия!

Н. М. Языков.

Подражание Беранже.

Однажды бог, восстав от сна,
Курил сигару у окна
И, чтоб заняться чем от скуки,
Трубу взял в творческие руки;
Глядит и видит вдалеке—
Земля вертится в уголке.
„Чтоб для нее я двинул ногу,
Чорт побери меня, ей-богу!"

* * *

„О человеки всех цветов!"
Сказал, зевая, Саваоф:
„Мне самому смотреть забавно,
Как вами управляю славно!
Но бесит лишь меня одно,
Я дал вам девок и вино,
А вы, безмозглые пигмеи,
Колотите друг друга в шеи
И славите потом меня
Под гром картечного огня.
Я не люблю войны тревогу,
Чорт побери меня, ей-богу!

* * *

Меж вами карлики-цари
Себе воздвигли алтари
И думают они, буффоны,
Что я надел на них короны
И право дал душить людей.
Я в том не виноват, ей, ей!
Но я уйму их понемногу,
Чорт побери меня, ей-богу!

* * *

Попы мне честь воздать хотят,
Мне ладан под носом курят,
Страшат вас свето-преста-
вленьем
И ада грозного мученьем
Не слушайте вы их вранья,
Отец всем добрым детям я,
По смерти муки не страшитесь,
Любите, пейте, веселитесь...
Но с вами я договорюсь...
Прощайте! Гладкого [13]) боюсь!
Коль в рай ему я дам дорогу,
Чорт побери меня, ей-богу.

Дельвиг.

Голова и ноги.

(басня)

Уставши бегать ежедневно
По грязи, по песку, по жест-
кой мостовой,
Однажды Ноги очень гневно
Разговорились с Головой:
—„На что мы у тебя под властию
такой,
Что целый век должны повино-
ваться?
Днем, ночью, осенью, весной,
Лишь только вздумалось тебе—
изволь бежать, таскаться
Туда—сюда, куда велишь,
И к этому еще, окутавши чул-
ками,
Ботфортами да башмаками,
Ты нас, как ссылочных неволь-
ников, моришь
И, сидя наверху, лишь хлопа-
ешь глазами,
Покойно судишь, говоришь
О свете, о людях, о моде,
О тихой иль дурной погоде;
Частенько на наш счет себя
ты веселишь
Насмешкой, колкими словами,—
Ну, словом, бедными Ногами,
Как шашками, вертишь!"
—„Молчите, дерзкие!"—им Го-
лова сказала:
„Иль силою я вас заставлю за-
молчать.

Вы знаете—меня создала
Природа выше вас... зачем?—
Повелевать!“
—„Ну, очень хорошо, ты-б пусть
повелевала,
По крайней мере нас повсюду-б
не совала,
А прихотям твоим ведь трудно
угодить,
Да между нами ведь признаться,
Как нами право ты имеешь упра-
влять,
Так мы имеем право также—
спотыкаться
И можем также ведь, споткнув-
шись как-нибудь,
Величество твое на камень
ткнуть“.
Смысл этой басни всякий знает,
Но... тс!.. Молчать!.. Дурак,
кто все болтает.

Д. В. Давыдов.

ГЛАВА III.

Декабристы.

14 декабря 1825 года останется навсегда памятным в истории революционного движения: в этот день горсточка самоотверженных героев, главным образом образованнейших представителей офицерства, опираясь на части нескольких полков, пыталась осуществить свои „вольнолюбивые мечты“ о конституционном строе в России, об уничтожении крепостного права. Отказ от престола Константина, который являлся наследником умершего в Таганроге Александра I, был неожиданным даже для брата его Николая, присягнувшего Константину. Революционеры решили воспользоваться минутой замешательства и в день 14 декабря, когда были приведены войска на Сенатскую площадь для присяги Николаю, они пытались путем военного заговора „свергнуть иго самовластья“. Но вместо „зари пленительного счастья“, восход которой предсказывал А. С. Пушкин еще в 1818 г. своему другу Чаадаеву ,и к которой стремились лучшие люди александровской эпохи, над Россией опустилась мрачная ночь „свинцовой эпохи“, ночь николаевщины. 13 июля 1826 года были казнены: Пестель, Каховский, Рылеев, Муравьев-Апостол, Н. Бестужев, и были сосланы в Сибирь другие ранние предтечи революции. Николай I пытался забросать грязью святые имена первых мучеников. Это ему не удалось, не удалось это сделать и Александру II, который приказал напечатать и издать составленную Корфом записку о восшествии на престол Николая Первого. В этой записке, отталкивающей „по своему тяжелому татарскому раболепию“, героев-мучеников подобострастный чиновник называл „гнусными развратниками, буйными безумцами, негодяями, в числе которых одни напились для того, чтобы итти на площадь, другие имели замечательно отвратительные лица“.

На эту „замечательно отвратительную“, вполне трезвую записку ответил А. И. Герцен в 1857 г. негодующим письмом Александру II. Герцен напоминал ему события Отечественной

войны, годы, когда русские войска побывали в Париже, помогли низвергнуть Наполеона и вернулись из конституционной Европы в крепостную Россию, напомнил то время, когда Александр I, после дарования конституции Польше, всенародно говорил, что желал бы распространить свободные учреждения и на другие народы, вверенные ему богом". Герцен племяннику „благословенного" напомнил годы, когда „оставил все свои земные проекты" этот многообещавший друг Меттерниха и Аркачеева. „Но оттого, что Александр I, понимая многое—писал А. И. Герцен—ничего не умел сделать, неужели можно назвать преступлением, что другие понимая тоже, но совсем обратно ему, считали себя способными сделать многое. *Люди эти были прямым ответом на тоску, мучившую новое поколение.*

Ну, вот мы сильны, победили Европу, сажаем царей, чертим границы—что же, от того лучше? Узкие рамки жизни, вымеренные по военному артикулу, теснят... Мы освободили мир, а сами остались рабами, управляемыми какой-то кордегардией в Грановитой палате, какой-то немецкой канцелярией с татарским кнутом в руках.

Внизу, вверху, все неволя, рабство, грубая, дерзкая сила, бесправие, ни суда, ни голоса, одна надежда и была на милость царскую.

Но чтоб кто-нибудь не слишком увлекся мягкими формами и добротой императора, с каждым годом растет черное memento servitudinis *).

Аракчеев, гадкий, желтый, оскорбительный, на ворохе розог, окруженный трупами засеченных поселенцев. Глядя на него, вспоминаешь весь ужас положения,—подобострастие, военный деспотизм, безмолвие вверху, розги везде. Дворовых секут в полиции, крестьян сечет управляющий, сечет староста, люди-вещи, люди-заклады, крепостные серали, продажные семьи, изнасилованные женщины, палками забитые солдаты!..

„Можно-ли это вынести на той степени образования, на которой стояли Пестели, Бестужевы, Муравьевы? Ну, как же их осуждать за то, что они хотели лучше погибнуть, нежели быть страдательными свидетелями этого повседневного, ежечасного злодейства? Ведь, это святейшее чувство любви, круговой поруки с слабыми, заставляло человека предпочесть виселицу отрицательному сообщничеству - молчанием"...

Среди декабристов были поэты К. Ф. Рылеев, А. И. Одоевский, В. Ф. Раевский, В. К. Кюхельбекер, А. А. Бестужев-Марлинский; из них К. Ф. Рылеев, „пылающий поэт", в некоторых из своих стихотворений („Гражданин", 1825, „Временщику", 1820) заражал своих читателей героизмом римлянина Брута, пламенным чувством гражданина, готового на подвиг...

---

* Помни о рабстве.

В своих поэмах („Войнаровский“, „Наливайко“) Рылеев пророчески предсказал свою гибель и радостно благословлял свой жребий. Этот гражданин, одаренный „кипучею душой“ и беззаветным мужеством, всей своей жизнью и всей поэзией свидетельствовал, что всегда и повсюду славна кончина за народ“. В нем „горит любовь к общественному благу“, он знает, что душа его „до гроба сохранит высоких дум кипящую отвагу“. Поэт-гражданин, друг Мицкевича, Пушкина был задушен по приказанию перепуганного Николая I за то, что хотел осуществить первую поэтическую мечту о свободе, осуществить вместе с другими революционерами—поэтами и певцами „вольности“. Этой мечте сочувствовали и А. С. Пушкин, и А. С. Грибоедов, величайшие представители русской литературы. В своем бессмертном произведении „Горе от ума“ А. С. Грибоедов воспроизвел кипение души гражданина александровской эпохи.

К друзьям.

Итак, я здесь... за стражей я;
Дойдут ли звуки из темницы
Моей расстроенной цевницы
Туда, где вы, мои друзья?
Еще в полусвободной доле
Дар Гебы пьете вы, а я
Утратил жизни цвет в неволе,
И меркнет здесь заря моя.
В союзе с верой и надеждой,
С мечтой поэзии живой,
Еще в беседе вечевой
Шумит там голос ваш мятежный.
Еще на розовых устах,
В объятьях дев, как май прекрасных,
И на прелестнейших грудях
Волшебниц милых, сладострастных
Вы рвете свежие цветы
Цветущей детства красоты.
Еще средь пышного обеда,
Где Вакх чрез край вам вина льет,
Сей дар приветный Ганимеда
Вам негой сладкой чувства жжет.
Еще расцвет душистой розы
И свод лазоревых небес
Для ваших взоров не исчез.
Вам чужды темные угрозы,
Как лед, холодного суда,
И не коснулась клевета
До ваших дел и жизни тайной,
И не дерзнул еще порок
Угрюмый сделать вам упрек
И потревожить дух печальный.
Еще небесный воздух там
Струится легкими волнами
И не гнетет дыханье вам,
Как в гробе, смрадными парами.
Не будит вас в ночи глухой
Угрюмый оклик часового
И резкий звук ружья стального
При смене стражи за стеной.
И торжествующее мщенье,
Склонясь бессовестным челом,
Еще убийственным пером
Не пишет вам определенья
Злодейской смерти под ножом
Иль мрачных сводов заключенья...
О, пусть благое провиденье
От вас отклонит этот гром!
Но я от сих ужасных стрел
Еще, друзья, не побледнел

И пред свирепою судьбою
Не преклонил рамен с главою!
Наемник лжи перед судом
Грозил мне смертным приговором
„По воле царской“ трибунал.
„По воле царской?“—я сказал
И дал ответ понятным взором.
И этот черный трибунал
Искал не правды обнаженной,
Он двух свидетелей искал
И их нашел в толпе презренной.
Напрасно голос громовой
Мне верной чести боевой
В мою защиту отзывался.
Сей голос, смелый пред судом,
Был назван тайным мятежом
И в подозрении остался.
Но я сослался на закон,
Как на гранит народных знаний.
„В устах царя, сказали, он,
В его самодержавной длани,
И слово буйное „закон“
В устах определенной жертвы
Есть дерзновенный звук и мертвый“...
И так исчез прелестный сон!...
Со страхом я, открывши вежды,
Еще искал моей надежды,—
Ее уж не было со мной.
И я во мрак упал душой...
Пловец, твой кончен путь подбрежный,
Мужайся, жди бедам конца
В одежде скромной мудреца,
А в сердце с твердостью железной.
Мужайся! близок грозный час,
Он загремит в дверях цепями,
И, может быть, в последний раз
Еще окину я глазами
Луга, и горы, и леса
Над светлой Тирасы струею
И Феба золотой стезею
Полет по чистым небесам
Над сердцу памятной страною,
Где я надеждою дышал
И к тайной мысли устремлял
Взор светлый с пламенной душою.
Исчезнет все, как в вечность день.
Из милой родины изгнанный,
Я буду жизнь влачить, как тень,
Средь черни дикой, зверонравной,
Вдали от ветреного света,
В жилье тунгуса иль бурята,
Где вечно царствует зима,
И где природа, как тюрьма;
Где прежде жертвы зверской власти,
Как я, свои влачили дни;
Где я погибну, как они,
Под игом скорбей и напастей.
Быть может,—о, молю душой
И сил, и мужества от неба!—
Быть может, черный суд Эреба
Мне жизнь лютее смерти злой
Готовит там, где слышны звуки
Подземных стонов и цепей
И вопли потаенной муки;
Где тайно зоркий страж дверей
Свои от взоров кроет жертвы.
Полунагие, полумертвы,
Без чувств, без памяти, без слов,
Под едкой ржавчиной оков,
Сии живуще скелеты
В гнилой соломе тлеют там,
И безразличны их очам
Темницы мертвые предметы.
Но пусть счастливейший певец,
Питомец муз и Аполлона,
Страстей и буйной думы жрец,
Сей берег страшный Флегетона,
Сей новый Тартар воспоет:
Сковала грудь мою, как лед,
Уже темничная зараза.
Холодный узник отдает
Тебе сей лавр, певец Кавказа.
Коснись струнам, и Аполлон,
Оставя берег Альбиона,
Тебя, о юный Амфион,
Украсит лаврами Байрона.
Оставь другим певцам любовь.

Любовь ли петь, где брызжет
кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный
взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, на плаху.
И где народ, подвластный
страху,
Не смеет шопотом роптать.
Пора, друзья! Пора воззвать
Из мрака век полночной славы
Царя-народа, дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена.
Когда-ж дойдет до вас, о други,
Сей голос потаенной муки,
Сей звук встревоженной мечты?
Против врагов и клеветы
Я не прошу у вас защиты:
Враги презрением убиты,
Иссохнут сами, как трава.
Но вот последние слова:
Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил
И в дни убийственные жизни
Не мрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отвергнул право укоризны.
Простите... Там для вас, друзья,
Горит денница на востоке,
И отразилася заря
В шумящем кровию потоке,
Под тень священную знамен.
На поле славы боевое
Зовет вас долг—добро святое.
Спешите! Там вокальный звон
Поколебал подземны своды
И пробудил народный сон
И гидру дремлющей свободы. [14])

В. Ф. Раевский.

Песня.

Ах! где те острова
Где растет трын-трава.
Братцы!

Где читают Pucelle [15])
И летят под постель
Святцы;

Где Бестужев—драгун
Не дает карачун
Смыслу;

Где наш князь-чудодей [16])
Не бросает людей
В Вислу;

Где с зари до зари
Не играют цари
В фанты;

Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей
Танты;

Где Магницкий молчит,
А Мордвинов кричит
Вольно!

Где не думает Греч,
Что его будут сечь
Больно;

Где Сперанский попов
Обдает, как клопов,
Варом;

Где Измайлов—чудак
Ходит в каждый кабак
Даром?

Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят;

Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят;

Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо;

А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо;

Как курносый злодей [17])
Воцарился по ней...
Горе!..

Но господь, русский бог,
Бедным людям помог
Вскоре...

Как в ненастные дни
Собирались они
Часто;

Гнули.—бог их прости!
От пятидесяти
На сто.

И выигрывали,
И отписывали
Мелом.

Так в ненастные дни
Занимались они
Делом [18]).

К. Рылеев.

Песня.

Ах, тошно мне
И в родной стороне;
Все в неволе,
В тяжкой доле,
Видно, век вековать?

Долго-ль русской народ
Будет рухлядью господ,
И людьми,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?

Кто же нас кабалил,
Кто им барство присудил,
И над нами,
Бедняками,
Будто с плетью посадил?

По две шкуры с нас дерут:
Мы посеем, они жнут;
И свобода
У народа
Силой бар задушена.

А что силой отнято,
Силой выручим мы то.
И в приволье,
На раздолье,
Стариною заживем.

А теперь господа,
Грабят нас без стыда,
И обманом,
Их карманом
Стала наша мошна.

Баре с земским судом
И с приходским попом
Нас морочат
И волочат
По дорогам да судам.

А уж правды нигде
Не ищи, мужик, в суде.
Без синюхи
Судьи глухи,
Без вины ты виноват.

Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати,
За бумагу,
За отвагу,
Ты за все, про все давай,

Там же каждая душа,
Покривится из гроша.
Заседатель,
Председатель,
За одно с секретарем.

Нас поборами царь
Иссушил, как сухарь;
То дороги,
То налоги,
Разорили нас в конец.
А под царским орлом,
Ядом потчуют с вином
И народу,
Лишь за воду,
Велят вчетверо платить.
Уж так худо на Руси.
Что и боже упаси!
Всех затеев,
Аракчеев,
И всему тому виной.

Он царя подстрекнет,
Царь указ подмахнет.

Ему шутка,
А нам жутко,
Томно так, что ой, ой, ой.

А до бога высоко,
До царя далеко

Да мы сами
Ведь с усами
Так мотай себе на ус.

К. Ф. Рылеев.

* * *

Уж как шел кузнец
Да из кузницы,
Слава!

Нес кузнец
Три ножа,
Слава!

Первый нож
На бояр, на вельмож,
Слава!

Второй нож
На попов, на святош
Слава!

А молитву сотворя,
Третий нож на царя,
Слава!

К. Рылеев.

Песня

Царь наш—немец прусский
Носит мундир узкий!
Ай да царь, ай-да царь,
Православный государь!
Царствует он где-же?
Целый день в манеже.
Ай-да царь, и т. д.
Прижимает локти.
Забирает в когти.
Ай-да царь, и т. д.
Судьи все—жандармы,
Школы все—казармы.
Ай-да царь, и т. д.
Князь Волконский—баба—
Начальником штаба.
Ай-да царь, и т. д.

К. Рылеев.

Песня К—ой.

Я свободы дочь,
Я со трона прочь
Императоров,
Я взбунтую полки,
Развяжу языки
У сенаторов.

А. Бестужев.

Пестелю.

Снесем иль нет главу свою—
Из полновесного стакана
Твое здоровье, Пестель, пью,
И рвусь и злюся на тирана.

Приписывается А. С. Пушкину.

В Сибирь.

(Декабристам).

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра—
Надежда—в мрачном подземельи
Возбудит бодрость и веселье.
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут,— и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут [19]).

1827 г.

А. С. Пушкин.

А. С. Пушкину.

(В ответ на его послание „В Сибирь").

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли!
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь спокоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя—
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей,—
И радостно вздохнут народы [20]).

А. И. Одоевский.

При известии о польской революции [21]).

(1831)

Недвижимы, как мертвые в гробах,
Невольно мы в болезненных сердцах
Хороним чувств привычные порывы;
Но их объял еще не вечный сон,
Еще струна издаст бывалый звон—
Она дрожит еще,—мы живы!
Едва дошел с далеких берегов
Небесный звук спадающих оков,
И вздрогнули в сердцах живые струны—
Все чувства вдруг в созвучии слились...
Нет, струны в них еще не порвались!
Еще, друзья, мы сердцем юны!
И в ком оно от чувств не задрожит?
Вы слышите: на Висле брань кипит!—
Там с Русью лях воюет за свободу
И в шуме битв поет за упокой
Несчастных жертв, проливших луч святой
В спасенье русскому народу.
Мы братья их! Святые имена
Еще горят в душе: она полна
Их образов, и мыслей, и страданий.
В их имени таится чудный звук:
В нас будит он всю грусть минувших мук,
Всю цепь возвышенных мечтаний.

Нет, в нас еще не гаснут их мечты!
У нас в сердца их врезаны черты,
Как имена в надгробный камень,
Лишь вспыхнет огнь во глубине сердец,
Пять жертв встают пред нами; как венец,
Вкруг выи вьется синий пламень...
Сей огнь пожжет чела их палачей,
Когда пред суд властителя царей
И палачи, и жертвы станут рядом...
Да судит бог!.. А нас, мои друзья,
Пускай утешит мирная кутья
Своим таинственным обрядом.

1831 г.

ГЛАВА IV.

Николай I и его время.

Императору Николаю.

I.

(Приписывается А. С. Пушкину).

Едва царем он стал,
То разом начудесил,
Сто двадцать человек тотчас в Сибирь послал
Да пятерых повесил.

II.

Ему же.

Великий государь!
Ты наших бед виновник,
Хотя плохой ты царь,
За то лихой полковник.

III.

К бюсту Николая.

Оригинал похож на бюст:
Он так же холоден и пуст.

На смерть Николая I.

Не богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей.
И все дела твои—и добрые и злые—
Все было ложь в тебе, все призраки пустые;
Ты был не царь, а лицедей.

Ф. И. Тютчев.

* * *

Когда он в вечность преселился,
Наш незабвенный Николай—
К Петру апостолу явился,
Чтоб дверь ему он отпер в рай.
„Ты кто?"—спросил его ключарь.
—„Как кто? Известный русский царь."—
„Ты царь, так подожди немного
Ты знаешь: в рай трудна дорога,
К тому же райские врата
Узеньки, видишь, теснота".
—„Да что же это все за сброд?
Цари или простой народ?" —
„Ты не узнал своих? Ведь это россияне,
Твои бездушные дворяне,
А это вольные крестьяне,
Они все по миру пошли,
А нищие к нам в рай пришли".
Тогда подумал Николай:
Так вот как достигают в рай!
И пишет к сыну: „Милый Саша!
Плоха на небе доля наша;
Коль подданных своих ты любишь—
Богатством только их погубишь,
А если хочешь в рай ввести—
Так всех их по миру пусти!".

А. Н. Голицыну.

Он добрый малый, брат сестри-
цам,
Он не был зол ни для кого,
Скажите правду, князь Голицын,
Уж не повесить ли его? [22])

* * *

Встарь Голицын [23]) мудрость
весил,
Гурьев [24]) грабил весь народ,
Аракчеев куролесил,
А царь ездил на развод.
Ныне Ливен [25]) мудрость весит,
Царь же вешает народ,
Рыжий Мишка [26]) куралесит,
И по прежнему—развод.

1826.

А. С. Пушкин.

Рассказ мещанина [27]).

(на смерть кн. С. М. Голицына).

Эх, ты вахлак, сиволапый мужик!
Этот барин только тем был
велик,
Что он князем вельможным
родился,
Да весь век на чужой счет
кормился;
В атласных пеленках да в бар-
хате рос,
А не знал, что значит по русски
навоз,
И как жито в деревне родится,
И как русский мужик наш тру-
дится.

N. X.

Пародия.

(Ворон к ворону летит).

Норов к Борову летит [28]),
Боров Норову кричит:
„Норов, как бы нам уладить,
Просвещение спровадить“.
Норов Борову в ответ:
—„Дела тут большого нет:
Стоит лекции оставить
И студентов в строй поста-
вить“—
Книги все лежат в пыли,
Книги мохом поросли,
Нет науки, света нет,
Умер университет.
Кем убит и от чего,
Знает Фицтум лишь про то,
Знает Пушкин, знает Норов,
Да Россия, да сам Боров.
Норов каску уж надел,
Боров миром завладел;
А Россия ждет иного,
Света ясного, живого!

Спор.

(Пародия на балладу Лермонтова).

Как-то раз, под царским кровом,
Русским не в укор,
У Клейнмихеля с Орловым [29])
Был великий спор.
„Берегись,—Орлов вещает,—
Ты известный плут;
Сердце что-то предвещает:
Скоро будет суд!
По твоим делам уплата;
О, страшись конца!
Ты поносная заплата
Царского венца.

Слышишь плач и скрежет велий,
Слышишь крики: вор!
Не страшит тебя ужели
Плаха и топор?
Люди ныне не бараны,
Люди ныне злы,
Так за плутни и обманы
Ты не жди хвалы.
Люди хитры! хоть опасен
Первый был толчок—
Берегись! в Сибирь ужасен
От царя скачок!
— Я Сибири не боюся!
Ты не сетуй, брат!
И когда я наживуся,
То готов хоть в ад.
Посмотри: чему не рады?
Мы живем, как встарь;
На разводы, на парады
Ездит русский царь.
Для воинственной забавы,
Касок и штыков
Предков он забыл уставы
И дела отцов;
И, купаясь в дыме пушки,
Счастлив, весел он,
На военные игрушки
Променял свой трон.
Мысли той в нем нет и тени,
Чтоб меня казнил;
Трона я лижу ступени—
Чем же я не мил?
Хоть не годен я в наезды,
Голова тупа,
А лежу, считая звезды
С глотки до пупа.
Хвастать я тебе не стану,
Прошлое ценя;
Нет, не старому тирану
Уличить меня!—
„Не хвались еще заране,
Сам не будешь рад;
Наша будущность в тумане;
Чу!.. не слышишь, брат?“
И Клейнмихель тайной думой
Был тогда смущен,
И на счет казенной суммы
Взоры кинул он...
И молчит в недоуменьи;
Жар в нем и мороз;
Слышит страшное движенье:
Лопнул паровоз.
От Невы и до Дуная,
Где каналы все
И, щебенкою сверкая,
Длинное шоссе,—
Поднимаются виденья,
Грозные шумят,
Подают они прошенья,
Счеты за подряд;
И за ними батальоны,
Работящих строй,—
И прошенья, как знамены,
Вьются над толпой;
И повсюду слышны крики,
И в набаты бьют;
Доказательства, улики,
Словно реки льют.
И испытанный трудами,
Малый с головой,
Их ведет, грозя перстами,
Тоже плут большой.
И глядя на лик победный,
Полон грозных слов,
Стал считать Клейнмихель бедный—
И не счел врагов.
Но, опять тряхнув главою,
Написал приказ,
И сказал, махнув рукою:
— Ведь не в первый раз!—

1854 г.

Прости.

Итак, сбылись заветные мечтанья.
Прости навек, наш грозный падишах,
Благодарим за все благодеянья,
За седины в поручичьих чинах,
За ряд обид и мелких оскорблений,
Которые ты щедро расточал;
За глубину того уничтоженья,
В которое ты нас умышленно втоптал.
Ты дерзостно смеялся над искусством,
Талант и ум нещадно презирал
И в нас убить хотел зародыш чувства,
Которого—слепец — ты сам не понимал.
Гордились мы своим образованьем,
Почтен был перед всеми наш мундир:
Но, не поняв высокого призванья,
Ты всех в него бессмысленно рядил.
Ты в нас убить хотел зародыш чести,
Лишь воровство и подлость поощрял.
Ты поощрял лишь тех, кто наглой лестью
И робкой трусостью твой гнев предупреждал.
Плебей душой, плебей происхожденьем,
Ты историческим преданьям верен был
И приближал к себе всех тех, кто по рожденью
Немного имя громкое носил.
Тревожимый тщеславьем непомерным,
Ты изменил религию отцов.
Ты возмечтал, что царь наш благоверный
Твой род включит в сонм княжеских родов.
Расстались мы с тобой—и слава богу,
Опять за все тебя благодарим:
За бездоходную железную дорогу,
За то, что нет еще дороги в Крым,
За капитал, растраченный в пустыне,
За все, чем ты хотел нас оскорбить.
Благодарим за то, что уж отныне
Не будем мы тебя благодарить.
Но кончен счет, прощай и бог с тобою.
Ведь на Руси лежачего не бьют.
Мы не злопамятны, да будет над тобою
Лишь царский праведный и грозный божий суд [30]).

* * *

Хвала тебе, творец!
Клейнмихеля не стало!
Пришел ворам конец,
Дорогам же начало [31]).

* * *

(на отставку Клейнмихеля).

Он пал! И не оплакан.
О как он окакан! [32])

С. А. Соболевский.

Московскому генерал-губернатору графу Закревскому.

Ты не молод, не глуп, и ты не без души,
Зачем же в городе и толки, и волненья?
Зачем же роль играть российского паши,
И объявлять Москву в осадном положеньи?
Ведь нами управлять ты мог на старый лад,
Не тратя времени в бессмысленной работе:
Мы люди смирные, не строим баррикад
И верноподданно гнием в своем болоте.
Какой же думаешь ты учредить закон,
Какие новые установить порядки?
Уж не мечтаешь ли, гордыней ослеплен,
Воров перевести, иль посягнуть на взятки?
За это не берись; остынет гордый пыл,
И сокрушится власть подобно хрупкой стали;
Ведь это мозг костей, кровь наших русских жил,
Ведь с молоком мы матери всосали.
Но лишь за то скажу спасибо я теперь,
Что кучер Беринга[33]) не мчится своевольно,
И не ревет уже, как разъяренный зверь,
По тихим улицам Москвы первопрестольной,
Что Беринг сам познал величия предел;
Окутанный в шинель, уж он с отвагой дикой
На дрожках не сидит, как некогда сидел
Несомый бурею на лодке Петр Великий.

Е. Ростопчина.

Исповедь

Ударил час, друзья, прощайте:
В Ивановское[34]) еду я,
И лихом вы не поминайте
Теперь несчастного меня.
В Москве мне было так привольно,
Как губернатором я был —
И управлял ей самовольно,
Царю бесчестно я служил.
13 лет ее я грабил,
Мошенников освобождал. —
И капитал себе составил,
Который в Англию послал.
Я бич был честному народу,
Я правду, совесть в грязь топтал,
В свое правление свободу
Железной воле подчинял.
У фабрикантов сам я лично
По сотне тысяч занимал,
Как губернатор, я прилично
Крестами в срок им отдавал.
Простите, ратники святые,
Я вас бессовестно надул,
Мундиры сделал вам гнилые
И сапогами обманул.
Купцы почтенные, простите,
Что из манежа выгнал вас.
Вы отставного извините —
Уж это был последний раз.
Крестьяне, к вам я обращаюсь,
Простите за обед меня[35]).

Теперь я вам во всем признаюсь
Злу корень этому был я.
Я за три дня велел расставить
Баранов тухлых напоказ,
Вино еще водой разбавить
И пирогов напечь для вас.
Я флаг поднять распорядился,
Вы кинулися на столы,
И царь ужасно рассердился,
А виноваты вышли вы.
Но вы теперь народ свободный,
А мне—увы—не повезло,
Но я изгнанник благородный—
Так не платите злом за зло.
За дочь беспутную страдаю,
За беззаконный ее брак.
Себя я походя ругаю,
Что стал на старости дурак [36]).

Помойная яма.

(Басня).

На улице и длинной, и широкой
И на большом дворе стоит богатый дом;
И со двора разносится далеко
Зловоние кругом;
А виноват хозяин в том.
„Хозяин наш прекрасный, да упрямый",—
Мне дворник говорит:
„Раскапывать велит помойную яму,
Но чистить не велит".

* * *

У римского народа
Пословица была:
Хоть dura lex, sed lex,
У нас не так!
У нас есть lex
И женского и мужеского рода:
У нас и dura lex,
И Лекс дурак! [37])

Монахиня.

Монахиня, сквозь горьких слез поток,
Припав к стопам отца архиерея,
Молила жалобно на инока Фадея,
Сорвавшего ее девический цветок.
— А есть свидетели?—спросил Архиерей.
—„Я не могла иметь их в келье одинокой,
Как вдруг отец Фадей"...
—Тебе бы закричать.
—„Не смела".—Почему же?
—„Игуменья, святая мать,
За коридором длинным,
Изволила опочивать
С архимандритом благочинным" [38]).

Б а с н я.

„Во избежание всех зол и бед,
Червей, неурожаев, гибельных последствий,
Суровых зим и знойных лет,
И вообще всех бедствий,
Которыми грозят голодные года,
Повелеваем мы: отныне навсегда,
Пещась об участи подвластной нам скотины,
Запасные устроить магазины;
И в оные чтоб всякий зверь сносил,
По мере способов и сил,
От всех своих щедрот, стяжаний десятину.
Ослушникам сего наш объявляем гнев".
На подлинном написано так: „Лев".

И манифест такого рода,
Чтоб положить границу злу,
Разослан был по всем звериным
воеводам—
И между прочим и к ослу.
Распоряжение ослово,
Чай, никому не ново;
Списал указ от слова в слово
И подписал: „Осел“.
И вот во глубине лесов, на
днище буерака,
Возник запасный крепкий магазин,
Столетний бурелом покрыл его,
как крышей,
Смотрителями с ближнего гумна
Потребованы мыши,
Крот контролер считает десятины;
Приносят звери вклад;
Крот в ведомость вписал:
От волка две овчины,
Лисица принесла два крылышка
курины,
Медведь полчерепа да пару сапогов
С частицей мяса...
И вскоре магазин набит битком.
Осел доносит льву, а лев на
донесенье
Ответствует, что он за подданных де рад
И в знак монаршего к ослу
благоволенья
Дарит ему в лугах казенных
майорат.
Не знаю, что потом, но верно
только то,
Что в первый же голодный год
Все звери с голоду едва не
околели,
А сыты были крот,
Да мыши уцелели,
И к довершенью зла,
На дарственных лугах нашли
скелет осла;
У мишеньки не дрогнула, знать,
лапа
На самого сатрапа.
Беда и магазины,
Когда они под веденьем скотины [39]).

* * *

Пускай в России нет дворян,
Пускай все русские вельможи—
Из чухон, ляхов и армян—
На русских вовсе не похожи;
Пускай наследие Петра—
Страшилище врагов и внутренних и внешних;
Вся наша гвардия осталася верна
Названью прежнему *потешных*.
А слава древняя дружин,
Сословие бояр боярских,
На место теплое иль заряся
на чин,
Погрязло в дрязгах канцелярских
И, саблю заменив пером,
Кольчугу бранную позорным
виц-мундиром,
Ярыжкам сделалось подобное
во всем
И стало мерзостным вампиром,
Который день и ночь сосет
Все соки лучшие из русского
народа
И даже ухом не ведет,
Что есть уж два изданья Свода.
Пускай и самый наш народ,
Враг ненавистный иноземцев,
По праздникам мертвецки пьет,
А буднями работает на немцев.
Пускай казна истощена,
И нам по прежнему пристала
Пусть фраза та, что „Русь
обильна и сильна,
Да только в ней порядка мало!“

ГЛАВА V.

Молодая Россия.

К декабристам.

Над вашей памятью кровавой
Теперь лежит молвы позор;
Над ней поэт, венчанный славой,
Остановить не смеет взор.
Ваш враг могучий торжествует,
Щадит его судьбы закон,
Лишь власти страсть его волнует,
И, кажется, незыблем трон.
Но вы погибли не напрасно:
Все, что посеяли, взойдет,
Чего желали вы так страстно,
Все, все исполнится, придет.
Иной восстанет грозный мститель,
Иной восстанет мощный род;
Страны своей освободитель,
Проснется дремлющий народ.
В победный день, в день славной тризны,
Свершится роковая месть—
И снова пред лицом отчизны
Заблещет ярко ваша честь.

Н. Огарев.

Памяти К. Ф. Рылеева.

В святой тиши воспоминаний
Храню я бережно года
Горячих первых упований,
Начальной жажды дел и знаний,
Попыток первого труда.
Мы были отроки. В то время
Шло стройной поступью бойцов
Могучих деятелей племя,
И сеяло благое семя
На почву юную умов.
Везде шепталися; тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с радостью во взгляде,
Звучащий стих, свободы ради,
Таясь, твердили по ночам.
Бунт, вспыхнув, замер. Казнь проснулась...
Вот пять повешенных людей...
В нас молча сердце содрогнулось,
Но мысль живая встрепенулась—
И путь означен жизни всей.
Рылеев был мне первым светом...
Отец, по духу мне родной.
Твое названье в мире этом
Мне стало доблестным заветом
И путеводною звездой.
Мы стих твой вырвем из забвенья

И в первый русский вольный
день,
В виду младого поколенья,
Восстановим для поклоненья
Твою страдальческую тень.
Взойдет гроза на небосклоне,
И волны на брега с утра
Нахлынут с бешенством погони,
И слягут бронзовые кони
И Николая, и Петра;
Но образ смерти благородный
Не смоет грозная вода,
И будет подвиг твой свободный
Святыней в памяти народной
На все грядущие года!

Н. Огарев.

Памяти А. И. Одоевского [40]).

И если-б мне пришлось прожить
еще года,
До сгорблой старости, венчанной сединою,
С восторгом юноши я вспомню
и тогда
Те дни, где разом все явилось
предо мною,
О чем мне грезилось в безмолвии труда,
В бесцветной тишине унылого
изгнанья,
К чему душа рвалась в годину
испытанья:
И степь широкая, и горные
хребты—
Величья вольного громадные
размеры,
И дружбы молодой надежды и
мечты,
Союз незыблемый во имя тайной веры,
И лица тихие, спокойные черты
Изгнанников иных, тех первенцев свободы,
Создавших нашу мысль в младенческие годы.
С благоговением взирали мы
на них,
Пришельцев с каторги, несокрушимых духом,
Их серую шинель—одежду рядовых...
С благоговением внимали жадным слухом
Рассказам про Сибирь, про узников святых
И преданность их жен, просветлые мгновенья
Под скорбный звук цепей, под
гнетом заточенья.
И тот из них, кого я глубоко
любил,
Тот—муж по твердости и нежный, как ребенок,
Чей взор был милосерд и полон
кротких сил,
Чей стих мне был, как песнь
серебряная, звонок,—
В свои объятия меня он заключил,
И память мне хранит сердечное
собранье,
Как брата старшего святое завещанье.

Н. Огарев.

* * *

Русский император
В вечность отошел,
Ему оператор
Брюхо распорол.
Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к нам на царство
Константин урод,
Но царю вселенной,
Богу высших сил,
Царь благословенный
Грамотку вручил.
Грамотку читая,
Сжалился творец,
Дал нам Николая,
С... с... подлец! [41])

В. Соколовский.

Тюрьма.

(Отрывок из моих воспоминаний).

1.

Мне было двадцать лет едва,
Кровь горячо текла по жилам,
Трудилась пылко голова,
И все казалося по силам:
Жизнь мира, будущность людей —
Все было тут... Но в мысли каждой
Свободы благородной жаждой
Я был проникнут до ногтей;
Враг угнетателей бездарных
И просветителей коварных,—
Я верил здравому уму,
Но не завету ничьему,
И было в доблестном безверьи,
В бесстрашьи мысли молодой—
Поболее любви живой,
Чем в их холодном лицемерьи.

2.

Широкий плоский двор. Кругом
Забор с решеткою железной.
Середь двора высокий дом,
Где век проводят бесполезно
Полки замученных солдат,
Всю жизнь готовясь на парад.
Покои—точно корридоры—
Темны и длинны; тускло взоры
Кроватей видят два ряда;
На каждой войлок безобразный,
В ночи унылой отдых грязный
За днем бесплодного труда,
А воздух там и сперт и смраден...
Нет! Век солдата не отраден!—
Бывало утром на заре—
Глядишь в окно на двор широкий,
А уж ученье на дворе,
То-есть один дурак высокий
В ряд ставит двадцать дураков
И под рычанье глупых слов
Шагать их учит, чтоб не смели
Пошевельнуться головой,
Ну! чтобы так ходить умели—
Как и не ходит род людской.
С какою радостью приятной,
С какою злобой непонятной —
Противной даже во враге—
Он бил солдата по ноге!
И я глядел с немой тоскою
И скорбно думал той порою—
Точь в точь как думаю теперь—
Что человек ужасный зверь.

3.

Но возле комнат этих длинных
Там было комнат пять—едва
В длину шести-семи аршинных,
А в ширину быть может в два.
В одну из них меня квартальный
Привез в полночи час печальный
Зачем не днем? Как это знать?
Так... все таинственности ради,
Чтоб арестанта запугать,
Признаний выманить тетради;
Но никакой расчет пройдох
Не мог застать меня врасплох.
По воле предписаний диких,
В одной из комнат не великих
Я очутился взаперти.
Кровать, да стол, да стул убогой,
Да, чтобы я не мог уйти,
Был часовой поставлен строгой
У двери, запертой на ключ,
Как будто я был так могуч,
Что мог бы вырваться оттуда
Без сверх-естественного чуда.
Но тут не все: в двери окно,
И часовому знать дано,
Чтоб он смотрел — зачем, не знаю.—
Что я в тюрьме предпринимаю,
И он в окно смотрел не раз,
Безумно веруя в приказ.
Но не имели впечатленья
На жизнь мою в тюрьме моей
Все эти мелкие гоненья

Моих невинных палачей.
Мой сторож стал мне добрым
другом,
Привычный властвовать испугом,
Перед смотрителем он лгал,—
Я все имел, чего желал,
Из угля делал я чернилы,
Писал, на что хватало силы,
Скажу себе я не в укор:
Писал я вероятно вздор;
Но я—поклонник Сен-Симона—
Тогда грядущего закона
От всей душевной полноты
Чертил он важные черты.
Писал—не с тем, чтобы таиться,
Нет! перед подленьким судом
Я вдохновенным языком
Безумно думал отличиться,
Всю мысль был высказать готов
Пред сонмом хитрых пошлецов
Порой среди ночного бденья,
Глухого полный вдохновенья—
Я в старой библии гадал
И только жаждал и мечтал,
Чтоб вышли мне по воле рока—
И жизнь, и скорбь, и смерть
пророка.
Мне не забыть во век веков
Безумно-сладостных часов,
Когда царя тупая сила
Во мне живую жизнь будила.

4.

Среди восторга тайных дум,
Порой я чувствовал глубоко—
Как тяжело жить одиноко,
И становился я угрюм.
Но мне отрады луч в неволе
Блеснул: в неделю раз, не боле,
Ко мне мой дядя ездить стал;
Его я вправду уважал.
Свободы был бы он оратор
В иной, не рабской стороне;
У нас он только был сенатор,
Был враг душевной кривизне,
А все же прожил век бесплодно
В борьбе, средь мелкого труда,—
Как то бывает завсегда
Там, где и мыслить несвободно.
Мир праху твоему, старик,
Успех был мал, а труд велик.
Когда тебе в воспоминанье
Из глаз моих слеза текла,
Невольной скорби воздаянье,
Поверь—она всегда была
И откровенна, и тепла.

5.

Еще я помню посещенье...
У нас гусарский полк стоял,
Бывало конное ученье,
И часто средь двора кричал,
Забавно, голосом пискливым,
Красуясь на коне ретивом,
Огромный толстый генерал.
Раз, недовольный эскадроном,
С отчаянья почти со стоном
Взглянул он кверху,—к небе-
сам;
Но до небес на пол-дороге,
Взор останавливая строгий
На окнах,—у одной из рам
Он, арестанта наблюдая,
Дивяся, вдруг узнал меня.
С отцом знакомство вспоминая
И долг приличия ценя,
Он тотчас добыл позволенье
И посетил мою тюрьму,
Пришлось его благоволенье
Прискорбным сердцу моему!
Он был, конечно, малый честный,
По кавалерии известный,
Но долгом счел он мне упрек
Прочесть, похожий на урок:
Бранил и очень оскорблялся—
Зачем в тюрьму я так попался,
Зачем любил моих друзей,
Зачем не понял жизни всей,
К чему весь образ мыслей
вольный?..
Вот он—знакомств имел до-
вольно,
Знакомства почитал за честь,
А друга не хотел завесть;
Зато—как доблести ни малы—
А вышел скоро в генералы,

И если-б был я не простак—
И мне бы надо делать так.
Я-ж молча думал: без участья,
Без чувств, без мыслей и без счастья
И даже, может, без похвал—
Помрешь ты, глупый генерал!

6.

Приходит (хоть не очень чинно)
В воспоминание мое—
Как бабы на веревке длинной
Сушили мокрое белье.
Одна из них мое вниманье
Влекла, не знаю почему:
Волос ли русых колебанье
Пришлось по нраву моему,
Иль глаз лазурных взгляд унылый,
Смотревших грустно на меня,
Иль тихий свет улыбки, милой
Как утро радостного дня,—
Но что-то к ней меня манило...
То были-ль признаки любви...
Иль просто жар бродил в крови,—
Но часто ночью мне мечталось,
Что дверь тихонько отворялась,
И робко шла ко мне одна—
Голубоокая жена,
И вдруг бросалась мне на шею,
Я счастлив, я дохнуть не смею...
И, увидав, что это сон,
Я был глубоко удручен.
Свечу печально зажигая,
С постели трепетно вставая,
Я строгость мысли призывал
И снова в библии гадал,
Чтоб вышли мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

7.

Но капитан, казарм смотритель,
Порою друг, порой гонитель,
С меня немного взятки взяв,
Вдруг возымел приятный нрав—
К себе стал в гости звать нередко,
Поил недорогим вином,
Его супруга, как наседка,
Сидела с нами... вечерком,
Кудахтая о чем-то сложно,
О том, что жить едва возможно,
Все дорого... чтоб лучше жить,
Мне им бы надо пособить—
Четы уныло гарнизонной
Я не хочу винить никак:
Все-ж капитан мой благосклонный
Был малый добрый, но бедняк.
Но, боже мой, как скучно было
К нему ходить! И как меня
Его присутствие томило—
Грустней печальнейшего дня,
Как, с ними час побыв, ей богу,
Стремился я в свою берлогу,
Чтоб о грядущем, одинок,
Я вновь свободно думать мог.

8.

Шли дни за днями следом скучным;
Уже за летом пыльно-душным
Дожди осенние пошли;
Потом, остынув, с неба тучи
Накинули поверх земли
В холодных хлопьях снег сыпучий,
И побелел широкий двор.
Все стало пусто, молчаливо,
И только редко видел взор,
Как офицер нетерпеливый —
В санях к подъезду, сквозь метель,
Спешил, закутавшись в шинель.
Терялось время в скуке дикой,
Хоть и трудилась голова...
Но праздник наступал великой—
И вот канун был рождества..
Вдруг входит сторож в час полночной..
„Как?“ говорит, „ты, барин мой,
И в праздник будешь так же точно —

Один, как каторжный какой?
Вздор, вздор! Никто мешать не
смеет,
Пойдем в казарму... Ни по чем
Нам часовой. Пойдем вдвоем.
Так просто — смелым бог вла-
деет.
Поверь, в казарме всяк солдат
Тебе, как другу, будет рад".
Вот пропустил, хоть и заметил,
Нас часовой, так раза два
Тревожно кашлянув едва,
Солдат меня в казарме встретил
И обнял, а потом другой,
И сам фельдфебель обнял
братски...
Я был им брат, был им родной,
Да! это праздник был солдат-
ский
И праздник истинный был мой!
В казарме длинной колебались
Лучи лампады, чуть блестя,
Со мной солдаты обнимались,
А я—я плакал, как дитя!
Хотя порой фельдфебель гроз-
ный
В побоях видит долг серьезный,
Хоть косо смотрит часовой
На узника, боясь побой,
Но все-ж солдат наш и не зло-
бен,
Да и к шпионству не способен,
Не смотрят братья мужика
На угнетенных свысока.
Пускай француз, поклонник
власти,
Народ рабочий рвет на части,
Пусть немец, воин-патриот,
Бездушно душит свой народ
Из чувства дисциплины глупой;
Но все вы, генералы от—
Чего угодно—свой расчет
У нас ведете очень тупо:
Рожден солдат наш добряком,
Не станет брат противу брата,
И не удастся палачом
Вам сделать русского солдата!

9.

Когда-ж вернулся я в тюрьму,
И мне пришлось быть одному
В ночи безмолвной и унылой,—
Не пал я духом. Новой силой
Я был исполнен... Миг святой!
То было тайное сознанье,
Что я народу не чужой!—
Что мне тюрьма и что изгнанье?..
Весь этот пошлый вздор прой-
дет,
И час придет, и час пробьет—
Мы свергнем рабской жизни
муку—
И мне мужик протянет руку.
Вот что мне надо! для того
Готов стерпеть я без печали
Тюрьму и ссылку в страшной
дали,
И все мне это ничего.
Но спать не мог я от волненья
И стал в раздумьи у окна:
Какой мороз и тишина!
Широкий двор средь запустенья
Лежал весь белый, и луна
Над ним светилася бледна.
Могилой веяло... Шагая
Один метался, как живой,
Себя упорно согревая,
Пред воротами часовой.
Я с тайным чувством содро-
ганья
Смотрел на снег, на лунный
свет,—
Как будто выхода нам нет!
Мы на людском пиру не гости,
Кровь наша стынет, мерзнут
кости,
И гробовая тишина
Судьбою нам обречена.
Не ночь одну в тоске глубокой,
Без сна, глядя на двор широкий,
На мертвый снег, на лунный
свет—
Я думал, что надежды нет!
Но, чтоб разрушить власть
могилы,

Сбирал все внутренние силы
И в старой библии гадал
И снова жаждал и мечтал,
Чтоб вышли мне по воле рока—
И жизнь, и скорбь, и смерть
пророка.

10.

С тех пор прошло так много
лет,
Царь Николай — как был—в
мундире
И не лишенный эполет,
Гниет себе в подземном мире;
Давно мой толстый генерал
Прилично богу дух отдал,
И капитан мой, при кончине,
Чай в гроб сошел в майорском
чине:

А я, выносливый певец,
Тружусь посильно издалека,
Уже без гордости пророка,
Но тот же искренний боец,
Тружусь, чтоб стали наконец
И правосудье, и свобода—
Уделом русского народа.

Н. Огарев.

---

* * *

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.

Быть может, за хребтом Кав-
каза
Укроюсь от твоих вождей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

М. Лермонтов.

1.

Британский лорд,
Свободой горд.
Он гражданин,
Он верный сын
Своей земли.
Ни короли,
Ни происк пап
Исподтишка
Не двинут лап
На смельчака:
Он носит меч.
Чтоб когти сечь.

2.

Француз—дитя,
Он всем шутя
Готов играть:
Разрушить трон,
Издать закон,
Самолюбив,
Нетерпелив,—
Он быстр, как взор,
И пуст, как вздор,
И удивит,
И насмешит.

3.

Германец смел,
Но переспел
В котле ума,
И он чума,
Соседних стран,
Мертвецки пьян
Сам в кабаке,
Нос в табаке,
Хоть пять веков
Сидеть готов
Над парой слов.
Халдейских чисел,
Которых смысл
Не мог понять,
И рад ругать
Отца и мать.

4.

В России чтут
Царя и кнут.

Там царь с кнутом,
Что поп с крестом.
Он им и ест
Во всяк присест,
Он им и пьет
Во всяк поход.
А русаки,
Как дураки,
Разинув рот,
На весь народ
Кричат: „ура!
Нас бить пора!“
За то и бьют, —
Не устают—
Их, как ослов,
Без дальних слов,
И ночь и день,
Пока не лень.
Что сена клок—
То вилы в бок.
А без побой
Вся Русь—хоть вой,
И упадет,
И пропадет!

А. И. Полежаев.

Подводный город.

Море воет, море стонет,
Чуть поднимется волна,
Чуть пологий берег тронет,
С стоном прочь бежит она.
Море плачет. Брег песчаный
Одинок, печален, дик;
Тускло небо; сквозь туманы
Всходит бледен солнца лик.
Молча на воду спускает
Лодку ветхую рыбак,
Молча сети расставляет
Мальчик, глядя в дальний мрак.
И задумался он, глядя,
И взяла его тоска.
„Что так море стонет, дядя?“
Он спросил у рыбака.
„Видишь шпиль? Как нас в погодку
Закачало с год тому,
Помнишь ты, как нашу лодку
Привязали мы к нему?
Тут был город всем привольный
И над всеми господин;
Нынче шпиль от колокольни
Виден из моря один.
Город, слышно, был богатый
И нарядный, как жених;
Да себе ковал он злато,
А железо для других.
Богатырь его построил,
Топь костями забутил,
Но как с богом он ни спорил,
Бог его перемудрил.
В наше море в стары годы,
Говорят, текла река,
И сперла гранитом воды
Богатырская рука.
Но подула буря с моря,
И назад пошла их рать,
Волн морских не переспоря,
Человеку вымещать.
Все за то, что прочих братий
Брат богатый позабыл;
Ни молитв их, ни проклятий
Он не слушал, ел да пил.
Оттого-то море стонет;
Чуть поднимется волна,
Чуть пологий берег тронет,
С стоном прочь бежит она“.
Мальчик слушал, робко глядя,
Страшно делалось ему:
„А какое имя, дядя,
Было городу тому?“
— Имя было... да чужое!
Позабытое давно!
Оттого, что не родное,
И непамятно оно“.

Отрывок из посланья к N N.

Не там где громко, многолюдно,
Где блещет блеск и шум шумит,
Где так великолепно чудно,
Где все незыблемым глядит,
Где горделиво тяготеет
Полутора-столетний плен,
Не там и не оттуда веет
Дух новых, будущих времен!
То ночь, горящая огнями,
При звуке непристойных лир,
И солнца первыми лучами
Сей пышный постыдится пир.
Но там, где тихо слышно слово,
Где нет ни коней, ни мечей,
Там возрастает семя ново,
Залог иных грядущих дней;
Но там, где ветхая лачуга,
Где честный обитает труд,
Где сталь косы, серпа и плуга,
Где песни старые поют,
Куда не вкралася измена
И не взошли ее дары;
Где только цепь чужого плена,
А не богатство и пиры.
Оттуда дух грядущей жизни
Возникнет, полный сил младых,
Подаст свободу вновь отчизны
И разорвет оковы их.
Среди насмешки и сомненья
Благое дело восстает,
И поколенье поколенью
Свой славный труд передает.
И чувство в нас проснулось снова,
И древний голос слышен вновь,
Произнеслось живое слово;
Измену победит любовь.
Спадает с каждым часом боле
С очей густая пелена,
И богатырь выходит в поле,
От долгого очнувшись сна.
И жизнь, и труд, и ум народа
Стрясают цепь и долгий плен,
И улыбается свобода
Былых, но памятных времен.
Быть может время не далече,
Когда, приняв свой мощный вид,
Как море заколеблясь, вече
Заговорит и зашумит!
И ты ль пред добрым начинаньем,
Боясь насмешки и труда,
Пребудешь чуждый ожиданьям,
Теряя юные года?
Не бойся полюбить сверх меры;
Ты молод, надо не робеть
Принять и труд, и силу веры
И в добром деле не слабеть!
. . . .
. . . .

Праведники.

1.

За обожание Христа,
За невредимость церкви новой
Бывало шли с душой готовой
На смерть, к мучениям креста.
Терпели бодро пытки, казни,
Мужались верою святой
И ожидали без боязни
Предстать пред бога в мир иной.
И вот преемники ученья
Христова помнят подвиг их,
Их смерть и славные мученья,
И чтят их именем „святых“,
У них заступничества просят,
К святым склоняясь образам,
Моленья теплые возносят
И курят веры фимиам...
Но вы прошли, века чудес,
Века нероновских гонений,—
И след кровавый ваш исчез!
Нет больше пыток и мучений,
Нет больше славного конца,
Среди терзаний страшных тела

Не ждем мы райского венца...
И говорят, что охладело
В нас упованье, что убил
Наш век рассудком веру сердца;
Отцов предание разбил,—
Живет с беспечностью безверца;

И говорят, что никогда
Не даст векам в нравоученье...
Нет, недозрелые пророки!
К нам справедливее судьба:
Она и нам дает уроки,
И нам дан крест, дана борьба.

К чему нам старые преданья,
Зачем нам трогать пыль веков?
Есть и у нас свои страданья,
Хоть нет ни пыток, ни костров...

Хоть не должны мы лицемерить,—
Но можем мыслить, как хотим,
И можем без боязни верить
По убеждениям своим;
Но легионы мелких пыток
Нас окружают каждый час;
И мы невольно пьем напиток
Всеразрушительный для нас...

2.

И твердо верю я, что много
У нас есть „праведных" своих;
Но нас житейская тревога
Кружит, и мы не видим их...
Как часто я благоговею
Пред нашей женщиной рабой!
Как горько плачу и жалею
Тебя, отверженный судьбой,
Тебя, осмеянный толпою
Чиновник, бедный раб труда...
Я преклоняюсь иногда
Пред твердостью твоей простою.

Художник, раб, жена, поэт,—
Вы все— зачем вы крест несете?
И за мученья долгих лет
Каких наград от неба ждете?
Вас не зачислят в лик святой,
Не расточат вам поклонений,
Вы все смешаетесь с толпой...

Наш век не тот, что полон веры,
С надеждой в небо умирал—
Нам века этого примеры
Смешны и странен идеал...
Зачем же вы, с какою целью
Страданье благам предпочли

И чужды счастью и веселью
Детей неправедных земли?
Зачем живете вы страдая?
Вас не поймут, не оценят...
Затем, что истина святая

Для вас дороже всех наград;
Затем, что вера в воздаянье
Вам для терпенья не нужна,
Не утешает вас она
В часы глубокого страданья,
Среди житейских мук ваш взор
Не видит врат отверстых рая,
И пытки жизни, смерть, позор
Несете вы не ожидая—
Утех заоблачного края...
„Стремленье к истине святой,
Да вера в голос благородный
Своей души, да дух свободный",
Вот катехизис ваш простой!

С.-Петербург.
18 января 1847 года.

Райские ключи.

(Из Беранже).

Апостол Петр в беду попал:
Ключи от рая потерял.
(Действительно была история такая).
Узнавши, что ключи от рая
Украла у него Варвара пресвятая,—
„Варварушка, мой друг, отдай ключи скорей,
Я в дураках останусь без ключей!“
Кричал апостол Петр, Варвару умоляя.
Меж тем Варварушка святая
Все двери отперла у рая.
(Действительно была история такая).
Тогда несметною и шумною толпой
Из ада грешники ворвались в рай святой.
„Варварушка, мой друг, отдай“ и проч....
А в это время, песни распевая,
Явилась в рай жидов и турок стая.
(Действительно была история такая).
Глава всех грешников,—о чудо из чудес!
Сам даже папа в рай святой пролез!
„Варварушка, мой друг“ и проч...
Меж тем ворвались в рай нахальною толпой
Попы, дьячки, монахов черный рой.
(Действительно была история такая).
Монахи и в раю пройти вперед успели
И рядом с ангелами сели.
„Варварушка, мой друг“ и проч...
Напрасно Петр кричал и умолял
И даже гневом бога угрожал.
(Действительно была история такая).
Сам сатана явился в рай с чертями—
И девы рая наградили их рогами.
„Варварушка, мой друг, отдай ключи скорей!
Я в дураках останусь без ключей!“
Кричал апостол Петр, Варвару умоляя.
К отчаянью Петра, по доброте своей
Бог принял ласково гостей.
(Действительно была история такая).
И с той поры по повеленью бога
Ад уничтожен был, есть только в рай дорога.
„Варварушка, мой друг“ и проч...
Пирует бог в раю с веселыми гостями,
На этот пир и Петр просился со слезами.
(Действительно была история такая).
Но строгий караул Петра все осуждая,
Прогнали вон его из рая,
И двери заперла
Для сторожа Петра
Варвара пресвятая.
„Варварушка, мой друг“ и пр. [42])

Кандидов.

Эпоха Николая I-го

Возможно ль, чтоб цвела страна,
Где царство власти, не рассудка,
Где все зависит ото сна,
Иль от сварения желудка;
Где есть закон на то, чтоб знать,
Как он бесплоден и непрочен,
И где звездами лечат знать
От заслуженных ей пощечин,
Где много есть доходных мест
Для угнетенья и позора,
Где вешают на вора крест,
А не на крест вздевают вора.
Где низость доставляет чин,
А чин дает на взятки право,
Где тот, кто ползал—исполин,
Кто-ж прямо шел, упал без славы,
Где по словечку цензоров
Стращают пытками тиранства,
А грабить можно мужиков
И драть по вольности дворянства,
Где надо знать маршировать,
Чтоб выслужиться перед троном,
Где можно родину продать—
И ей же вновь служить шпионом,
Где с детства учат фронтовой,
Из школ поделали казармы,
Где управляют стороной
Фельдфебель с палкой да жандармы.
Где все правительство живет
Растленьем нравственным народа,
На откуп пьянство отдает
Для умножения дохода.
Где в руки барства и воров
Даны на жертву поколенья,
Где для затмения умов
Есть министерство просвещенья.
Где недостатка нет в попах,
Но веры не было от века,
Где бог в одних лишь образах,—
Не в убежденьи человека.
Где все цари баклуши бьют
И все в солдатики играют,
Из мертвых мощи создают,
Живых же в землю отправляют.
Где нет управы для людей,
Где мысль их гонит суеверство,
Но где зато для лошадей
Особое есть министерство.

---

* * *

Земля моих отцов, страна моя родная,
Скажи—за что тебя я не люблю?
За что тебе, Россия молодая,
Ни славы я, ни счастья не молю?
Как мать презренную, тебя я покидаю,
Ищу груди кормилицы другой
И соки вредные крови родной
Я из себя, как язвы, выжимаю.
Скажи—за что? Роскошные поля
Везде цветут отрадною красою,
И дышит степь разгулом бытия,
И тянутся леса свободной полосою.
Но что-ж из них? Ты в душную тюрьму
Свои леса и степи превратила,
И цепи крепкие преградой положила
Порывам радости, и чувству, и уму.
За то-ль тебя любить, что хитрою рукою,
Коварством — ты пол-мира заняла
И жителям своим обширною тюрьмою
Сибирь холодную в утеху отвела?
За то-ль тебя любить, что с верою святою

Все русские царя, как бога, чтут,
А он в награду им державною
рукою
Дарует цепи, плети, кнут?
Закон и честь — в тебе слова
пустые,
Ты светлый ум готова погубить;
Как скряга, за алтын, за выгоды
пустые
Ты слезы бедного готова лить
да лить.

В тебе разгул—но трудно в нем
ужиться,
В тебе простор—но трудно людям жить.
За что-ж мне за тебя, о родина,
молиться?
За что же мне тебя, о родина,
любить? [43])

Петрашевцы.

В 1849 г. в № 276 „Русского Инвалида“ от 22 декабря появилось правительственное сообщение о приговоре по делу 23 лиц, арестованных вместе с Петрашевским-Буташевичем в апреле 1849 г. В этом сообщении говорилось:

„Пагубные учения, породившие смуты и мятежи во всей Западной Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем отечестве. Но в России, где святая вера, любовь к монарху и преданность престолу основаны на природных свойствах народа и доселе хранятся непоколебимо в сердце каждого, только горсть людей, совершенно ничтожных, большею частью молодых и безнравственных, мечтала о возможности попрать священнейшие права религии, закона и собственности. Действия злоумышленников могли бы только тогда получить опасное развитие, если бы деятельность правительства не открыла бы зла в самом начале“... Генерал-аудиториат, по рассмотрении дела, произведенного военно-судной комиссией, признал, что „21 подсудимый, в большей или меньшей степени, но все же виновны в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и существующего государственного порядка, а потому и определил: подвергнуть их смертной казни расстрелянием, остальных же двух оставить в настоящее время без произнесения над ними приговора и по выздоровлении предать их снова военному суду. Его величество, по прочтении всеподданнейшего доклада генерал-аудиториата, изволил обратить всемилостивейшее внимание на те обстоятельства, которые до некоторой степени могут служить к смягчению наказания, и вследствие того высочайше повелел: прочитать подсудимым приговор суда при сборе войск и, по совершении всех обрядов, предшествующих смертной казни, об‘явить, что государь император дарует им жизнь, и затем, вместо смертной казни, подвергнуть их следующим наказаниям“...

Далее следовало перечисление осужденных с указанием на степень их виновности, сословие, возраст и понесенное наказание. В числе привлеченных были не только дворяне, как в процессе декабристов, но и разночинцы, напр., мещанин Петр Шапошников, были писатели, и между ними гениальный художник Ф. М. Достоевский (27 л.), арестованный за чтение известного письма Белинского к Гоголю и „за участие в преступных замыслах“, поэт А. Плещеев (23 л.), привлеченный за „недозволенные рассуждения“ о правительстве и за доставление письма Белинского Достоевскому, публицист и поэт Д. Ахшарумов и очень образованный и влиятельный публицист Буташевич-Петрашевский, Европеус, Спешнев и др.

По отношению ко всем этим мечтателям-идеалистам Николай Палкин поступил с невероятной, возмущающей душу жестокостью: он всех их заставил перед лицом эшафота пережить страшные минуты ожидания смертной казни. Этих минут до конца дней своих не мог забыть Достоевский, и, быть может,

мучительно жестокий излом его творчества был обусловлен пережитою мукой. О пережитом он говорит и в своем дневнике и в романе „Идиот". Мышкин, герой романа, рассказывает о своем знакомом, который должен был умереть 27 лет, здоровый и сильный, на эшафоте: „*Он понял все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет*".

В воспоминаниях Ахшарумова имеется потрясающая страница, посвященная описанию отвратительной комедии на Семеновском плацу (стр. 107—109). Приводим небольшой отрывок, рисующий коронованного палача, назвавшего петрашевцев совершенно ничтожными и безнравственными.

„Священник ушел, и сейчас же взошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбели, взяли их за руки и свели с эшафота. Они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание: „колпаки надвинуть на глаза", после чего колпаки опущены были на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда: „клац", и вслед затем группа солдат,—их было человек 16,—стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбели... Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию, и притом людей близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них почти в упор ружейные стволы, ожидать—вот прольется кровь, и они упадут мертвые,—было ужасно, отвратительно, страшно... Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающею кровавою картиною. Возмущенное состояние мое возросло еще более, когда я услышал барабанный бой, значения которого я тогда еще, как не служивший в военной службе, не понимал. Вот конец всему! Но вслед затем увидел я, что ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень! Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Момбели и привели снова на прежние места их на эшафоте. Приехал какой-то экипаж, оттуда вышел офицер, флигель-ад'ютант и привез какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось нам дарование государем императором жизни и, взамен смертной казни, каждому, по виновности, особое наказание".

Большинство осужденных, переживших эти минуты, было в возрасте 25—26 л. Среди них часть участников исповедывала социалистические взгляды Фурье. Д. Ахшарумов в своих воспоминаниях называет своих товарищей первыми социалистами. Члены следственной комиссии дело петрашевцев, или „апрелистов", называли „заговором идей". В бумагах Ахшарумова следственная комиссия обратила внимание на следующее место, характеризующее идейные взгляды последователей утопического социалиста Фурье: „жизнь, так, как она идет теперь, слишком тяжела, обременительна, переполнена всякими неприятностями и гадостями, все это томление, все, что поневоле терпишь каждый день, происходит оттого, что человек соединился в слишком огромном множестве для устроения общественного блага. Оттого миллионы людей, желавших лучшего, не могли достигнуть своей цели. Они делали ужасную ошибку: *хотели устроить все переменой одних форм управления и не заметили, что государство нельзя устроить. Государство должно погибнуть с его министрами и государями и с его столицами, войском, законами и храмами. Необходимо, чтобы вместо него были устроены небольшие общества, но которые имели бы в себе целость, полноту, разнообразие, независимость одно от другого и представляли бы, так сказать, интеграл человечества.* Средством уничтожения всей тягости жизни Ахшарумов считал только одно—фаланстеры Фурье, но он видел самое большое препятствие этому: „глупое, пустое и злое правительство". Для него вопрос приводится к тому, „каким образом получить правительство, терпящее нововведения". На обеде в память Фурье в день его рождения, 7 апр. 1849 г., в квартире Европеуса, Ахшарумов произносит речь, которую закончил сле-

дующими словами: „В эти дни, в этом самом обществе, мы собрались не для жалоб, не для этих несчастных повествований, но, напротив, полны надеждой, торжеством, весельем и, переносясь в будущее время и скоро ожидаемое всеми, мы даем обет, залог лучшего, и празднуем грядущее искупление человечества, сегодня, именно сегодня, в день рождения Фурье, чтим его память, потому что он указал нам путь, по которому итти, открыл источник богатства и счастья. Сегодня первый обед фурьеристов в России, и все они здесь: 10 человек, немногим больше. Все начинается с малого и растет до великого. Разрушить столицы, города и все материалы их употребить для других зданий, и всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, полную веселья, счастья, богатства, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить цветами, вот цель наша. Мы здесь в нашей стране начнем преобразование, а кончит его вся земля. Скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий". Настроения первых петрашевцев, идеалистов-мечтателей, отразились в поэзии Д. Ахшарумова, А. Плещеева; фигуру одного из петрашевцев прекрасно воспроизвел Тургенев в рассказе „Пунин и Бабурин" в лице бывшего дворового Бабурина.

I

Едва я на ногах—шатаюсь, как пьяный;
Мысль отуманена и голова горит.
Ох! тяжело сидеть в тюрьме поганой—
В ее стенах один я, как живой, зарыт:
Томлюсь, переношу тяжелые лишенья
Свободы, воздуха и голоса людей,
Все в одиночестве, в тюремном заключеньи,
При кликах часовых, шептаньях сторожей
Иль шумной беготне со связками ключей.
И колокольный звон, всегда однообразный,
Переливаяся, и день и ночь звучит.
Куда ни поглядишь — тюрьмы вид безобразный,
Перед глазами все шпиц крепостной торчит.
Ох, тяжко, тяжко мне, — мои воспоминанья
Влекут меня в былые счастья дни
И плакать хочется: без слез мои рыданья—
Их заменяет смех, трепещущий в груди,
И злобой и тоской исполненный глубокой,
Я хохочу один здесь, одинокий.
О, боже, праведный! спаси и сохрани
Мой павший дух в тюрьме от истомленья.
Сибирь и каторга—мечты мои одни,—
В них счастье все мое и радость избавленья

II

Позором века
Для человека
Стоит тюрьма.
Туда сажают
И запирают—
Там полутьма.
И, задыхаясь,
В грязи валяясь,
Там люди ждут,
Пока все длится,
Пока свершится
Над ними суд.

Обитель страха,
Куда с размаха
Вдруг я попал;
Где, одинокий,
В тоске жестокой
Я духом пал!

И все зеваю,
Без слез рыдаю—
Нет больше сил!
О, боже, боже!
Что-ж это, что же
Ты мне судил!

III

Как длинны эти дни, как долго это время!
Не понимаю я, как я переношу
Темницы тягостной мучительное бремя,
Как не задохнусь я и все еще живу,
Как в жилах моих кровь еще бежит и льется,
Испорченная кровь гонимого судьбой!
Как сердце у меня в груди не разобьется,
Замученное все темничною тоской!
О, жизнь свободная! вернешься-ль ты ко мне?
Увижу-ль снова вас, друзья мои родные?
Или мне суждено погибнуть здесь в тюрьме?
Ах! божий суд жесток, как и суды людские!

IV

Земля, несчастная земля,—
Мир стонов, жалоб и мученья!
На ней вся жизнь под гнетом зла,
И всюду плач,—со дня рожденья.
В делах людских — раздор и крик,
И трубный звук, и гул орудий,
И вопль, и дикой славы клик;
Друг друга жгут и режут люди!
Но время лучшее придет:
Война кровавая пройдет,
Земля произрастет плодами
И бедный мученик-народ
Свободу жизни обретет
С ее высокими страстями
Обильный хлеб взрастет над взрытыми полями,
И нищая земля покроется дворцами!

ФУРЬЕ

Тогда и для земной планеты
Настанет период иной.
Не будет ни зимы, ни лета,
Изменится наш шар земной:
Эклиптика с экватором сольется,
И будет вечная весна...
И для людей другая жизнь начнется—
Гармонией живой исполнится она.
Тогда изменятся и люди, и природа,
И будут на земле — мир, счастье и свобода!

Таким фантастическим бредом à la Fourier утешал я себя в это трудное время.

Д. Д. Ахшарумов.

Москва

Когда колокола торжественно звучат,
Иль ухо чуткое услышит звон их дальний,
Невольно думою печальною объят,
Как будто песни погребальной
Веселым звукам их внимаю грустно я,
И тайным ропотом полна душа моя.
Преданье-ль темное тайник взволнует груди,
Иль точно в звуках тех таится звук иной,
Но, мнится, колокол я слышу вечевой,
Разбитый, может быть, на тысячи орудий —
Властям когда-то роковой.
Да, умер он, давно замолк язык народа,
Склонившего главу под тяжкий царский кнут;
Но встанет грозный день, но воззовет свобода —
И камни вопли издадут,
И расточенный прах и кости исполина
Совокупит опять дух божий воедино,
И зычным голосом он снова загудит
И в оный судный день, в расплаты день кровавый
В нем новгородская душа заговорит
Московской речью величавой...
И весело тогда на башнях и стенах
Народной вольности завеет красный стяг...

А. Григорьев.

---

* * *

Нет, не рожден я биться лбом,
Ни терпеливо ждать в передней,
Ни есть за княжеским столом,
Ни с умиленьем слушать бредни.
Нет, не рожден я биться лбом:
Мне даже в церкви за обедней
Бывает скверно, каюсь в том,
Прослушать августейший дом!
И то, что чувствовал Марат,
Порой способен понимать я,
И будь сам бог аристократ—
Ему-б я гордо пел проклятья...
Но на кресте распятый бог
Был сын толпы и демагог.

А. Григорьев.

---

* * *

Вперед, без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!
Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет.
Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать,
И спящих мы от сна разбудим,
И поведем на битву рать!
Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах;
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах!
Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам,
И за него снесем гоненье,
Простим озлобленным врагам.

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил;
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл.
Пусть нам звездою путеводной
Святая истина горит!—
И верьте—голос благородный
Не даром в мире прозвучит.
Внемлите-ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил;
Вперед, вперед—и без возврата,
Что-б рок вдали нам ни сулил!

1846.

А. Н. Плещеев.

Упование.

1848 год.

Anno cholerae morbi.

Все говорят, что ныне страшно жить,
Что воздух заражен и смертью веет,
На улицу боятся выходить,
Кто встретит гроб, трепещет и бледнеет.
Я не боюсь. Я не умру. Я дней
Так не отдам. Всей жизнью человека
Еще дышу я. Всею мыслью века
Я жизненно проникнут до ногтей.
И впереди довольно много дела,
Чтоб мысль о смерти силы не имела.
Что мне чума?—Я слышу чутким слухом
Со всех сторон знакомые слова;
Вблизи, вдали одним все полно духом—
Все воли ищут. Тихо голова
Приподнялась. Проходит сон упрямый,
И человек на вещи смотрит прямо.
Встревожен он — на нем так много лет
Рука преданья дряхлого лежала,
Что страшно страшен новый свет сначала.
Но свыкнись, узник! Из тюрьмы на свет
Когда выходят, взору трудно, больно,
А после станет ясно и раздольно.
О! из глуши моих родных степей
Я слышу вас, далекие народы;
И что-то бьется тут в груди моей
На каждый звук торжественный свободы.
Мне с юга моря синяя волна
Лелеет слух внезапным колыханьем...
Роскошных снов ленивая страна,
И ты полна вновь юным ожиданьем!
Еще уныл „Ave Maria“ глас,
И дремлет вкруг семи холмов поляна,
Но втайне Цезарю последний раз
Готовится проклятье Ватикана.
Что-ж! Начинай! Уж гордый Рейн восстал;
От долгих грез очнулся, тих, но страшен,
Упрямо воли жаждущий вассал
Грозит остаткам феодальных башен.
На западе каким-то новым днем
Из хаоса корыстей величаво,

Как разум, светлое восходит право,
И нет застав, земля—всем общий дом.
Как волхв, хочу с востока в путь суровый
Итти и я, дабы вещать о том,
Что видел я, как мир родился новый!
И ты, о Русь, моя страна родная,
Которую люблю за то, что тут
Знал сердцу светлых несколько минут,
Еще за то, что вместе, изнывая,
С тобой я плакал, и страдал.
И цепью нас одною рок связал,—
И ты под свод дряхлеющего зданья,
В глуши, трудясь, подкапываешь взрыв!
Что скажешь миру ты? Какой призыв?
Не знаю я! Но все твои страданья
И весь твой труд готов делить с тобой;
И верю, что пробьюсь, как наш народ родной,
В терпении и с твердостию многой
На новый свет неведомой дорогой!

Н. П. Огарев.

Кнут.

Ременный кнут, не безъуханный,
Забытый в поле вижу я,
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя.
Кто дал тебе твой вид приятный,
Тебя тесемкою обвил,
И кто твой кончик сыромятный
Так превосходно прикрепил?
Скажи мне: кто владел тобою,
И что он был за человек?
С тяжелой, легкой-ли рукою,
А главное,—кого ты сек?
Стегал-ли ты клячонки жалкой
Хребет и впалые бока,
Иль, мирно чередуясь с палкой,
Гулял по ж... мужика?
Мужчин ли больше ты исправил,
Иль также женщин поучал?
И тот зачем тебя оставил,
Кто, кнут, тобою обладал?
Ты, громко девок вызывая—
Иль к земскому, иль на гумно,
Иль к барину под сень сарая—
Стучал ли в низкое окно?
Иль может быть, о бич славянский!
Вооружась тобой, холоп
Дал з....це понять дворянской
Тоску простых мужичьих ж..?
И чтоб ни делал ты отныне,
Привет тебе усердный мой,
Опора трона, друг святыни,
Символ страны моей родной.

Часть II.

ГЛАВА I.

Отцы и дети.

* * *

. . . .
Падет презренное тиранство,
И цепи с пахарей спадут,
И ты, изнеженное барство,
Возмешься нехотя за труд.
Не нам,— иному поколенью,—
Отдашь ты бич свой вековой
И будешь ненавистной тенью,
Пятном в истории родной...
Весь твой разврат и вероломство,
Все козни—время обнажит,
И просвещенное потомство
Тебя проклятьем поразит.
Мужик, теперь—твоя опора,
Твой вол—и больше ничего,—
Со славой выйдет из позора,
И вновь не купишь ты его.
Уж всходит солнце земледельца!
Забитый, он на месть не скор,
Но знай: на своего владельца
Давно уж точит он топор...

II

Постыдно гибнет наше время...
Наследство дедов и отцов—
Послушно носит наше племя
Оковы тяжкие рабов.
И стоим мы позорной доли!
Мы добровольно терпим зло:
В нас нет ни смелости, ни воли...
На нас проклятие легло!
Нас бьют кнутом, нас мучат палкой,
Дурачат, грабят, как хотят,
. . . .
. . . .
Мы рабство с молоком всосали,
Сроднились с болью наших ран,
Нет! в нас отцы не воспитали,
Не подготовили граждан.
Не мстить нас матери учили
За цепи сильным палачам.
Увы! бессмысленно водили
За палачей молиться в храм.
Про жизнь свободную не пели
Нам сестры... Нет!.. Под гнетом зла
Мысль о свободе с колыбели
Для них неведомой была.
И мы молчим. И гибнет время...
Нас не пугает стыд цепей—
И цепи носит наше племя
И молится за палачей.

III

Тяжкий крест несем мы, братья,
Мысль убита, рот зажат,
В глубине души—проклятья,
Слезы на сердце кипят.

Русь под гнетом, Русь болеет;
Гражданин в тоске немой—
Явно плакать он не смеет,
Сын об матери больной!

Нет в тебе добра и мира,
Царство скорби и цепей,
Царство взяток и мундира
Царство палок и плетей. [44]).

И. Никитин.

Пророчество.

Пусть преклоняются перед палкою народы,
Пусть попран и презрен закон!
Пусть равенство и братство и свободу
Считают за нелепый сон—
Бессмертна истина! Не поколеблют люди
Ее несокрушимый храм.
Ее огонь зажжет опять их груди
И поселятся там...
Кто перед истиной колени преклоняет,
Кто верит в бога своего,—
Тот без завес грядущее читает
И людям возвестит его...
Как злые коршуны над пищею кровавой,
Сидели над своей добычею цари.
И власть была свята, разврат их был забавой.
Народ молчал, страдал и ждал своей зари.
И вот она взошла. И бури взволновали
Дремавший издавна народов океан,
Престолы рухнули, и кровью искупляли
Тогда цари земли свой вековой обман.
Но утомилися народы от волнений,
Напиток равенства хмелен был для детей.
Мир задремал. Над ним вознесся деспот-гений,
Он пал—и сонный мир стал вновь рабом царей.
И много лет прошло. И снова клич свободы
От Сены берегов пронесся через свет,
И встали мощные пред тронами народы,
Грозя царям бедой и требуя ответ.
Монархи, трепеща на ненадежном троне,
Для усмирения разгневанных судей
Бросали им права, министров и короны,
Блюсти во век закон клялись душой своей.
Но деспот севера склонился к их моленью,
Тяжелый бросил меч он на весы судьбы,
„Оставьте—он сказал—мечту освобожденья:
„Царям—от бога власть, народы их рабы!"
Восстали все цари по слову властелина,
Толпа слуг-воинов их окружила трон,
Забывши для наград призванье гражданина,
И повторяли все: „свобода—это сон".
Как хитрый жид-торгаш, как ябедник подъячий,

Цари нарушили священный уговор,
От слова отреклись, над клятвою горячей
Смеялись, и права вон вымели, как сор...
И самый тот народ, свободы проповедник,
Забыл свои права, призванью изменил,
Бесславный имени великого наследник,
Постыдное ярмо на граждан наложил.
Страх подлый обуял, оцепенил народы,
И беспрепятственно нарушен был закон,
„Изгнание и смерть защитникам свободы!“
И повторяли все: „свобода— это сон!“
Нет, отгоните прочь коварное сомненье,
Не верьте слугам зла, невежества и тьмы!
То не мечта, за что страдали поколенья,
К чему стремилися великие умы...
Ударит час, придет неправды наказанье,
Придет для всей земли желанная пора:
Стократною ценой искупятся страданья,
Настанет торжество свободы и добра...
О, вы, цари земли! Вы, пастыри народа!
Падучею звездой промчится ваша власть,
И вам проклятие придет из рода в роды,
Спешите выситься, чтобы страшней упасть!
Готовьтесь! Скоро вас постигнет наказанье:
Придут к вам мстители потребовать ответ,
И не помогут вам пустые обещанья —
Клятвопреступникам уж не поверит свет...
Да грянет вечное, тяжелое проклятье
Свободы хищникам, Европы королям!
Забыли вы свой долг и то, что люди братья,
Вы, беззаконные цари—проклятье вам!
И ты, сын случая, избранник миллионов,
Воздвигши власть свою по трусости людей,
Изменник Франции, присяги и законов!
Потомство изречет стыд памяти твоей!
И вечный стыд всем тем, которые кручину
Отчизны в страшный час, смеясь, пренебрегли.
Присягу воина—присяге гражданина,
Приказ начальника — закону предпочли!
Стыд вечный воинам — опора самовластья!
Стыд вечный знамени отечества бичей!
Убийцам братий — стыд, без мысли и без страсти
Провозгласившим власть свободы палачей!..
И ты один из всех, не дрогнувши поныне,
Полмира властелин, самодержавный царь!
Для подданных твоих твои слова святыня,
Желание — закон, и твой престол—алтарь;
Вне прав твоих—нет прав, ты выше всех законов,

Беспрекословною, бессмысленной толпой
Разноплеменные десятки миллионов
Во прахе ног твоих лежат перед тобой.
Монархам Запада ты подаешь советы,
На сонме королей Европы—ты глава.
С тоскою толпой стоят твои клевреты,
В народе сторожа и мысли, и слова.
И веришь ты в свое божественное право,
Ты веришь, что престол твой непоколебим,
Что, как утес средь бурь, стоит твоя держава,
Что ввек твои слова—закон рабам твоим.
Но и для них придет пора освобожденья,
Когда луч истины их осветит умы.
Не вечен будет сон: настанет пробужденье,
И устыдится Русь невежественной тьмы,
Признает русский царь народные права,
К гражданской доблести воскреснут поколенья,
Свободно потекут и мысли, и слова.

Молись, чтобы тогда не выстрадали внуки
За все величие, за все твои дела!
Молись, чтобы без слез, без крови и без муки
Освобождения минута перешла!
Молись, чтоб луч один теперешней святыни
В печальный час потомков осенил!
Чтобы грехи отца не наказались в сыне!
Молись, чтобы тебя народ твой позабыл!
Когда над обществом господствует порок,
В годину злую испытанья
Встает среди людей восторженный пророк,
Чтоб братьям облегчить страданья.
Спокойно будущность указывает он:
Пусть мчатся годы за годами,
Пусть торжествует зло—божественный закон
Вновь воцарится над умами.
Не сомневайтеся — отчаяние грех!
Постигнут кары святотатство -
И будет лишь один тогда закон для всех:
Свобода, равенство и братство [45]).

Январь 1852 г.

П. Л. Лавров.

Европа против нас.

Европа против нас. Окружено врагами
Отечество со всех сторон.
Кровавый час настал, и очередь за нами,
Повсюду меч уж обнажен
Мы слышим клеветы, мы слышим оскорбленья
Тысячеглавой лжи газет,
Измен и зависти и страха порожденья,
Друзей у нашей Руси нет...
И бранный клич прошел над русскою землею,
Разбились русские сердца,
И тысячи певцов восторженной толпою
Прославили царя-отца.
И я тебе пишу еще одно посланье,
России царь. Пускай мой стих
Пред миром выразит всеобщее желанье
Сограждан преданных твоих.—
Перчатка брошена; не время нам считаться,
Теперь—ты предводитель наш,
И русский гражданин пойдет за Русь сражаться,
Ее всегдашний, верный страж.
Ни пред каким иноплеменным строем,
Поверь, не дрогнет русский строй.
Наш ратник, осенив крестом грудь перед боем,
Не пострамит страны родной.
И ляжет он костьми, с молитвою простою,
На том же месте, где стоял;
Ему кровавый труд, а ленту после боя
Пускай наденет генерал.
И много подвигов неведомых свершится,
И много, много жертв падет,
И не одна семья в слезах во храм молиться
За души милые пойдет.
И может быть опять кровавая победа
К твоим ногам положит трон,
Ты будешь, может быть, диктатором союза,
Предпишешь Англии закон,
И с ультиматумом поедут дипломаты
В Париж чрез груды русских тел,
И в страхе утвердят парламент и палаты
Все то, что русский царь велел.

* * *

Но если в этот раз нам суждено иначе,
И жребий против нас падет,
И рати русские, одну вслед за другою,
Перст божий вихрем разнесет,
Тогда мы станем все, тогда опять зажгутся
Перед врагами города,
Милльоны новые защитников сберутся
Вкруг трона твоего тогда,
Сумеют дети стать в ряды Русь святую,
Сумеют жены умереть,
Не сможет гордый враг в минуту роковую
Ни пядью Руси завладеть.
Пока один из нас родное слово слышит,
До тех пор длиться будет бой,
До тех пор договор постыдный не подпишет
Европа русскою рукой.

* * *

Европа! Где-ж она! тому еще недавно
Она всей жизнию жила,
Ее манил к себе свободы призрак, славно
Свершились громкие дела—
Ее ораторы провозгласили братство,
Громили потрясенный трон,
И короли ее, готовя святотатство,
Клялись поддерживать закон.
В мечтах Германия от Рейна до Карпатов
Сливалась под одним венцом,
И падало во прах созданье дипломатов
Пред Гогенштауфенским лицом,
И тени Фабиев и гордых Сципионов
Смешались в возрожденный Рим,
Чтоб мужество свое и страх законов
Потомкам передать своим.
Граждане Франции, провозгласив свободу,
Навек разбили эшафот,
Вставали в Венгрии народы,
Все оживало, шло вперед.
Тогда мы слушали с восторженным вниманьем
Далекий шум святой борьбы,
Дрожала наша грудь тревожным ожиданьем
Перед решением судьбы.
Мы братьев видели в защитниках свободы,
Мы не могли их не любить,
Могучий дух тогда воспламенял народы,
И нас он мог ли не пленить?
Но жребий пал иной, отложена до срока
Победа вольности святой,
Еще час не настал последнего урока,
Не закипел последний бой...

* * *

Владыки Англии, патриции, банкиры,
Все ниц пред золотым тельцом,
Их флот во всех морях, торговля полумира
Британским скована клеймом,
Пиявки Индии, во имя просвещенья,
Защитники ростовщиков,
Отравы продавцы, — они без убежденья
Бросают волны громких слов,
А между тем у них ирландцы голодают,
Придавленные тягостным ярмом,
И нищих миллион в разврате утопает
Пред раззолоченным тельцом.
На золотых весах там взвешивает право
Гнилых местечек депутат,
Во имя древности британского устава
Садится на скамью палат
Распутный лорд, и пер идет
Под мирный шум речей дремать после обеда
И хартии хранить клейнадь.
Величье Англии есть ложь; ее расчеты
Не отвратят минуты роковой,
И не спасут ее ни армии, ни флоты
От раны тайной и...
Несправедливых дел под маскою закона
Падет владычица морей
В горячке и бреду с ее златого трона
Перст божий тяготит над ней...

* * *

И Франция свою похоронила славу,
Сама разбила свой венец,
Мне жаль великую, свободную державу,
Постыден Франции конец.
За блестки мишуры, за шитые кафтаны,
За сан придворного слуги,
За право набивать бестрепетно карманы
И не уплачивать долги,
За балы пышные, за праздники без счета
Французы продали закон,
Отечество и честь с улыбкой Искариота—
И для кого-ж воздвигли трон?
Бездушный спекулянт на низкие влеченья,
Холодный ритор громких слов,
Тиран бесславных дел, фигляр без убежденья,
Он всем пожертвовать готов...
Он клятвой торговал, он торговал собою,
Он с кафедры публично лгал,
Поддержан пьяною, подкупною толпою,
Он гордо право попирал.
Он крал у Франции, у падших поколений,
Скупал милльоны низких душ,
Под маскою его подпишет мир в презреньи:
„Вот коронованный Картуш".
На этого царя французы променяли
Свободу мыслей и речей,
Своих ораторов, героев изгоняли,
Цвет лучший родины своей!
Он кесаря надел тяжелую корону,
Ахилла жалкий митрондон,
И хитрый езуит, продажные шпионы
Продажный окружали трон.
Ты-ль это, Франция, отчизна Лафаэта,
Ты-ль—где Иоанна д'Арк жила?
Передовой народ во всех движеньях света
Свой славный век ты-ль отжила?

* * *

И ты, искусственной монархии властитель,
Наследник четырех корон,
Монахов ученик, аздецких повелитель,
Монарх двенадцати племен!
Давно-ль ты трепетал перед народной волей,
Давно-ль клялся хранить закон,
И мощная рука союзника давно ли
Твой дряхлый поддержала трон?
Пред силою чужой угас огонь возженья,
К ногам России положил
Мадьяр разбитый меч; свое завоеванье
Тебе царь русский возвратил.
Но ты в крови не смыл позор своей державы,
Напрасно венгеров кровь текла,
Ты в казнях не нашел венца поблекшей славы,
Венца Габсбургского орла.
Ты молод, но давно приучен ты к обману.
Предательством известный двор
В тебя вдохнул свой яд, к тебе он привил рано
Дипломатический позор.
Штыками разогнал ты скучные палаты,
С тебя монах присягу снял,

Князья без княжества, пустые
бюрократы
Опять дают за балом бал,
И ты готовишься на новую
измену,
Твои полки идут на нас!
Не рано-ли еще? Не позабыла
Вена
Своей свободы краткий час,
Смотри: там мечутся славянские
народы
Под ненавистным им ярмом,
Смотри: в Италии блестит кинжал свободы,
Смотри: ударил в Праге гром.
Спроси Стюартов ты, спроси и
у Бурбонов,
Народы судят ли царей?
И всходят ли порой на эшафот
со трона
Потомки древних королей?

* * *

Стоглавый исполин, страна ученых прений,
Метафизический народ,
Отчизна Гегеля, высоких умозрений,
Мыслителей могучий род,
Злой жребий обрекла история
надолго
Твоим разрозненным сынам,
Как жертву отдала тебя судьба
на волю
Микроскопическим царькам...
Когда же сбросишь ты лохмотья разделенья
И бремя сорока венцов?
Когда настанет час единства
возрожденья?
Иль вечен сон твоих сынов?
Иль погруженные в туманные
идеи,
Живя средь отвлеченных фраз,
Не чувствуют они, ученые пигмеи,
Что дорог день, что дорог час,
Иль сонм филистеров, средь
пыльных кабинетов,
Забыв, что родине нужна
Не речь ораторов и не мечта
поэтов,
Что ожидает славных дел она.
Наследник Фридриха, питомец
квиетизма,
Священных папе лютеран,
Сегодня либерал, вчера друг
деспотизма,
Наследный Ульриха тиран,
Не этот ли Германии правитель?
Неужто он поддержит вас?
И жалок, и смешон Тевтонец
избавитель...
Нет, не пришел еще ваш час!

* * *

Недуг неверия, гражданского
раздора,
Недуг себялюбивых дел,
Дух малодушия, предательства
позора,
Европой старой овладел,
Воскреснет ли с одра болезней и
мученья
От лихорадочного сна?
Придет ли для тебя минута исцеленья
И нам укажет ли она
Законы новые общественного
строя,
Любви и равенства закон,—
И скажут новые гражданские
герои:
„Европы род еще силен!“

Или томит ее предсмертное страданье,
Последний старческий недуг?
И дети запада, как всякое созданье,
Свершили свой заветный круг!
И сходят мрачные с окровавленной сцены,
Как братья старшие сошли,
Затем, что час настал для новой перемены
Всей декорации земли.
Как исполинский кедр, над гордой высотою
Могуч, несокрушим на вид,
Внутри давно уж сгнил, держась одной короны:
Тысячелетья он стоит,
И ждет, чтоб ураган поднялся в час урочный,
Схватил гиганта с вышины
И бросил в прах: быть может также точно
Европы дни уж сочтены...
И как отжившие владыки Вавилона,
Как Греции немой народ,
Как Рима древнего народов миллионы,
Умрет так европейский род ..
Быть может, суждено славянским поколениям
Наследие славян принять,
Народам светлый луч гражданства, просвещенья,
Возобновленный, передать,
И русские...
Но мы достойны-ль этой славы,
Воистину-ль мы лучше их?
Гражданской доблестью крепка-ль твоя держава
Царь русский?.. для сынов твоих
Понятны-ли *слова закона и заслуги*,
Отчизну любят ли они?
Или вокруг тебя стоят безмолвно слуги
Беспрекословные одни?
Растет ли твой народ под отческим надзором,
Под благодетельной рукой?
Ты смотришь ли спокойным взором,
Живешь-ли жизнью с ним одной?
Ты сердца русского все знаешь ли биенья?
Скажи: ведешь-ли ты вперед
К познанью высшему, святому назначенью,
От бога вверенный народ?
Я вижу вкруг тебя...
Временщиков надменный строй,
Готов уже для них стих горький и суровый,
Но смолк он до поры иной...
Забыто прошлое; в пылу тревоги бранной
Забыт пиявиц хищный род,
Забыты мелкие чиновные тираны.
С тобою, царь, весь твой народ,
Но помни, русский царь, ты нашей силой крепок,
Величьем нашим ты велик,
Без русской доблести престол твой груда щепок,
Народов мощь есть мощь владык,
Моли у господа не громкие победы,—
Тебе доставит их народ;
Не усмотрение коварного соседа—
Его рать русская уймет;
Не помощь в бедствиях—мы вытерпим с тобою;
Не злата,—мы его дадим.
Моли о мудрости, о правде, их рукою
Чтобы ты был всегда руководим,
Чтоб дал тебе господь советников нельстивых,
Помощников разумных дал,

И бескорыстных слуг и судий
справедливых,
Твоей рукою бы избрал.
Чтоб он вдохнул в тебя сочувствие свободы
Сознание народных нужд,
Чтобы привлек к тебе сердца
и дух народа,
Чтоб ты не оставался чужд
Его стремлению к высоким
идеалам,
Чтоб он в тебе, а ты жил в
нем,
Чтоб назвали тебя потомки не
капралом,
А русским праведным царем!

П. Лавров.

Русскому народу.

(Декабрь 1854).

Ты вставай, во мраке спящий брат.
Хомяков.

„Меня поставил бог над русскою
землею“,
Сказал нам русский царь.
Во имя божие склонитесь предо
мною,
Мой трон—его алтарь.
Для русских не нужны заботы
гражданина—
Я думаю за вас;
Усните - сторожит глаз зоркий
властелина
Россию всякий час.
Мой ум вас оградит от чуждых
нападений,
От внутреннего зла;
Пусть ваша жизнь течет вдали
забот, в смиреньи,
Спокойна и светла.
Советы не нужны помазаннику
бога:
Мне он дает совет;
Народ идет за мной невидимой
дорогой,
Один я вижу свет;
Гордитесь, русские, быть царскими рабами:
Закон вам—мысль моя;
Отечество вам—флаг над царскими дворцами;
Россия—это я“.

—

Мы долго верили: в грязи восточной лени
И мелкой суеты
Покорно целовал ряд русских
поколений
Прах царственной пяты.
Бездействие ума над нами тяготело.
За грудами бумаг,
За перепискою мы забывали
дело
В присутственных местах.
В защиту воровства, в защиту
нераденья
Мы ставили закон;
Под буквою его скрывалось
преступленье,
Но пункт был соблюден.
Своим директорам, министрам
мы служили,
Россию позабыв,
Пред ними ползали, чинов у них
просили,
Крестов наперерыв,
И стало воровство нам делом
обыденным;
Кто мог схватить, тот брал,
И между нами тот был более
почтенным,
Кто более украл.

Развод определял познанья генерала,
Он глуп или умен,
Церемоньяльный марш и выправка решала,
Чего достоин он.

Бригадный генерал был лучший губернатор,
Искуснейший стратег,
Отличный инженер, правдивейший сенатор,
Честнейший человек.

Начальник, низшего права не соблюдая,
Был деспот, полубог,
Бессмысленный сатрап был царский бич для края,
Губил, вредил, где мог.

Стал конюх цензором, шут царский адмиралом,
Клейнмихель—графом стал;
Россия роздана в аренду обиралам...
Что-ж русский?... Русский спал...

——

Кряхтя нес мужичек, как прежде господину,
Прадедовский оброк;
Кряхтя помещик клал вторую половину,
Имения в залог;

Кряхтя, по прежнему дань русские платили
Подъячим и властям;
Шептались меж собой, ворчали, говорили
Что это стыд и срам,

Что правды нет в суде, что тратят миллионы—
России кровь и пот—
На путешествия, киоски, павильоны,
Что плохо все идет;

Потом за ералаш садились по полтине,
Косясь по сторонам;
Рашели хлопали, бранили Фрецолини,
Лорнировали дам,

И низко кланялись продажному вельможе,
И грызлись за чины,
И спали, жизнь свою заботой не тревожа,
Отечества сыны;

Иль удалялись в глушь прадедовских имений
В бездействии жиреть,
Мечтать о пироге, беседовать о сене,
Животным умереть...

А если кто-нибудь, средь общей летаргии,
Мечтою увлечен,
Их призывал на брань за правду и Россию,—
Как был бедняк смешон!

Как ловко над его безумьем издевался
Чиновный фарисей!
Как быстро от него, бледнея, отрекался
Вчерашний круг друзей.

И, под анафемей общественного мненья,
Средь смрада рудников,
Он узнавал, что грех прервать оцепененье,
Тяжелый сон рабов...

И он был позабыт. Порой лишь о безумце
Шептались здесь и там:
„Быть может, он и прав... Да, жалко вольнодумца...
Но что за дело нам?“

——

Гордились мы одним: могуществом России
В собраньи королей;
„Что нам—мы думали—их укоризны злые,
Мы все-таки сильней“.

Когда на площади, пред царскою коляской,
Шли стройные полки,
Знамена веяли, блестели грозно каски,
И искрились штыки,
Над колоннами, окрестность оглашая,
Гремел приветный клик—
Мы верили, гордясь необозримым краем,
Мильонами штыков:
„Не любят нас за то, что мы преобладаем
Над сонмищем врагов“.
И вот ударил час: британские витии
Пустили в оборот
Народов ненависть давнишнюю к России,
И наступил расчет...
И бросил Францию в кровавый путь сражений
Венчанный интриган,
И стала Австрия готовиться к измене:
Встал враг от всяких стран...
А мы?.. смеялись мы началу непогоды:
Мы гордо шли на бой.
„Пусть—говорили мы—безумствуют народы;
Силен наш край родной.
Предвидел русский царь давно уже волненье,
Все приготовил он,
И мировой борьбы ждет тяжкое мгновенье,
Спокоен и силен“,
И крепче прежнего сбирались мы вкруг трона,
Внимая бранный клик:
Давали богачи отчизне миллионы,
Свой грош давал мужик...

———

И что-ж? застал врасплох нас взрыв вражды народной,
В тяжелый, мрачный час
Объял посланников сон глупости природной:
Все обманули нас.
Куда девалися солдатов миллионы?
Где был готов отпор?
Мы все не верили, а слышались уж стоны
Из за Кавказских гор;
Пределы русские война уж разоряла,
Уже страдал народ,
С креста Исакия Россия различала
Британский гордый флот.
Один курьер идти вперед нес приказанье,
Другой идти назад,
И двигались войска без цели, без сознанья—
То был уж не парад...
И было мало нас везде, где враг являлся.
Солдат наш грудью брал:
Глупее прежнего за то распоряжался
Парадный генерал.
Там отступали мы от фортов Силистрии
С потерей и стыдом,
Здесь унижали мы достоинства России
Пред габсбургским орлом;
Тут берег финский весь был предан разграбленью;
Там гордый адмирал—
Амфибия, герой проигранных сражений—
Своей земли не знал:
Толпой любимчиков ничтожных окруженный,
Он погубил наш флот,
Паркетный бонмотист, шут колкий и надменный,
Злой гений – для острот...

Он защищает Крым, высоче-
ствам с почтеньем
Он раздает кресты...
А русских кровь течет... враг
ближе к укрепленьям...
Россия! где же ты?

Проснись, мой край родной,
изъеденный ворами,
Подавленный ярмом,
Позорно скованный бездушными
властями,
Шпионством, ханжеством!
От сна невежества, от бреда
униженья,
От лени вековой
Восстань и посмотри: везде ки-
пит движенье,
Черед уж за тобой!
Давно гнетут тебя наследники
Батыя,
Нет права для тебя...
Проснись, проснись! восстань,
несчастная Россия!
Твой бог зовет тебя...
Не в звучном пении торже-
ственного клира
Пред ликом золотым,
В живой душе ищи глагол вла-
дыки мира,
Внимай словам живым!
Встань: ты пред идолом колена
преклоняешь,
Внимаешь духу лжи,
Свободный, вечный дух ты раб-
ством оскверняешь...
Оковы развяжи!
Восстань, свободная, пред си-
лой беззаконной,
Пред хаосом властей!
От неурядицы спасенье, обо-
рону
Ищи в душе своей!
Припомним, русские, печальную
годину,
Пору великих смут,
Когда боярин-князь по слову
мещанина
Шел на кровавый суд,
Когда поляк царил над матуш-
кой Москвою,
Огромным пустырем
Лежала наша Русь; шла челядь
злой толпою
За тушинским царем...
Но в день безвластия просну-
лась Русь родная,
Сознанием сильна;
Живой глагол прошел от края
и до края,
И поднялась она...
Встань на анархию чиновных
мандаринов
Теперь, как под Москвой,
На крамолу бояр, на ляхов и
литвинов
Ты шла живой стеной!
Пред троном деспота, без кри-
ков и проклятий
Предстань судьей, народ!
За славу русскую, за кровь
всех падших братий
Пускай он даст отчет...

Скажи ему: не бог вознес тебя
над нами;
Твой трон—не божий трон,
Не он нас осудил твоими быть
рабами;
Нет! рабство не закон!
Где знаки твоего божествен-
ного права?
Где чудеса твои?
Где кротость голубя—свидетель
нелукавый?
И мудрость где змии?
Россия облекла тебя верховной
властью,
Ты на земле был бог—
Владел-ли ты собой? повелевал-
ли страстью?
Все-ль совершил, что мог?

Читаешь-ли ты, царь, прозрением пророка
В умах, в сердцах людей?
Ты ненавидишь-ли слуг лести и порока?
Живешь-ли для детей?
Ты слушаешь-ли, царь, глас божий—глас народа?
Зовешь-ли в свой совет
Ты крепких доблестью—не знатностию рода,
Не древностию лет,
Не раболепных слуг, не алчных чинолюбцев,
Клеветников, ханжей,
Продажных обирал, развратных сластолюбцев,
Бесчувственных судей?
Нет! увлекался ты неведеньем и страстью;
Ты прямодушье гнал;
В опасную игру своей играл ты властью;
И Русь позабывал;
Ты делал все смотры; ты отменял султаны,
Наперекор уму,
Под предложением невежды, шарлатана,
Писал „быть по сему“.
Ты собрал цензоров презренную породу,
Чтоб сан твой охранять,
Чтобы не видеть слез, не слышать стон народа,
Чтоб правде не внимать...
Ты предал истину на тяжкие мученья,
На смерть ее обрек:
Распни, распни ее!—кричали в исступленьи
Безумство и порок.
Она истерзана, оплевана рабами,
В ночи погребена;
На камень гробовой нечистыми руками
Печать наложена,
И стражу строгую над грозною могилой
Поставил фарисей,
И деспот говорит, гордясь своею силой:
„Нельзя воскреснуть ей“.
Но видишь-ли: заря зажглася на востоке—
То третий день настал...
Давно тот светлый день предвидели пророки;
Довольно мир страдал...
Ты видишь-ли: в огне несутся херувимы
С пылающих небес...
Ты слышишь-ли—гремит их глас незаглушимый,—
Христос, Христос воскрес!
Воскресла истина! на суд сбирайтесь строгий,
Пред скипетром ее,
Монархи-деспоты, земные полубоги!
Грядет ваш судия!
Предстань, царь, пред судом истории, закона,
Пред божиим судом!
Ты правду отвергал, ты попирал свободу,
Ты был страстей рабом;
Россию погубил ты гордостью пустою
И мир вооружил...
Смирись пред братьями, пред родиной святою:
Ты немощен и хил.
„Простите мне—скажи—мое забвенье, братья!
Мне нужен ваш совет.
Откройте грешнику народные объятья—
Другой опоры нет“...
Смирись: летят часы; пройдут дни испытанья.
История не ждет...
И грозно под тобой волнуется в молчаньи
Проснувшийся народ [46]).

П. Лавров.

Ода на смерть Николая I.

По неизменному природному закону
События идут обычной чередой:
Один тиран исчез, другой надел корону,
И тяготеет вновь тиранство над страной.
И ни попыткою, ни кликом, ни полсловом
Не обнаружились трусливые сердца,
И будут вновь страдать при сыне бестолковом,
Как тридцать лет страдали при отце.
Да, тридцать лет почти терзал братоубийца
Родную нашу Русь, которой он не знал,
По каплям кровь ее сосал ей, кровопийца,
И просвещенье в ней цензурой оковал.
И не поняв, что только в просвещеньи
Народов честь, и мощь, и благо, и покой,
Все силы напрягал он для уничтоженья
Стремлений и надежд России молодой.
Что жизнью свежею цвело и самобытной,
Что гордо шло вперед, неся идеи в мир,—
К земле и к небу взор бросая любопытный,—
Он все ловил, душил, он все ссылал в Сибирь.
Всю жизнь стремился он, чтоб сделать Русь машиной,
И точно, упростил правленья механизм:
Вельмож и мужиков бил в голову дубиной
И возвеличил лишь военный деспотизм.
Он грабил нашу Русь, немецкое отродье,
И немцам продавал на жертву наш народ.
Без нужды он привлек к нам рабское невзгодье;
Других хотел избить, но сам побит вперед.
И в день всерадостный его внезапной смерти
Сын хочет взять себе его за образец!
Нет, пусть тебя хранят все ангелы и черти,
Но нас не будешь ты тиранить, как отец!
Пора открыть глаза уснувшему народу,
Пора лучу ума блеснуть в глухую ночь,
Событий счастливых естественному ходу
Пора энергией и силою помочь.
Не правь же, новый царь, как твой отец ужасный,
Поверь, на зло царям, к свободе Русь придет,
Тогда не пощадят тирана род несчастный,
И будет без царей блаженствовать народ.

1855.

Н. А. Добролюбов.

Годовщина.

(18-го февраля 1856 года).

Была пора: над трупом фараона,
В том склепе, где хранились мертвецы,
Спокойные, без жалобы и стона,
Сбиралися Мемфисские жрецы.
Всю жизнь усопшего без страха разбирали
И приговор над мертвым изрекали.
И новый царь внимал суду жрецов,
Покорствуя правдивому решенью,
И хоронил отца в тиши, с толпой рабов,
Иль пышное ему готовил погребенье—
И на граните первозданных скал
Народный приговор историк высекал.
Теперь не та пора: пусть нам не в мочь страданья,
Погибших извергов судить мы не должны.
Усопшим мир! — нам говорит преданье,
Завет веков, обычай старины.
Религия прощать врагов нас учит—
Молчать, когда нас царь гнетет и мучит.
И мы молчим; нет, больше: между нас
Является поэт покрытый срамом;
Забыв, что голос музы - бога глас,
Он злу кадит душевным фимиамом,
Он деспота зовет спасителем людей,
В грязь затоптав всю славу прежних дней.
Но пусть его боятся и в могиле,
В ней льстят ему, чтоб только он не встал.
Душа кипит, покорна высшей силе,
Певец на суд веков царя призвал.
Покинь свой гроб! Взгляни на рубежи родные—
Смотри, что в год ты сделал из России!
Вот без конца проходит вереница,
Вся в трауре, отцов, детей, сирот,
Вот плачет мать, одежды рвет вдовица—
Кто кости их мужей, сынов берет?
За что погибло ты, младое поколенье,
Полно надежд и сил, в безумном ослепленьи?
Смотри, наш царь: вот реки слез тяжелых,
Вот море крови чистой, горы тел;
Не мало ли? А в городах и селах
Вот новый бич: огонь рассвирепел,
Рукой врага зажженный. Стены, зданья—
Все падает во прах,—за что же наказанье?
За что-ж и мирный сын родной земли
Богат сегодня—завтра бедный, нищий,
Все житницы, все домы, корабли
Вдруг потеряв, насущной просит пищи,

Бежит из города, где думал
мирно жить,
Которого, о царь, не мог ты
защитить.
Считай же, сколько этих городов
Разрушено иль взято у России—
И сколько доблестных отечества сынов
В плену, изранены, выносят
муки злые.
Картиной этой недоволен ты?
История тебе перевернет листы.
Смотри: вот золото сияет пред
тобой:
Богатство здесь без счета, без
числа;
Владельцы их идут сплошной
толпой—
Но золота толпа не принесла
Отчизне в дар, а, зная блага
в жизни,
Его сама украла у отчизны.
Здесь все: и миллион казны
твоей,
Последний грош, пожертвованный нищим,
Хлеб ратнику, пособие врачей,
Оружие, одежда.—Мы отыщем,
Наверно, лепты здесь самих
воров—
Недаром все они слывут за
бедняков.
Позор и стыд! Грабеж вошел
в обычай,
В закон, в обряд, и нагл и явен
стал.
И крадут все: путеец и лесничий,
Чиновник, поп, солдат и генерал—
И девка грязная, любовница
министра,
Продажей мест разбогатела
быстро.

А кто стоит у трона твоего?
Тебе-б советник, правды друг,
наскучил,—
Нет, ты искал молчанья одного,
Покорности—и ряд бездушных
чучел,
Холопов чувства, евнухов ума,
Вокруг тебя—и их такая тьма!
И над тобой, и над твоей землей
Теперь Европа целая смеется.
И твой позор, и стыд земли
родной
В потомстве отдаленном отзовется.
И дорог будет примиренья
пир—
И за войной нелепой—подлый
мир.
Лишь год прошел—и ты забыт,
как мебель
И неуклюжий хлам старинных
лет,
Венчанный Хлестаков, между
царей фельдфебель,
Разбитый и расслабленный атлет—
И ноют в гробе, от тоски и
злости,
Гниющие, поруганные кости.
И день придет! — И не один
певец,
Но голос всей народной Немезиды
Средь веки прогремит вдруг
из конца в конец:
Да будешь проклят ты!
И в страхе, и в стыде, в последний, судный день,
Не выйдет из гробниц развенчанная тень.

Н. А. Добролюбов.

Новому царю.

(26 августа 1856 года).

Пусть гордой Франции презренный повелитель
Мечтает ослепить великолепьем мир;
Пусть думает прикрыть присяг всех нарушитель
Дела минувшего под бархатом порфир;
Пускай пиры его неслыханно богаты;
Пускай послы всех стран в передних Тюльери;
Пускай безмолвствуют продажные сенаты;
Пусть братом назовут его земли цари;
Пускай в тюрьмах его все воины свободы;
Пусть голос партий всех во Франции умолк;
Пусть лижет след его придворная порода;
Пусть преклоняется рабов чиновных полк;
Пусть всеми звездами мундир его украшен;
Пускай алмазами блистает двор его;
Пусть миру целому он армиями страшен—
Он все — венчанный вор — и больше ничего.
Но ты, законный царь покорного народа,
Наследник родовой Великого Петра.
Ты, от кого ждала дел правды, дел свободы,
Дел милосердия, дел земского добра
Русь, утомленная солдатами-царями,
Русь, истощенная чиновным воровством,
Русь, развращенная шпионами, рабами,
Русь, разоренная безумным мотовством.
Ты, в ком мы с радостью встречали человека,
Ты, в ком приветствовал ум новую зарю,
Недежду лучшего, живительного века,
Кому Русь, верная законному царю,
Шептала: „Душно мне под ступенями трона!
Мне тесно, мне темно, сними мне бремя с плеч!
Дай мне свет знания! дай воздух мне закона!
Освободи мою закованную речь.“
Ты тоже захотел блеснуть пред целым миром,
Восточной роскошью народы ослепить,
Сравниться мишурой с французским лжекумиром,
И в пышных празднествах милльоны рассорить.
Милльоны те добыл колодник из Сибири;
Их потом выростил голодный твой мужик;
Их с нищего содрал в судах за герб проныра;
От пьяных в кабаке украл их откупщик.
А там неурожай. Там голод, мор в народе...
Дорог нет; нету школ; аптек нет, нет врачей...
Невежество растет в России на свободе,
Продажность, рабство, лень — все низости людей...

А все Москва горит в огне
иллюминаций,
Стараясь превзойти ликующий
Париж;
Пирует русский царь среди по-
слов всех наций...
К чему весь этот блеск? кого
ты удивишь?
Неужли твой народ, с рожденья
приученный
Тебя бессмысленно за бога по-
читать,
Что пред тобой лежит колено-
преклоненный
И ждет слова твои, как божью
благодать?
Ему всегда ты свят, не золотой
одеждой,
Не пышным празднеством, не
царственным венцом,
Ты божьей властью свят, на-
родною надеждой,
Ему посредник ты меж ним и
божеством.
Ты не прельстишь его потеш-
ными огнями,
Не привлечешь сердца пирами
напоказ:
Он ждет заветных слов меж
царскими речами,
Он ждет: царь батюшка не
вспомнит ли про нас?
Скажи ты пахарям святое слово:
воля!
Сними с них барщины неспра-
ведливый гнет!
Свободной общине отдай род-
ное поле!
Тогда тебя народ великим на-
зовет.
Не тех ли, что стоят толпой
вкруг царских тронов?
Тех, что толкаются среди твоих
дворцов?
За ленты ползают, живут лишь
для поклонов?
Бездушную толпу лакеев и
льстецов,
Разводных тактиков, министров
безголовых,
Вельмож безграмотных, совет-
ников немых,
Судей, отечество всегда продать
готовых,
И паразитов всех на праздне-
ствах твоих?
Ты их не удивишь: они ждут
жадной сворой
Добычу милостей, дождь титлов
и чинов,
Ждут места теплого, где бы на-
житься скоро,
Чтобы озолотить любовниц и
льстецов.
Для них отечество—лишь дой-
ная корова...
Для них казна твоя—источник
воровства...
Нет; их не удивишь: им ничего
не ново,
Ты для карманов их устроил
торжество.
Иль тех, что вдалеке от цар-
ского престола
Стоят, спокойные, средь сует-
ных детей,
Другому, высшему покорные
глаголу?
Твоих непризнанных, неузнан-
ных судей?
Во имя истины, во имя чело-
века
Они поставлены свершать свой
строгий суд,
И суд тот перейдет к сынам
другого века,
И правнуки его в истории про-
чтут.
Для них цари земли—служители
народа;
Для них короны блеск — лишь
отраженный свет;
Для них не свят престол—одна
свята свобода;
И кроме истины других законов
нет.

---

* * *

Внемли, о царь, надежда Руси новой!
Перед тобой народ на все. на все готовый,
И много дум, и много светлых сил!
Чтоб утвердиться на отцовском месте,
Как будешь в высочайшем манифесте
Из-под оков воров освобождать
И каторжным свободу даровать,
Не позабудь родной литературы
Освободить из под цепей цензуры!
Дай ей хоть миг свободой подышать
И молодые грезы рассказать;
Невинного несчастья, championanья,
К добру и чести чистые воззванья!
Тогда все, все простят тебе ее сыны,
И даже новые кафтаны и штаны,
Которыми свою ты начал славу—
И удивил родную ты державу.

1855.

Н. Добролюбов.

Н. А. Степанову [47]).

Между дикарских глаз цензуры
Прошли твои карикатуры...
И на Руси святой один
Ты получил себе свободу
Представить русскому народу
В достойном виде царский чин!..

Н. Добролюбов.

К. Розенталю.

Привет тебе за подвиг благородный,
Привет тебе, несчастный Розенталь!
Поборник истины, друг вольности народной,
За братий ты восстал, ты понял их печаль.
Узнал страданья их, и, мыслию свободной
Прозрев грядущих лет в таинственную даль,
Сказал рабам томящимся: „Пора,
Идем во имя чести и добра!
Прервите, братья, сон, столь тягостный и черный,
Мы люди все, мы равны меж собой..
Расстаньтесь же с своей беспечностью покорной,—
И с мощью нравственной идите в грозный бой
Не на врагов царя, а на тот сонм позорный,
Что продал и купил жизнь вашу и покой".
Но злостный суд насильственных законов,
Молвы людской поспешный приговор,
Насильно вырванный клик русских легионов,
И смерть и казни злой обманчивый позор
Да не смутят тебя, да не исторгнут стонов
Из гордой груди; пусть блеснет грозой твой взор,
Под бременем тернового венца

Враги пусть видят силу без
конца.
Пусть гибнешь ты для страждущего света,
И гибнешь, замысла святого не
свершив,
Поверь: речам твоим не сгибнуть
без ответа,
Вся Русь откликнется на звучный твой призыв.
Бронею истины, щитом любви
одета,
Мечем свободы руку ополчив,
Она пойдет на внутренних врагов
И отомстит им горько за рабов...

И в торжестве любви, средь
радостей свободы,
Вспомянут о тебе сограждане
твои.
Благословят тебя за счастливые
годы
И назовут тебя спасителем
земли...
И память о тебе пойдет из рода
в роды,
Хранима гением свободы и
любви,—
И именем твоим, бессмертный
Розенталь,
Украсится истории скрижаль..[48]).

Н. Добролюбов.

Дума при гробе Оленина [49]).

Перед гробницею позорной
Стою я с радостным челом,
Предвидя новый, благотворный
В судьбе России перелом.
О славном будущем мечтаю
Я для страны своей родной,
Но о прошедшем вспоминаю
С негодованьем и тоской.
На муки рабства и презренья
Весь род славянский осужден,
Лежит печать порабощенья
На всей судьбе его племен,
И Русь давно уж подчинилась
Иноплеменному ярму,
Давно безмолвно покорилась
Она позору своему.
В цари к нам сели скандинавы,
Теснили немцы нас. Царьград
Вносил к нам греческие нравы
И все вертел на новый лад.
Потом, при этом рабстве старом,
Доставшись новым господам,
Русь в пояс кланялась татарам
И в землю—греческим попам.
„Покорны будьте и терпите",—
Поп в церкви с кафедры гласил,—
„Молиться богу приходите,
Давайте нам по мере сил"...
Века промчались. Поколенья
Сменялись быстрой чередой,
В повиновеньи и терпеньи
Нашли обманчивый покой.
Природными рабами были
Рабы, рождаясь от рабов,
И, как веленья бога, чтили
Удар кнута и звук оков.
И пред баскаками смиренно
Князья их падали во прах...
Но гибнет мощь татар мгновенно
В домашних распрях и войнах.
Орда разбилась, Русь свободна...
Но с рабством русские сжились,—
Они, не умствуя бесплодно,
От воли сами отреклись.
За то князья, увидев ясно,
Что не рабы они теперь,
Принялись править самовластно,
С господ ордынских взяв пример.
Как из лакеев управитель,

Как дворянин из мужиков,
Таков же вышел повелитель —
Царь-самодержец из рабов.
И деспотизмом беззаконным
Довольно Русь угнетена
И до сих пор в забытьи сонном
Молчит и терпит все она.
Царь стал для русских полубогом,
Как папа средневековой;
Но не спокойствия залогом
Был он, а гибельной грозой.
Но пусть бы так!.. Еще России
Полезны дядьки и лоза;
Пусть предрассудки вековые
Рассеет царская гроза;
Пусть сказки нянек царь прогонит,
Пусть ум питомца развернет,
Сомненья искру в ней заронит,
К любви, к свободе приведет.
Тогда пусть правит. Но неведом
Ему язык высоких дум,
Но чужд он нравственным победам,
Но чужд и мелочен в нем ум.
Но шесть девятков миллионов
Он держит в узах, как рабов,
Не слыша их тяжелых стонов,
Не ослабляя их оков.
О Русь! Русь! Долго-ль втихомолку
Ты будешь плакать и стонать
И хищного в овчарне волка
„Отцом - надеждой“ называть?
Когда, о Русь, ты перестанешь
Машиной фокусника быть?
Когда проснешься ты и встанешь,
Чтобы мучителям отмстить?
Проснись, о Русь! Восстань, родная!
Взгляни, что делают с тобой!
Твой, царь, себя лишь охраняя,
Сам нарушает твой покой
И сам, в когтях своих сжимая
Простых и знатных, весь народ,
Рабов чиновных награждая,
Такое-ж право им дает.
И раб разумно рассуждает:
„Я сам покорствую царю;
Коль он велит, то умолкает
Честь, разум, совесть—я творю.
И раб мой, ползая во прахе,
Пусть, что велю ему, творит;
Пусть в угнетении и страхе
И ум и совесть заглушит.
Он мой. Он должен отступиться
От прав, от чести, от всего...
Он для меня живет, трудится;
Мои плоды трудов его!“
И в силу мудрого решенья
Он мучит бедных мужиков,
Свои безумные веленья
Законом ставя для рабов.
Какой-нибудь крючок приказный
За подлость „статского“ схватив;
Солдат, бессмысленный и грязный,
Дворянство силою добыв;
Князь, промотавший миллионы,
Взяв за купеческой женой;
Безвестный немец, жид крещеный,
Нажившись на Руси святой,—
Все ощущают вдруг стремленье
Душами ближних обладать,
Свое от высших униженье
Чтоб на подвластных вымещать.
И хладнокровно приступает
К позорной купле старый плут,
И люди братьев покупают!
И люди братьев продают!
Ужасный торг. Он—поношенье
Покупщикам и продавцам,
Царю и власти униженье,
Тому народу стыд и срам.
Какой закон, какое право
Торг этот могут оправдать?
Какие дикие уставы
Дозволят ближних продавать?
Не ты-ль, наш царь, с негодованьем
Продажу негров порицал?

Филантропическим воззваньем
Не ты-ль Европу удивлял?
А между тем в твоей России
Не негры—пленники войны,
Свои славяне коренные
На гнусный торг обречены.
Скажите, русские дворяне,
Какой же бог закон изрек,
Что к рабству созданы крестьяне,
И что мужик не человек?
Весь организм простолюдина
Устроен так же, как у нас,
Грубей он, правда, дворянина,
Зато и крепче во сто раз.
Как вы, и душу он имеет,
В нем ум, желанья, чувства есть,—
Он ложь высказывать не смеет;
Но и за это—вам же честь!
Свободы, мысли и желанья
Его лишили; этот дар—
Всех человеков достоянье—
Ему неведом: он товар,
О нем спокойно утверждают,
Что рабство у него в крови, —
И те же люди прославляют
Ученье братства и любви.
Сыны любимые Христовы,
Они евангелие чтут
И однокровного родного
Позорно в рабство продают.
И что за рабство! Цепь мучений,
Лишений, горя и забот;
Не много светлых исключений
Представил горький наш народ.
Все в угнетеньи, все страдает,
Но все трепещет и молчит,
Лишь втайне слезы проливает,
Да тихо жалобы твердит.
Но ни любви, ни состраданья
Нет в наших барах-палачах,
Как нет природного сознанья
О человеческих правах.
На грусть, на плач простолюдина
Они с презрением глядят,
Рабы в руках их все машины,
Они вертят ей, как хотят.
Помещик в карты проиграет,—
Завел машину: „дай оброк!“
И раб последнее сбирает,
Скрыв в сердце горестный упрек.
Но если бедный, разоренный
Неурожаем мужичек,
Большой семьей обремененный,
Не в силах выплатить оброк?
Так что-ж! пусть мерзнет, голодает,
Пусть ходит по миру с семьей;
Свои права помещик знает
Над крепостной своей душой:
Он у раба возьмет корову,
Отнимет лошадь, хлеб продаст
И в назидание сурово
Ему припарку в спину даст.
И раб покорен, как машина,
Но хочет он и есть и пить,
И не во власти господина
В нем чувства тела истребить.
Меж тем и хлеб дневной не может
Он как хотелось бы иметь:
Гнилую корку часто гложет,
Пустые щи—его обед,
Изба соломою покрыта,
В ней тараканы, душь и смрад—
И вот все доброе забыто,
Мужик пускается в разврат.
Пустеет хата, плачут дети,
Муж с горя пьет, да бьет их мать,
Не силен страх господской плети—
У них уж нечего отнять.
И наконец мужик несчастный,
Уже негодный для господ,
Для муки новой и ужасной
К царю в солдаты попадет.
Еще счастлив, когда он может
Мгновенно в битве умереть,
Но чаще в гроб его уложит
Труд, горе, бедность, розги, плеть.
Да еще крепкое сложенье,

Да мысль, что так велит судьба,
С привычкой давнею к терпенью
Спасают русского раба.
Лишь русский столько истязаний
С терпеньем может выносить,
Лишь он среди таких страданий
Спокойно может еще жить:
Но есть ужасные мученья,
Не в мочь и русскому они
И большей части населенья
Они в России суждены.
Проступок легкий и ничтожный
И даже мнимая вина,
В чем мысль и правду видеть можно,
Всегда жестоко казнена.
Не может барину свободно
Всей правды высказать мужик,
Не может мыслить благородно,
Боясь бессовестных владык.
Не может барину ответить
На вздор и грубости его;
Не смеет даже он приметить
Уничтоженья своего.
Владеть имуществом не смеет,
Не волен даже сам себе,
Затем, что барин им владеет,
Он господин в его судьбе.
И даже брачных наслаждений
Раб часто барином лишен,
Тиран для светских наслаждений
Берет детей, берет их жен.
Считая барина священным,
Каким-то высшим существом,
Мужик пред демоном презренным
Поникнет телом и умом.
А тот собаками для шутки
Начнет несчастного травить;
Велит в мешок на трое сутки
Позорно плоть его зашить.
Иль на дворе в крещенский холод
Водой холодной обольет,
Или на жажду и на голод
Дня три-четыре предает...
Заставит голыми руками
Из печки угли выгребать
Иль раскаленными щипцами
На теле кожу припекать.
Льет кипяток ему на руки,
Сечет плетьми по животу...
Но все их казни, все их муки
Я никогда не перечту.
Одну ужасную картину
Запомнил я до этих пор,
Как раз к вельможе-господину
Рабы являлись на позор.
С тупым, но злобным выраженьем,
С самодовольствием в лице,
К рабам проникнутый презреньем,
Сидел он гордо на крыльце.
И вот идет к нему в ворота,
Без шапок, кучка мужиков,
Грызет их бедность и забота,
Довольства нет в них и следов.
Печально, робкими шагами,
Они к тирану их идут,
Стараясь угадать глазами,
Что,—гнев иль милость,—в них найдут?
„Скоты! все станьте на колена!“—
Вдруг крикнул барин. Мужики
Со страхом падают; их члены
Дрожат,—и чувства их горьки.
Они пришли сюда с прошеньем,
Чтоб их палач повременил
Оброк с них драть с ожесточеньем
Но сразу он их поразил.
Все в землю стукаются лбами
И на коленях все ползут.
Зачем? Они не знают сами,
Им на язык слова нейдут.
А он, смотря на них спесиво,
Дает им ближе подползать
И, точно папа, горделиво
Велит сапог свой лобызать.

Все исполняют. Лишь несчастный
Один остался средь двора
И стал, безмысленный, бесстрастный.
Теперь пришла его пора.
„Сюда“ — прикрикнул барин гневно;
Земной поклон ему мужик,
„Отсохни, барин, мой язык!
Ей-богу, ноженьки разбило.
Тронуться с места не могу!
Я чуть доплелся. Кабы сила,
Тогда я первый прибегу“.
С лицом больным, изнеможенным,
Дрожащий, бледный и худой,
Со взором тусклым, помраченным,
Был жалок он своей тоской.
Но барин крикнул: „притащите
Его ко мне“. И вот мужик
Притащен.—„Барин, пощадите!“
Но он щадить их не привык.
Вскочив, он начал кулаками
Бить в грудь и щеки мужика
И, сбивши с ног, топтал ногами,
Толкал пинками под бока.
Потом за чуб поднял и снова
Его хлестать стал по щекам
И, в кровь избивши, чуть живого
На руки бросил мужикам
И приказал, чтоб двести палок
Ему прикащик завтра дал;
Но завтра раб был меньше жалок:
Несчастный завтра не видал.
Запомнил я, в душе смятенной,
Его страдальческую тень...
Зовет она борьбы священной,
Суда и мщенья грозный день.
И может, дружным, громким криком
Ответит Русь на этот зов,
И во дворянстве полудиком
Взволнует он гнилую кровь.
И раб, тиранством угнетенный,
Вдруг от апатии тупой
Освободясь, прервет свой сонный,
Свой летаргический покой.
И встанет он в сознаньи права,
Свободной мыслью вдохновен,
И гордых деспотов уставы
Быть может в прах низвергнет он.
Отмстит он им порабощенье
Свободы равных им людей,
Свои беды и поношенье
Крестьянских жен и дочерей.
Восстанет он, разить готовый
Врагов свободы и добра,
И для России жизни новой
Придет желанная пора.
Уже в ней семя мысли зреет,
Стал чуток прежний мертвый сон,
Зарей свободы пламенеет
Столь прежде мрачный небосклон,
И друг за другом грезы ночи,
При свете мысли, прочь летят,
И все бледней, и все короче
Видений сонных пестрый ряд.
Без малодушия, боязни
Уж раб на барина восстал
И, не страшась позорной казни,
Топор на деспота поднял.
Вооружившись на тиранство,
Он вышел с ним на смертный бой
И беззаконному дворянству
Дал вызов гордый и прямой.
За право собственности личной,
За душу наконец он встал:
„Я не товар для вас обычный,
Душа моя“,—он им сказал:
„Протек для русского народа
Тьмы и тиранства долгий век,

Я жить хочу! хочу свободы!...
Я равен вам, я человек!“
И пусть во всех концах отчизны
То слово мощно прозвучит,
Пусть всех возбудит к новой жизни
И гибель рабству возвестит!
И пусть злодеи затрепещут
И в прахе сгибнут навсегда,
И ярким светом пусть заблещет
Величья русского звезда.
Вставай же, Русь, на подвиг славы—
Борьба велика и свята!...
Возьми свое святое право
У подлых рыцарей кнута...
Она пойдет!... Она восстанет,
Святым сознанием полна,
И целый мир тревожно взглянет
На вольной славы знамена.
С каким восторгом и волненьем
Твои полки увижу я!
О Русь! с каким благоговеньем
Народы взглянут на тебя,—
Когда, сорвав свои оковы,
Уж не ребенком иль рабом,
А вольным мужем жизни новой
Предстанешь ты пред их судом.
Тогда республикою стройной,
В величьи благородных чувств,
Могучий, славный и спокойный,
В красе познаний и искусств
Глазам Европы изумленной
Предстанет русский исполин.
И на Руси освобожденной
Явится русский гражданин.
И в царстве знаний и свободы
Любовь и правда процветут,
И просвещенные народы
Нам братски руку подадут.
[1856].

Н. Добролюбов.

Часовые.

Посвящ. В. Г. Белинскому.

Не время спать!

„Слушай! Слушай!“ гремит над сонною землею...
То оклик часовых,
Они одни стоят, и в жар и под грозою,
Все на местах своих.
И мимо часовых идет себялюбиво
Толпа, и все спешат
Себе построить дом, свою засеять ниву
И отыскать свой клад.
И ежедневною осилены заботой,
Не смотрят люди в даль:
Приносит каждый день им новую работу
И радость иль печаль.
Утомлены они работами дневными,
И крепок сон людей...
А между тем гроза сбирается над ними;
В тьме крадется злодей;
И грех растет меж них бесстыдно, без боязни;
Враг цепи им кует;
И суд истории готовит людям казни...
Кто-ж сонный мир блюдет?
Над ним стоят одни во мраке часовые,
И зорки очи их:

И не заснут они в минуты ро-
ковые,
Не бросят мест своих.
Меж ними есть одни увенчаны
судьбою,
Полмиром почтены,
Высоко держат стяг могучею
рукою,
На них устремлены
Всех современников внимательные очи;
Их подвиги гремят,
И гордо над толпой днем и во
мраке ночи
Могучие стоят.
И ярко их щиты блестят над
вышиною,
Их громки имена,
И слышно далеко их слово громовое:
„Восстаньте ото сна“.
„Слушай! готовит враг ночное
нападенье!
Слушай, грозит беда!
Порок ползет в тиши, и злое
преступленье
Свершилось без суда!
Слушай, к оружию! за правду,
за свободу!
Настал, вновь, день борьбы!
Слушай!..“ И, слыша клич, волнуются народы
И ждут своей судьбы.

Но есть других бойцов ряд темный, безыменный,
Не виден миру он,
Стоит с мечом в руках он, мраком облеченный,
Без веющих знамен.
И повторяет он: Слушай! над
сонным миром,
Не видим на местах.
„Слушай, о братия, война земным кумирам!
Они да рухнут в прах!“
И братьев в тишине внимает
он призванью
И шепчет: „Слава им!
Пусть имя их живет в народном почитаньи,
В урок векам другим!
Пусть современники и будущее
племя
Не знают наших дел!
Пусть нашей жизни след совсем завеет время;
Забвенье наш удел...
Мы долг свершили свой, мы
тоже сторожили
Мир, спящий до зари;
За ту-же Истину мы меч свой
обнажили,
За те-же алтари“.

19-го августа 1856-го года.

Сон.

Когда сменился день молчаньем
темной ночи,
Дремота смутная мне налегла
на очи,
И вижу я: на площади народ,
И слышен звон с высоких колоколен,
И юный царь торжественно грядет

В порфире и венце, сияющ и
доволен,
За ним попы, бояре и полки,
Хвалебный гимн гремит, блестят штыки...
Но мною обуял внезапно гнев
священный,
Я бросился к царю и дланью
дерзновенной

С его главы сорвал златой венец
И бросил в прах, и растоптал на части.
„Довольно!“—я вскричал.—„Погибни наконец,
Вся эта ветошь ненавистной власти!“
Пророческая мощь мою вздымала грудь,
А царь бледнел, испуганный и злобный;
В народе гул прошел громоподобный;
И как морская зыбь, грозы почуя путь,
Растет из тишины, в которой ей дремалось—
Тысячеглавая толпа заколебалась...

1854.

Н. Огарев.

Предисловие к Колоколу.

Россия тягостно молчала,
Как изумленное дитя,
Когда, неистово гнетя,
Одна рука ее сжимала;
Но тот, который что есть сил
Ребенка мощного давил,
Он с тупоумием капрала
Не знал, что перед ним лежало,
И мысль его не поняла,
Какая есть в ребенке сила:
Рука—ее не задушила,
Сама с натуги замерла.
В годину мрака и печали,
Как люди русские молчали,
Глас вопиющего в пустыне
Один раздался на чужбине;
Звучал на почве не родной —
Не ради прихоти пустой,
Не потому, что из боязни
Он укрывался бы от казни;
А потому, что здесь язык
К свободомыслью привык,
И не касалася окова
До человеческого слова.
Привета с родины далекой
Дождался голос одинокий,
Теперь юней, сильнее он...
Звучит, раскатываясь, звон,
И он гудеть не перестанет,
Пока—спугнув ночные сны—
Из колыбельной тишины
Россия бодро не воспрянет,
И крепко на ноги не станет,
И непорывисто смела—
Начнет торжественно и стройно,
С сознанием доблести спокойной,
Звонить во все колокола [50]).

Н. Огарев.

Искандеру

(1858 год).

Когда я был отроком тихим и нежным,
Когда я был юношей страстно-мятежным,
И в возрасте зрелом, со старостью смежном,
Всю жизнь мне все снова, и снова, и снова
Звучало одно неизменное слово:
Свобода! Свобода!
Измученный рабством и духом унылый,
Покинул я край мой родимый и милый,
Чтоб было мне можно, насколько есть силы,

С чужбины до самого края
родного
Взывать громогласно заветное
слово:

Свобода! Свобода!

И вот на чужбине, в тиши полунощной,
Мне издали голос послышался
мощный...
Сквозь вьюгу сырую, сквозь
мрак беспомощный,
Сквозь все завывания ветра
ночного,
Мне слышится с родины юное
слово:

Свобода! Свобода!

И сердце, так дружное с горьким сомненьем,
Как птица из клетки, простясь
с заточеньем,
Взыграло впервые отрадным
биеньем,
И как-то торжественно, весело,
ново
Звучит теперь с детства знакомое слово:

Свобода! Свобода!

И все-то мне грезится—снег и
равнина,
Знакомое ветру лицо селянина,
Лицо бородатое, мощь исполина,
И он говорит мне, снимая оковы,
Мое неизменное, вечное слово:

Свобода! Свобода!

Но если-б грозила беда и невзгода,
И рук для борьбы захотела
свобода,—
Сейчас полечу на защиту народа,
И если паду я средь битвы суровой,
Скажу, умирая, могучее слово:

Свобода! Свобода!

А если-б пришлось умереть на
чужбине,
Умру я с надеждой и верою
ныне,
Но в миг передсмертный — в
спокойной кручине
Не дай мне остынуть без звука
святого,
Товарищ, шепни мне последнее
слово:

Свобода! Свобода!

Н. Огарев.

С того берега [51]).

Молчат. Топор блеснул с размаха,
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.
Пушкин (Полтава)

На утесе на твердом сижу я и
слушаю:
Море темное плещет, колышется,
И хорош его шум, и безрадостен,
Не наводит на помыслы светлые.
Погляжу я на берег на западный—
И тоска берет, отвращение;
Погляжу я на дальний на восток—
Сердце бьется со страхом и
трепетом.
Голова так и клонится на руки,
И я слушаю, слушаю волны —
да думаю,

А что думаю—говорится вслух,
Не то оно песня, не то сказание.
Погляжу я на берег на западный,—
Вот что было там, что случилося.
Мерзлым утром рано-ранехонько
Выступали полки, шли по улице,
Громко конница шла, стуча копытами,
Мерно пехота шла, раз в раз, не сбиваяся;
Гул тяжелый несся от поступи.
Барабаны трещали без умолку,
Впереди несли знамя военное,
А на знамени орел сидит,
А орел – птица кровожадная!
И пришли полки, стали на площадь,
Середь улицы плаха воздвигнута.
За полками народу тьма тмущая;
Все на плаху глядят и безмолвствуют,
Тишина была страшная, гробовая.
Вот на площадь ввели двух колодников,
Что задумали подорвать кесаря;
Не хотели они орла кровожадного,
Али ястреба, падалью сытого.
Вот ввели их, двух колодников,
А ввели их со солдатами,
А солдаты со саблями с обнаженными,—
Для двух скованных сила грозная!
И пришли они, два колодника,
По морозцу пришли босоногие,
Два попа им лгали милость божию.
И пришли они, два колодника,
А затылки у них острижены,
Топору чтоб помехи не было.
И надели на них, на колодников,
Покрывало черное на каждого:
За отцеубийство казнить их велено.
Да отец-то где-ж, вы скажите мне?
Разве тот отец, кто казнить велит,
Кто казнить велит, а не миловать?
Ах, лжецы вы, лжецы окаянные!
Погляжу на вас да послушаю—
Так с отчаянья индо смех берет.
И пошли на плаху колодники,
Шли спокойно они и безропотно,
Перед смертью только воскликнули:
„Эх! да здравствует наша родина
И другая страна, столь любимая,
Где теперь мы слагаем головы,
А в любви к ней не раскаялись!"
И попадали обе головы.
И палач склал обе головы в мешок,
А безглавые тела повалил на телегу,
Повезли спозаранку к ночлегу,
И безмолвный народ по домам пошел,
Кто понурясь пошел с горькой горестью,
А иной был рад, что бог милость дал
Увидать на веку дело редкое.
Постояли полки,—делать нечего,
И пошли опять стройной выстройкой,
Только гул стонал от их поступи.
Впереди несли знамя военное,
А на знамени орел сидит;
А орел—птица кровожадная.
Кровожадная она и не новая:
В стары годы ее на знамени
Гордо-лютые носили римляне,
И у них был Брут, убил Кесаря,
И была ему слава вечная.

Да не в прок пошло убиение,—
Сам народ был раб, по душе
был раб,
И пошли все Кесари да Кесари;
Много крови лилось человече-
ской...
Сказка старая, невеселая!
Погляжу я на дальний восток:
Там мое племя живет, племя
доброе.
Кесарь хочет ему сам свободу
дать,
Хочет сам да побаивается.
Если Кесарь сам нам свободу
даст
Он же Кесарь—новый дух свя-
той".
Ну, да как же Кесарю нам сво-
боду дать?
У него все-ж орел на знамени:
Дух святой являлся в виде го-
лубя,
А орел—птица кровожадная!
Верить хочется—и не верится,
С думы сердце в груди надры-
вается.
И все жаль мне их—этих двух
людей,
Что сложили свои головы
Так спокойно и так доблестно,
Перед смертью только восклик-
нули:
„Эх! да здравствует наша родина
И другая страна, столь любимая,
Где теперь мы слагаем головы,
А в любви к ней не раскаялись"!
Моя песня—не просто сказание,
Моя песня—народное рыдание
По людям, убиенным за родину,
За любовь к воле человеческой,
По мученикам, по праведным,
Святой вольности угодникам.
Моя песня – не просто сказание,
Моя песня – надгробное рыда-
ние:
Из груди она с болью вырва-
лась,
От глубокой тоски сказалася!..
Ты лети-ж, моя песня скорбная,
Через море, море шумное,
Долетай до людских ушей.
Пусть их слушают хотя-нехотя.
Кто в душе грешен—тот пусть
бесится,
До него мне и дела нет;
А прямая душа—пусть прочув-
ствует,
Горькой думой призадумается.
А не тронешь их ни единого,—
Лучше-ж, песня ты моя скорбная,
Потони ты в плеске волн мор-
ских,
Без следа развейся по ветру.

Н. Огарев.

Грустно матушке России,
Грустно юному царю,
Царь покойный гнуть лишь выи
Дворню выучил свою.

Грустно!—думаю я часто,
Про отечество отцов,
Незабвенный лет, ведь, на сто
Заготовил дураков [52]).
1858.

Забытье[53]).

Я сплю иль нет?... Что это—ночь иль день?
Пора ли встать? Иль медленная лень
Даст мне понежиться и члены порасправить
И полусонный мозг на волю грез оставить?
День без утра, иль утро без зари...
Опять туман! Куда ни посмотри—
Сырое реянье в протяжном колебаньи...
Все зыбь—как на море. Я, точно на яву,
Куда-то вдаль на корабле плыву—
С волны и на волну в размеренном качаньи
Исчезли берега, в тумане небеса,
И только плеск кругом, все только блеск бессвязный
Безостановочный, глухой, однообразный,
Да ветер свищет в паруса.

* * *

Куда плыву? С чего сердечный трепет?
Не близки-ли знакомые края?
И ты не лжешь—надежды тайный лепет?
Чу—в воздухе морозная струя!
Туман упал под ледяным дыханьем,
И ярко блещет день ликующим сияньем.
Передо мной лежит и искрится вдали
Равнина белая в серебряной пыли;
По ней, где кучками, а где поодиночке,
Чернеются рассеянные точки—
Дома, деревни, города,
И люди жмутся, как стада.

* * *

Прощай, пловучий дом с свободным, красным флагом...
На лед прибережный ступил я скользким шагом
И, пробираяся утоптанной тропой,
Я миновал сугроб, метелью нанесенный,
И выхожу на путь, санями улощенный...
Печален плоский край с замерзшею рекой!
Безвестным странником вхожу я в город людный.
Прямые улицы, высокие дома...
Знакомый мне дворец, знакомая тюрьма,
И медный богатырь, в посадке многотрудной
Сто лет уже взмощенный на гранит,
На медной лошади безмолвие хранит.
А люди около мелькают постоянно:
Курьеры вскачь спешат, как на пожар,
Летит жандарм—архангел царских кар;

Чернильный мученик—чиновник
бесталанный,
Пешком усердствует со связкою бумаг,
Идут ряды солдат—сто ног в
единый шаг,
И всюду суета, да грохот барабанный...
Лишь редкий гость—брадатый
раб, мужик—
Сторонится и головой поник,
Глядя в унынии на город чужестранный.
Бывало, тоже гость, невольный
иль незваный,
Тоскуя проклинал я бледный
небосклон.
Мундиры и гранит, весь новый
Вавилон,
И мерил с ужасом его тупую
силу...
Теперь я знаю, он—торопится
в могилу.

* * *

Толпа стоит без шляп—и в
санках проскакал,
В шинели до ушей, какой-то
генерал—
Вид озабоченный, военная посадка,
И зыбкость помысла, и робкая
оглядка...
Знакомым призраком он показался мне,
Его, мне мнится, я видел—но
во сне.
То было в ночь, темно сошедшую в молчаньи
Над целою страной, томившейся в страданьи,
То было в ночь, вослед за незабвенным днем,
Когда все в трауре, с торжественным пеньем,
Огромного венчаного злодея
Похоронили, не жалея:
В ту ночь, во сне, передо мной
стоял,
В порфире и венце, вот этот
генерал...
Ступай себе пока!... а мне своя
дорога.

* * *

И я на тройке быстроногой
Скачу по скатам и холмам,
Да по бревенчатым мостам,
То полем безрубежно-белым,
То бором мрачно-поседелым.
По глади снежной тройка мчит
Через ухаб, нырнув, летит,
Мятет и жмется по сугробью,
И колокольчик мелкой дробью
И замирает, и звенит.
И гаснет день, и звезды ночи—
Небес бесчисленные очи—
Сквозь тьму глядят на белый
путь,
Но мне не время отдохнуть.
Пусть дни и ночи, свет со
тьмою,
Бегут, чредуясь межь собою,—
Не успокоюсь до конца,
С упорством вечного гонца,
Пренебрегу, покуда можно,
Пока не слег в тиши гробов,
Дороги усталью тревожной,
Седою усталью годов.

* * *

И идут дни, и следом идут ночи,
Уж холод сдал, и слышу я весну;
Посыпал дождь в замену мокрых клочий,
И рыхлый снег утратил белизну.
Полозья в земь ударились с упором...
Седлай коня! и дальше в путь!
И в топь и вплавь, по кочкам и зажорам,
Я проберуся как-нибудь!

Чернеет почва из под снегу,
Ручьи сбегают в глубь долин,
И речка мутная с разбегу
Уносит в даль обломки льдин.
Уже поля рядиться стали
В зеленый полог озимей,
Листом по роще зашептали
Побеги свежие ветвей;
Уж первый гром затих с раскатом,
Облекся вечер мирным златом;
При лунном трепете лучей
Защелкал первый соловей.

* * *

О! Как баюкает томленьем сладострастья—
Весенней неги мягкий звук!
Но мне не до него! я вырос вон из счастья,
Мне нужен толк да сила рук.
Мой путь с утра идет дремучим бором...
А вот и ночь, и скат береговой,
Река — что море — не окинешь взором,

И месяц всплыл над синей мглой.
Внизу у отмели пологой
Стоит бурлак с ладьей убогой.
Бурлак, вези! пора пришла!
Ладья скользит, и волны мчатся,
И брызги искрами дробятся
Под взмахом мощного весла.
Плыву, молчу от ожиданья,
От нетерпенья и желанья,
А тут и волны, и луна,
И плеск, и блеск, и тишина...

* * *

Свежеет воздух, ночь бледнеет,
И сумрак трепетный редеет,
Заря! заря! Я различить могу
Кусты на дальнем берегу.
И вижу я: стоит толпа народу,

Кричат—„скорей! сюда! сюда! свобода!“
И голос, точно дальний зов,
Поет... и песня так знакома!...
И подхватили с силой грома
Ее сто тысяч голосов:—

* * *

„Из за матушки за Волги,
Со широкого раздолья,
Поднялась толпой-народом
Сила русская сплошная.
Поднялась спокойным строем
Да как кликнет громким кликом:
Добры молодцы, идите,
Добры молодцы, сбирайтесь—
С Бела-моря ледяного,
Со степного Черноморья,
По родной великой Руси,
По Украине по казацкой,
Отстоим мы нашу землю,
Отстоим мы нашу волю,
Чтоб земля нам да осталась,
Воля вольная сложилась,
Барской злобы не пугалась,
Властью царской не томилась!...“

* * *

Ладья причалила, я выпрыгнул на берег...

Н. Огарев.

К Александру II, при восшествии его на престол [54]).

Не жди, чтобы цвела страна,
Где царство власти, не рассудка,
И где зависит все от сна
И от сварения желудка!
Где есть закон, чтоб понимать,
Как он изменчив и непрочен,
И где звездами лечат знать
От заслуженных ей пощечин!
Где много есть свободных мест
Для угнетенья и позора;
Где вешают на вора крест,
А не на крест вздевают вора.
Где низость доставляет чин,
А чин дает на подлость право:
Кто низко ползал—исполин,
Кто честно жил—упал без славы!
Где надо знать маршировать,
Чтоб выслужиться перед троном,
Где можно родину продать
И ей же вновь служить шпионом!
Где с детства учат фрунтовой,
Из школ поделали казармы,
Где управляют всей страной
Фельдфебель с палкой, да жандармы.
Где все правительство живет
Растленьем нравственным народа,
На откуп пьянство отдает
Для умножения дохода!
Где за словечко—цензоров
Пугают пытками тиранства,
А грабить можно мужиков,
И драть—по вольности дворянства!
Где недостатка нет в попах,
А веры не видать от века,
Где бог в одних лишь образах,
Не в убежденьях человека;
Где нет управы для людей,
Где мысль их гонят; изуверство
Где есть закон; для лошадей
Особое есть министерство!
Где все цари едят и пьют
Или в солдатики играют,
Из мертвых мощи создают,
Живых же в землю отправляют!
Где барской прихоти чинов
Даны на жертву поколенья,
Где для затмения умов
Есть министерство „просвещенья“.

Жил на свете русский царь.

(На голос:
„Ездил русский белый царь,
Православный государь
Из своей страны далеко
Лавры пожинать“).

Жил на свете русский царь,
Разнемецкий государь,
Он крестьянскому народу
Волю обещал! (2 раза).
Чтобы каждый селянин,
Как теперя дворянин,
От работы подневольной
Век не горевал!
Чтоб его ни бить, ни сечь,
Обдирая шкуру с плеч,
Ни помещик, ни чиновник
Более не мог!
Чтобы он землей владел,
И пошли ему в надел
Те поля, за что платил он
Барину оброк,
Обещал-то царь легко,—
Но уехать далеко
На посуле, как на стуле,
Видно захотел.
Думал: „глуп мужик, все съест!“
И составил манифест,
Что ни в толк взять, ни понять
Никто не сумел.
Ну, чиновники читать
Да крестьянам толковать,
Что та новая неволя—
Волюшка и есть.
Воля-вольная нищать
Да под розгами пищать,
Да начальству грош последний
Со слезами несть.

Призадумался народ:
Чует, кто-нибудь да врет:
Иль начальство надувает,
Или самый царь.
Что за воля без земли,
Чтобы барщину несли
И оброк крестьяне так же,
Как водилось встарь?
Это что-нибудь не так!—
И попалися в просак
Те крестьяне, что судили
О делах своих.
По селам, без дальних слов,
Как прямых бунтовщиков,
Стала сечь их и тиранить
Стая становых.
Ну, сзывать на них полки,
Да водить солдат в штыки,
Чтоб по старому порядку
Все водилось вновь.
Напроказил царь-отец!
На Руси с конца в конец
Из-за царского обмана
Пролилася кровь.
Надо, значит, для крестьян,
Чтоб народ за волю сам
Дружно. миром, волостями
В одно время встал.
Надо значит, чтоб солдат
Помогал ему, как брат,—
И, не слушая приказа,
В него не стрелял.

Мысли россиянина [55]).

при чтении указа о прекращении обязательных отношений крестьян к помещикам в западных 4 губерниях и 4 уездах.

1

Эх, ты царь наш, батюшка,
Александр второй!
Знать и вправду бубны-то
Славны за горой.
Знать покуда в Питере
Тешили слова,
Думал ты пируючи:
Все, мол, трын-трава!
И в освободители
Попаду, мол, я,
И с моими барами—
Будем мы друзья.
Мужику помажу я
Медом по усам,
А другой де воли я
Все-ж ему не дам!
В некой постепенности
Отыщу матерью,
Удовлетворить зараз
Всю мою имперью!

2

Эх, ты, царь наш батюшка,
Я простой мужик—
И к словам заморским
Вовсе не привык.
Мне бы, как попроще-то:
Посулил—подай!
Хочеш *да*—скажи,—а *нет*—
Рта не разевай!
В промежутке пустошном
Между *да* и *нетом*
Смыслу не найти тебе
С всем твоим советом.
Был бы ты, царь-батюшка,
Сам себе не враг,—
Верно не втесался бы
В постепенный мрак;
А с начала с самого
Нам бы землю дал,
Без оброков-выкупов
Всех бы развязал.

3

Ты пойми, царь-батюшка,
Испужавшись ляха,—
Ты ведь за развязку-то
Вдруг взялся со страха.
Страх—советник плохенький,
Не волен в мыслях,
И, глаза зажмуривши,
Бродит все впотьмах.
Страх в российском воинстве
Уничтожил строй
И пустил солдатушек
На простой разбой;
Так что победятся-то
Ляхи не войсками,
А сдадутся—будут в том
Виноваты сами.
С страху ты, царь батюшка,
Русским на проклятье
Бросился украдкою
В прусские объятья.
С поганью немецкою
Заключил союз,
Хныча, словно махонький:
„Дяденька, боюсь!"

4

И теперь со страху же
Хочешь ты, чтоб пан
Лапою казеною
Брал оброк с крестьян.
Да смотри: не поздно ли
Ты взялся за ум?
Да и ум не выйдет ли
Только *наобум*?
Кто к уставной грамоте

Руку приложил—
По указу надобно,
Чтобы рубль платил;
Кто же не подписывал.
Был тебе противен—
Тот заплатит с скидкою
Только восемь гривен:
Стало быть, царь-батюшка,
Уж такой уряд—
Кто тебя послушался,
Тот и виноват.
Племена литовские
Идут бунтовать,—
Ты крестьян от панщины
Хочешь развязать.
А как между русскими
Бунту еще нет,—
Ну, так переходностью
Сжать их на сто лет,
Чтоб по царской милости
Век был русский барин
За неразвязание
Очень благодарен.

5

Ну—с Литвой, как рядышком,
Если наш народ
В неповиновении
Выгоду поймет?
Если Псков да Новгород,
Да смоленский люд,
А потом московские
К нам же подойдут;
Да по всей империи
Русский весь народ—
На неправосудие
Вдруг возопиет:
Ну-тка, царь, развязывай!
Нет, уж тут с рубля
Двадцатью копейками
Отлынять нельзя.
Видишь ли, царь батюшка,
В страхе нет добра,
С ним—чего мудреного,—
Побежишь с двора.
Знамо—тучу божию
Не сшвырнешь на вилах—
Ты сознайся попросту,
Что владеть не в силах,
Обратись-ка к земщине,
Созови Собор,
Да народных выборных
Слушай приговор;
Слушай во смирении,
Головой склонись,
Разуму народному
Сам-то поучись!
Да спеши, царь-батюшка,
Чтоб не запоздать,
Не пришлось бы земщину
Без тебя сзывать.

6

Если я, царь-батюшка,
Что сказал не в лад—
Ты уж не взыщи на мне,
Я не виноват.
Твой покойник-тятенька
Человек был строг,
Всех, кто был пограмотней,
Гнул в бараний рог.
Мы учились без толку,
Как-то на авось—
Впрочем, свет царь-батюшка,
Ты меня не бось.
Человек я маленький,
Смирный, не буян,
Чином не запятнанный
И не из дворян.
Я не вор, не взяточник,
Не шпион какой,
Купленный и проданный,
А мужик простой—
Пока—верноподданный!

Двуглавый орел [56]).

Я нашел, друзья, нашел,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол:
Виноват во всем гербовый,
Двуязычный, двухголовый,
Всероссийский наш орел!

Я сошлюсь на народное слово,
На великую мудрость веков:
Двухголовье—эмблема, основа
Всех убийц, идиотов, воров.
Не вступая и в споры с глупцами,
При смущающих душу речах,
Сколько раз говорили вы сами:
„Да никак ты о двух головах!“
Я нашел, друзья, нашел и т. д.

Оттого мы несчастливы, братья,
Оттого мы и горькую пьем,
Что у нас каждый штоф за печатью
Заклеймен двухголовым орлом.
Наш брат русский, — уж если напьется,
Нет ни связи, ни смысла в речах:
То целуется он, то дерется
Оттого, что о двух головах!

Я нашел, друзья, нашел и т. д.

Взятки—свойство гражданского мира,
Ведь у наших чиновных ребят
На обоих бортах вицмундира
По шести двухголовых орлят.
Ну, и спит идиот безголовый—
Пред зерцалом, внушающим страх,—
А уж грабить, так грабит здорово
Наш чиновник о двух головах!
Я нашел, друзья, нашел и т. д.

Правды нет оттого в русском мире,
Недосмотры везде оттого,
Что всевидящих глаз в нем четыре,
Да не видят они ничего.
Оттого мы к шпионству привычны,
Оттого мы храбры на словах,
Что мы все, господа, двуязычны,
Как орел наш о двух головах!
Я нашел, друзья, нашел,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол:
Виноват во всем гербовый,
Двуязычный, двухголовый
Всероссийский наш орел!

Замечание старообрядца

(на тайные постановления по части раскола).

Царь, советом утвердясь,
Сел и думает гордясь:
„Ведь я барин, господин
И почтенный властелин.
Мужики мол дураки,
Крепки наши кулаки—
Мы дворяне, господа!
Подавай-ка их сюда,
Нужно зубы обчесать;
А указов им не знать—
А то нам и не нажиться,
Если всякий вразумится;
Слово сказано в кулак,
Чтоб никто не знал никак,
Кроме нас одних господ—
И да здравствует деспот!“
Императоры мечтают,
Так дворяне все считают,

Через тайные указы
И дворянские пролазы,
Как бы даром дани брать,
Да с крестьян всю шкуру драть,
Грабить деньги трудовые
Да стяжать чины пустые.
Знают, как когда прижать
Аль немножко воли дать,
Чтоб народ не рассердился,
Свергнуть иго не решился,
А народу жутко это,
Горе мыкает по свету,
Тщится срыть он злую долю,
Затевает землю, волю.
— Мы пускай мол мужики,
По вашему дураки,
А ты, батюшка наш царь,
Благодушный государь!
Ты однако землю дай—
Наш природный вечный пай;
Не забудь и волю тоже—
Вот что нам всего дороже.
А не дашь—так мы возьмем
И народный суд начнем,
И как скажем „надо так!“
Не изменишь ты никак.
Сгинут паны и дворяне—
Что дворяне, что крестьяне
Станут все—один народ
Без различия пород.
Мы же будем все с народом,
Как желатели свободы,
Дорогие наши братцы,
Вообще старообрядцы!

Совре́менное.

Вот Семен Авдеич
Крикнул, зло немножко:
„Филька!.. Ерофеич!..
Все сосет под ложкой
Ты, дурак, скажи-ка—
Врал там кто с тобою,
Даст де царь великий
Волю да с землею?
Что-ж? поверил сдуру?
А? холопья морда!
Ты свою фигуру
Держишь больно гордо.
Эдак мне умыться
От тебя, крамольный,
Скоро не добиться:
Скажешь—я де вольный!
Ну! вы что от воли
Ждете за послугу?
Излениться, что-ли,
Да и спиться с кругу?
Чай мой дед не даром
Вас купил с землями
И причислен к барам:
Нажил все трудами;
Долго службу правил,
Исполнял веленья
И себе составил
Важное именье.
Ну! с твоей-ли рожей
Станешь ты вдруг волен?
Спи себе в прихожей
Да и будь доволен“.
Эх, Семен Авдеич?
Успокойтесь, барин,
Пейте ерофеич,
Век у нас бездарен.
Те, к царю кто ближе,
Наши лиходеи,
Думают как вы же,
Тупы и злодеи,
Неизвестно что-ли—
Там все разговоры:
Не дадут нам воли
Панины да воры;
Так восторжествуют,
Так подпустят шпильку,
Что кругом издуют
И царя и Фильку [57]).

Долго нас помещики душили [58].

Долго нас помещики душили,
Становые били,
И привыкли всякому злодею
Подставлять мы шею.
В страхе нас квартальные держали,
Немцы муштровали.
Что тут делать, долго-ль до напасти—
Покоримся власти?!
Мироеды тем и пробавлялись:
Над нами ломались;
Мы де глупы, как овечье стадо—
Стричь да брить нас надо.
Про царей паны твердили миру,
Спьяна иль с жиру—
Сам де бог помазал их елеем,
Как же пикнуть смеем!
Суд Шемякин—до бога высоко,
До царя далеко:
Царь сидит там в Питере, не слышит,
Знай, указы пишет.
А указ, как бисером нанизан,
Не про нас лишь писан;
Так и этак ты его читаешь—
Все не понимаешь.
Каждый бутарь звал себя, с нахальством,—
Малыим начальством.
Знать и этих, господи ты боже,
Мазал маслом тоже.
Кто слыхал о 25 годе
В крещенном народе?
Когда-б мы тогда не глупы были,
Давно-б не тужили.
Поднялись в то время на злодеев:
Кондратий Рылеев,
Да покойник Пестель, да иные
Вовсе честные.
Не сумели в те поры мы смело
Отстоять их дело.
И сложили головы за братий
Пестель да Кондратий,
Не найдется, что ль, у нас инова
Друга, Пугачева,
Чтобы крепкой грудью встал он смело
За святое дело.

В. Курочкин.

Торжественная ода.

На победу, одержанную генерал-адъютантом П. А. Тучковым 12 октября 1861 года над студентами Московского Университета.

Была та светлая пора,
Когда Россия молодая,
С надеждой на царя взирая,
Мужалась гением добра;
Сгорая жаждой просвещенья,
Она звала своих сынов
На мирный подвиг обновленья,
Тогда явился к ней Тучков.
Герой, в казармах поседелый,
Маститый воин либерал,—
Он приступил к реформе смелой:
Прибавку жалованья взял
И овдовевшею Москвою
Стал править с кроткою душою,
Дом перекрасил на Тверской,
Хожалых собственным примером
Учил приветственным манерам
И по немецки жил с женой.

И подходил к его воротам
Без страха писарь и купец.
По середам и по субботам
Не говорил им он: „подлец!“
Порядок всюду колебался,
Никто квартальных не боялся,
Тучков с улыбкой все сносил
Как Брут перед казнию тирана,
Как Пятый Сикст у Ватикана,
Он душу грозную таил.

— —

Но вдруг раздался слух ужасный:
В Москве мятеж! Вот с Моховой
В одежде форменной и частной
Студенты хлынули толпой.
Они враги первопрестольной,
Хотят с отвагой своевольной
Просить защиты у того,
Кого считали добрым малым,
Хотя и русским генералом.
Пускай приходят—ничего,
В Эрцизгаузе—все готово...
Народу шепчут: „Поляки,
Задорный люд, бунтуют снова,
Готовьте, братцы, кулаки!.“
Студенты строятся, кто с книжкой,
А кто с тетрадкою под мышкой—
И, грозно став на площади,
Покорно просят генерала
К ним выйти из-за двери зала—
А там жандармы позади.

———

Вскипел старик во блеске власти
И стал могучий, как гроза,
И вдруг оделись влагой страсти
Его телячие глаза.
Взыграл герой, веселья полный,—
Жандармов яростные волны,
Бушуя, врезались в толпу:
Крутят, хватают, бьют, колотят,
Как на гумне, когда молотят,
Цеп, мерно бьющий по снопу.
Сечинского сверкает шпага
А Дупельт шпорами звенит,
И пьяных дворников ватага
Под их командою спешит.
Бегут студенты врассыпную,
Кто в магазин, кто в мастерскую,
Кто по дворам!.. В Тверской части
Вновь дан сигнал: „марш, марш, в атаку!“
И конница летит на драку
Удар последний нанести.

———

Лей слезы, Беринг, плачь, Закревский!
Померкла слава ваших дел.
Путятин Александровский
Сам в Петербурге присмирел.
Он удивляется Тучкову
И царства Русского основу
Отныне уважает в нем.
И под Курганом Бородинским
Другой Тучков челом воинским
Поник пред этим торжеством.
Потомства суд—не суд Шемякин:
Он вас почтить всегда готов,
О, вы Апраксин и Дремчанин,
Закревский, Беринг и Тучков!
А вы, французы, англичане,
Европы жалкие мещане,
Уж на Малаховский редут
Не Франц Тотлебен, не Нахимов,
А сам Тучков и сам Назимов
Отныне в бой нас поведут.

* * *

Как двенадцатого числа
Нас нелегкая несла

Просьбу подавать (bis)

Наш Раевский либерал
Все к Тучкову приставал

Царю показать.

Генерал, прими ты просьбу,
Принеси студентам пользу,

Будешь либерал.

Мы к Грановскому ходили,
Благословения просили,

Только он не дал.

Исакова поругали
Да и Грейца освистали,

Был тут шум большой.

Тут жандармов подослали,
20 человек забрали

В поздний час ночной.

Вот студенты собрались
И к Тучкову поплелись,

Чтоб назад отдал.

Но к нему не допустили,
А жандармами побили,

Ай да генерал!..

Генерал смотрел с балкона,
Как жандармская колонна

Во весь дух неслась.

На студентов налетела,
Била всех, кого хотела,

Благо дорвалась...

Генеральша-ж прослезилась,
Даже в обморок свалилась,

Когда крики поднялись.

Тут блюстители порядка
Огарев, Сечинский, Пяткин

Забавляться принялись.

По всем улицам ходили,
Где студентов находили,

Всех тащили в часть.

Изорвали их, избили,
На дожде весь день морили,

Знай — лишь нашу власть.

От Тучкова либерала,
Исакова генерала

Вышел весь скандал.

Царского же посещенья
Ждали все мы с нетерпеньем:

Мимо проскакал!

Экспромпт.

Ты напророчил нам, поэт,
Смысл басни нам твоей понятен:
Дуб—это университет,
Свинья же—граф Путятин [59]).

М. И. Михайлов.

(1826—1865).

Автор нашумевшей статьи о женщинах, беллетрист, поэт, переводчик Гейне, Беранже, знаток иностранной литературы, М. И. Михайлов, был арестован в 1861 г., был обвинен в составлении и распространении прокламации „К молодому поколению". Дело его слушалось в сенате. Осужденный на каторжные работы, он умер в 1865 г. в Забайкальи. По словам Шелгунова, правительство уморило его на каторге. До последнего времени не могли точно установить, был ли он действительно автором этой прокламации. Высказывались предположения, что Михайлов писал только часть ее. Только в 1918 г. после напечатания в № 4—6 „Голоса Минувшего" отрывка, раньше не вошедшего в „Воспоминания" Шелгунова, удается установить с точностью, что *действительным автором прокламации „К молодому поколению" и другой—„К солдатам" был Шелгунов*: „В ту же зиму, т.-е. в 1861 г., *я написал* прокламацию „К солдатам", и Чернышевский прокламацию „К народу" и вручил их Костомарову для напечатания", читаем мы на 61 стр. „Гол. Мин." и там же ниже:—„В ту же зиму я написал прокламацию „К молодому поколению", но мы решили печатать ее в Лондоне в „Русской печатне". Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайлова и меня".

Михайлов благополучно отпечатал ее в Лондоне и привез в Россию. Здесь он передал ее для распространения Всеволоду Костомарову.

Этот Костомаров, племянник известного историка, уже внушал подозрения. Он-то и погубил Михайлова и Чернышевского. Процесс Михайлова, „политического мученика", в 1861 г. привлек внимание передовой молодежи всей страны. По словам его друга, Шелгунова: „Михайлов, сосланный в каторгу, стал святым даже для тех, кто не прочел ни одной его строчки. Да и какие тут строчки! В воздухе чувствовалось политическое электричество, все были крайне возбуждены, никто не чувствовал даже земли под собой. Все чего-то хотели, готовились куда-то итти, ждали чего-то, точно не сегодня — завтра явится неведомый мессия. Явись такой вождь, наэлектризованная молодежь повторила бы с ним крестовый поход. *И вдруг среди этого всеобщего возбуждения неожиданный удар грома, и внезапно вырванная жертва: каждый словно чувствовал в Михайлове частичку себя.* Карточки его раскупались нарасхват, у сената толпились массы, чтобы встретить и проводить его и, если можно, так взглянуть на него. Некоторым удавалось взобраться по черной лестнице, где проводили Михайлова в заседание сената, и счастливцы были так довольны, что им удавалось видеть его, как он шел, сопровождаемый двумя жандармами. Михайлов тоже как будто вырос: его радовало общее внимание, и, довольный, он приветливо кланялся знакомым. Было что-то праздничное во всем этом". („Гол. Мин." стр. 64, № 4—6, 1918 г.). Эти воспоминания объясняют, почему гражданская поэзия уделила такое внимание поэту-революционеру, одной из первых жертв „царя-освободителя", посадившего в тюрьму одного за другим: Михайлова, Обручева, Чернышевского, Шелгунова, Писарева, Серно-Соловьевича и т. д.

На смерть Добролюбова.

Чем светлее жизнь и чище,
Тем нещаднее судьба...
Раздвигайся же, кладбище,
Принимай гроба!

Гроб вчера и гроб сегодня,
Завтра гроб... А мы стоим
И покорно — „власть господня!“—
Как рабы, твердим.

Вот и твой смолк голос честный,
И смежился светлый взгляд,
И уложен в гроб ты тесный,
Отстрадавший брат.

Ты умолк; но нам из гроба
Скорбный лик твой говорит:
„Что-ж молчит в вас, братья, злоба,
Что-ж любовь молчит?

Иль в любви одни лишь слезы
Есть у вас для кровных бед?
Или силы для угрозы
В вашей злобе нет?

Братья! Пусть любовь вас тесно
Сдвинет в дружный ратный строй,
Пусть ведет вас злоба в честный
И открытый бой!

М. И. Михайлов.

1861.

М. И. Михайлову.

(На голос: „Среди долины ровные).

Закован в железо, с тяжелою цепью,
Идешь ты, изгнанник, в холодную даль,
Идешь бесконечною, снежною степью,
Идешь в рудокопы на труд и печаль.
Иди без унынья,—иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен, и святы страданья!
И верь неослабно, наш мученик ссыльный,
Иной рудокоп не исчез, не потух—
Незримый, но слышный, повсюдный, всесильный,
Народной свободы таинственный дух,
Иди-ж без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен, и святы страданья!

Он роется мыслью, работает словом,
Он юношей будит в безмолвьи ночей;
Пророчит о племени сильном и новом,
Хоронит безжалостно ветхих людей.
Иди-ж без унынья, — иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен, и святы страданья!
Он создал тебя и в плену не покинет,
Он стражу разгонит и цепь раскует;
Он камень от входа темницы отдвинет,
На праздник народный тебя призовет.
Иди-ж без унынья—иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен, и святы страданья!

* * *

Как долгой ночью ждет утра
Больной, томясь в бреду,
Так в этой безрассветной тьме
Я милой вести жду.
День бесконечен... грудь полна
Невыплаканных слез.
Наступит ночь—ко мне бегут
Рои зловещих грез.
О только-б знать, что над тобой
Без туч восходит день,
Что ясная, встречаешь ты—
Без слов ночную тень,—
Как стало бы светло, тепло
В холодной этой тьме...
Пусть воли нет: пока придет,
Есть счастье и в тюрьме.
Но дни и месяцы идут...
Я жду—напрасно жду...
Так в ночь бессонную—утра
Не ждет больной в бреду...

М. И. Михайлов.

Молодежь узнику (М. И. Михайлову).

Из стен тюрьмы, из стен неволи
Мы братский шлем тебе привет.
Пусть облегчит в час злобной доли
Тебя он, наш родной поэт!
Проклятым гнетом самовластья
Нам не дано тебя обнять,
И дань любви, и дань участья
Тебе, учитель наш, воздать.
Но день придет, и на свободе
Мы про тебя расскажем все,
Расскажем в русском мы народе,
Как ты страдал из-за него,
Как сеял доброе ты семя,
Вещал ты слово правды нам;
Верь—плод взойдет, и наше время
Отмстит сторицею врагам!
И разорвет позора цепи,
Сорвет с чела ярмо раба,
И призовет из снежной степи
Сынов народа и тебя!

Соседям по камере.

Крепко, дружно вас в объятья
Всех бы, братья, заключил,
И надежды, и проклятья
С вами, братья, разделил.
Но тупая сила злобы
Вон из братского кружка
Гонит в снежные сугробы,
В тьму и холод рудника.
Но и там, на зло гоненью,
Веру лучшую мою
В молодое поколенье
Свято в сердце сохраню.
В безотрадной тьме изгнанья
Твердо буду света ждать
И в душе одно желанье,
Как молитву, повторять:
Будь борьба успешней ваша,
Встреть в бою победа вас,
И мини вас эта чаша,
Отравляющая нас! [60]).

М. И. Михайлов.

Послание Мих. Илл. Михайлову.

С Балтийского моря на дальний восток
Летит бурный ветер свободно.
Несет он на крыльях пустынный песок—
Несет вздох тоски всенародной...
Несет он привет от печальных друзей
Далекому милому другу...
Несет он зародыши грозных идей
От Запада, Севера, Юга.
И шепчет: „я слышал, в полях, в городах
Уж ходит тревожное слово.
Бледнеют безумцы в роскошных дворцах...
Грядущее дело готово.
Над русской землею краснеет заря,
Заблещет светило свободы.
И скоро уж спросят отчет у царя
Покорные прежде народы...
На празднике том уж готовят тебе
Друзья твои славное дело,
Торопят друг друга к великой борьбе,
И ждут, чтоб мгновенье приспело...
И шлют издалека сердечный привет,
Надежду, тоску ожиданья —
И твердую веру: „свобода придет"—
И скоро!.. Борец, до свиданья".

П. Л. Лавров.

Нигилисты-разночинцы и дворяне—лишние люди.

Фет-Шеншин в своих воспоминаниях с желчной озлобленностью пишет о выступлении нового социального слоя в конце 50-х и в начале 60-х г.г.: „Хотя в то время вся художественно-литературная сила сосредоточивалась в дворянских руках, но *умственный и материальный труд издательства*— жалуется закоренелый дворянин-крепостник — *давно уже поступил в руки разночинцев*, даже и там, где, как, например, у Некрасова и Дружинина, журналом заправлял сам издатель" (т. I, стр. 132). Выходцы из *разных чинов*, или *„разночинцы"*, чуждые дворянскому сословию, дети дьячков, священников, мещан, начинают играть видную роль в нашей журналистике и в революционном движении после разгрома Севастополя, в эпоху реформ, когда в журналистику, в университеты хлынул целый поток „семинаристов". В журнале „Современник", руководящем органе молодежи, стоят во главе семинаристы Чернышевский, Добролюбов, Антонович. Передовая дворянская интеллигенция отходит на второй план. Дворянина „постепеновца", связанного с дворянским гнездом, сменяет разночинец-„радикал", не знавший наследственных лиц. Этого непримиримого радикала, „желчевика" отрицателя, начинают травить дворяне-отцы, „положительные люди".

В 60-е и 70-е годы представителей революционной молодежи охранительная печать называла *„нигилистами"*. Нигилистам приписывала она всякие беды и даже знаменитый пожар Апраксина двора (1862). Слово „нигилисты", как известно, было пущено либеральным И. С. Тургеневым в его романе „Отцы и дети", напечатанном в 1862 г. в „Русском Вестнике" Каткова. Это слово было приложено к герою романа Базарову, студенту медику, сыну полкового лекаря, „из кутейников". Дед этого Базарова, по его словам, „землю пахал". Базаров гостит у своего товарища Аркадия Кирсанова на каникулах в именьи его отца П. Кирсанова. Дядюшка Аркадия, большой барич П. П. Кирсанов, расспрашивает племянника о его товарище: что он собственно такое?

— Он—*нигилист.*

— Как?—спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял в воздухе нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.

— Он нигилист,—повторил Аркадий.

— Нигилист,—проговорил Николай Петрович.—Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу судить; стало-быть, это слово означает человека, который... который ничего не признает?

— Скажи, который ничего не уважает,—подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.

— Который ко всему относится с критической точки зрения,—заметил Аркадий.

— А это не все равно?—спросил Павел Петрович.

— Нет, не все равно. *Нигилист, это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уваженьем ни был окружен этот принцип.*

— И что-ж, это хорошо?—перебил Павел Петрович.

— Смотря, как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.

— Вот как! Ну, ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы—люди старого века; мы полагаем, что без принципов... принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить нельзя...

Шестидесятые годы связаны с борьбой разночинцев Базаровых—„детей", с дворянами постепеновцами—Кирсановыми. При этой борьбе со всех сторон сыпались удары на Тургенева, хотя сам он неоднократно признавал, что Базаров это—„торжество демократизма над аристократизмом". Отзвуками этой борьбы были полны сатирические журналы. Н. Г. Чернышевский указывал, что в лице отрицателя Базарова И. С. Тургенев хотел изобразить редакцию „Современника" и в частности Н. А. Добролюбова. Известно, что Тургенев был недоволен статьею молодого критика из семинаристов по поводу его романа „Накануне" („Когда же придет настоящий день") и даже поставил издателю „Современника" поэту Н. А. Некрасову на выбор: „Добролюбов или я!", но певец разночинцев Некрасов выбрал разночинца Добролюбова,—апостола живого дела и беспощадного отрицателя старого строя, а певец лишних людей Тургенев ушел из „Современника", журнала „детей".

„Искра" 1865 года, № 11.

„Искра", иллюстрированный сатирический журнал, выходивший в 60-е годы в Петербурге, талантливо и ярко отразил веяние этой обличительной эпохи и всецело стал на сторону нигилистов-детей против постепеновцев-отцов. Душой журнала был остроумный поэт Вас. Курочкин. Свою „Рапсодию о нигилизме" он написал „высоким штилем" ложно классических поэм, использовав вместе с тем известную былину о новгородском богатыре Ваське Буслаеве и о матери его Мамельфе Тимофеевне. Буслаев—нигилизм, мать его—И. С. Тургенев. Это одна из остроумнейших сатир, и мы приводим ее полностью.

Рапсодии о нигилизме.

Вступление.

Героические времена нигилизма прошли. Вдохновенно призывающий на битву Петр Пустынник—Тургенев, санктифировавший первый поход против нигилистов, папа Урбан—Катков, горячий Бульон Московский—Юркевич с братом своим Балдуином — Лонгиновым, мудрый Роберт — Краевский с племянником своим неустрашимым Танкредом — Громекою принадлежат уже истории. На священных скрижалях оной беспристрастный Галахов изобразит приводящие в ужас сердце кровопролитные войны для поучения воспитанников средних учебных заведений в новом издании своей хрестоматии. Суд истории мудр и нетороплив. Неизгладимые борозды на ее каменистой почве проводятся событиями медленно. Время, в которое войны постепеновцев с нигилистами отразятся в ее ровном зеркале во всей величавой правдивости, еще не определено провидением. Прагматической истории, обыкновенно, предшествует художественный эпос. Бледнея и отступая в смущении перед великостью задачи, я тем не менее берусь быть певцом этой войны, ибо вдохновенные барды наши не берутся: Аполлон Майков— в Неаполе, князь Петр Вяземский—в Киссингене, Афанасий Фет, повесив на стену свою лиру, взялся за плуг увеселения „Времени", играет, как мячиком, глобусом Урании, Всеволод Крестовский шалит с снисходительностью Эрато, а Щербина вымаливает у Полигимнии новых мифов для своего народного читальника, Каллиопа тщетно зовет русских бардов; кроме меня никто не откликается на ее зов. Я делаю, что могу, песни мои суть ничто иное, как рапсодии эпохи нигилизма: Потомству предстоит составить из них величественно поучительный эпос.

Песнь первая.

Происхождение или, лучше сказать, возникновение нигилизма доселе покрыто еще мраком неизвестности. Первое веяние духа нигилизма замечается в Орловской губернии, славной в географии Российской империи, как место рождения И. С. Тургенева, который даже временно проживает в оной губернии, когда на несколько дней покидает Париж, сто вторую родину образованных россиян. Дух нигилизма зоркие Собакевичи и Ноздревы орловские воплотили в Базарове, лекаре, кончившем курс в императорской медико-хирургической академии. Вместе с Базаровым родился дух нигилизма, а когда родился Базаров, еще не исследовано г-ми Геннади и Бартеневым; полагают, что в начале 30-х годов, когда еще издавался „Благонамеренный" Измайлова. Собакевичи и Ноздревы

предполагают присутствие нигилизма в Базарове потому, что он режет лягушек, и у него есть микроскоп. Жак Араго точно так же неприязненно встречен был дикими, потому что обходился посредством носового платка и имел при себе компас. Жака Араго дикие хотели съесть; Базарова Куролесовы хотели отодрать на конюшне. Общее совещание по этому поводу. „Базаров,—говорят Собакевичи,—начинает с лягушек, а кончит нами“. „Он рассматривает в микроскоп всякие гадости во внутренностях лягушек,—говорят Ноздревы,—а потом будет высматривать внутренние гадости наши“. „Надо отодрать его!“—восклицает за ними весь хор. Благовоспитанный Кирсанов в краткой, но сильной речи доказывает, что система подобных наказаний несвоевременна и советует лучше итти жаловаться соседу своему, И. С. Тургеневу. После долгих прений все соглашаются. Из области обыкновенных деревенских сплетен и выдумок герой нигилизма переходит в область так называемого литературно-художественного вымысла. Слово нигилизм все еще не произнесено. Воспоминание об улице Рогатице древнего Новгорода.

Неожиданно, негаданно,
Как зловещий запах ладана,
Предвещающий покойника,
Словно бес из рукомойника,
Появлявшийся пустынникам,—
Перестав бродить по клиникам
И начальству сдав экзамены,
Юный плотью, духом каменный,
Родом подлый, нрава ярого,
Внук кутейника Базарова,
Вдруг в губернию Орловскую
Всю заразу внес бесовскую.
Внес с собою он цинический
Некий запах хирургический,
Весь пропитанный алкоголем,
(Вроде запаха, что Гоголем
Укреплен был за Петрушкою),
И лягушку за лягушкою
Истреблять пошел в селения,
Полон духа разрушения.
Чтоб внутри у каждой гадины
Видеть все бугры и впадины,
Обзавелся микроскопами,
Хороводился с холопами,
А в туземные гостиные,
Спокон века благочинные,
(Точно так же, как столичные),
Внес манеры неприличные
И намеренно враждебные
Разговоры непотребные.
Расходились все окрестные
Курдюки мелкопоместные,
Петухи любвеобильные,
Все Кирсановы жантильные,
Все Багровы многодушные,
Все Расплюевы послушные,
Собакевичи тяжелые
И Ноздревы развеселые.
И, простившись с домочадцами,
Жен оставивши за святцами,
Вышиваньями, вареньями
И Авдеева твореньями,
Кто с арапником, кто с палкою,
Кто вороною, кто галкою,
Рты раскрыв, с глазами странными—
Неподвижно оловянными—
Все с испуганными лицами,
На совет слетались птицами.
И неслось их слово дикое:
„Горе, горе нам великое!
„Ходит тучею огромною

„Гром над кущей нашей скромною,
„Деревенскими пенатами,
„Самоварами, халатами,
„Буколическими нравами
„И господскими забавами.
„Погибает все отечество!
„Где же наше молодечество?
„Мы-ль потерпим посрамление!“
И решили во мгновение
Все от малого до старого —
На конюшне драть Базарова.
Словно вишенка на веточке,
Как картинка на конфеточке,
Посреди толпы неистовой,
Вдруг, в рубашечке батистовой,
В сюртучке сукна атласного,
Цвета трюфельно-колбасного,
И в шотландской легкой шапочке,
На груди скрестивши лапочки,
Встал Кирсанов;—от Кирсанова
Всею лавкою Рузанова,
Всех mille fleurs благоуханием
Пронеслося над собранием—
И собранье это шумное
Слово слышало разумное:
„Укротитесь, други братия!
„Должно взять мероприятия,
„Не веками освященные,
„А гуманно-современные:
„Я приятель с сочинителем—
„Он да будет нам хранителем!
Поднялись тут рассуждения:
—Что такое сочинения?
—И какие там писатели?
—И просить их будет кстати-ли?
—Петухам-де унизительно.
Но Кирсанов так внушительно
Объяснил движенье новое,
Что все общество суровое
С ним к Тургеневу за славою
Устремилось всей оравою.
Так по улице Рогатице
В неописанной сумятице
Чадь Новгорода Великого,
Преисполнясь гнева дикого
На Василия Буслаева,
Чтобы в руки мать взяла его,—
Подвигалась легионами
Ко вдове честной с поклонами.

В. С. Курочкин.

Отцы и дети.

(Параллель).

Уж много лет, без утомленья,
Ведут войну два поколенья—
Кровавую войну.
И в наши дни, в любой газете,
Вступают в бой „отцы и дети“,
Разят друг друга те и эти,
Как прежде, в старину.
Мы проводили, как умели,
Двух поколений параллели,
Сквозь мглу и сквозь туман.
Но разлетелся пар тумана:
Лишь от Тургенева Ивана
Дождались нового романа.
Наш спор решил роман.
И мы воскликнули в задоре:
„Кто устоит в неравном споре?“
„Которое-ж из двух?“
Кто победил? Кто лучших правил?
Кто уважать себя заставил?
Базаров ли, Кирсанов Павел,
Ласкающий наш слух?
В его лицо взгляните строже:
Какая нежность, тонкость кожи:
Как снег, бела рука!
В речах, приемах—такт и мера,
Величье лондонского „сэра“—
Ведь без духов, без нессесера,—

И жизнь ему тяжка.
А что за нравственность! О, боги!
Он перед Феничкой в тревоге,
Как гимназист, дрожит.
За мужика вступаясь в споре,
Он иногда, при всей конторе,
Рисуясь с братом в разговоре
„Du calme! du calme!“ твердит.
Свое воспитывает тело,
Он дело делает без дела,
Пленяя старых дам:
Садится в ванну, спать ложася,
Питает ужас к новой расе,
Как лев на Брюлловской террасе,
Гуляя по утрам.
Вот старой прессы представитель!
Вы с ним Базарова сравните-ль?
Едва-ли, господа!
Героя видно по приметам,
А в нигилисте мрачном этом,
С его лекарствами, ланцетом—
Геройства нет следа.
Он в красоте лишь видит формы,
Готов уснуть при звуках „Нормы“,
Он отрицает и...
Он ест и пьет, как все мы тоже,
С Петром беседует, о боже!
Играть готов итти.
Как циник самый образцовый,
Он стан мадам де-Одинцовой
К своей груди прижал.
И даже—дерзость ведь какая!—
Гостеприимства прав не зная,
Однажды Феню, обнимая,
В саду поцеловал.
Кто-ж вам милей? Старик Кирсанов,
Любитель фесок и кальянов,
Российский Тогенбург?
Иль он—друг черни и базаров,
Переродившийся Инсаров —
Лягушек режущий Базаров,
Неряха и хирург?
Ответ готов—ведь мы недаром
Имеем слабость к русским барам,
Несите-ж им венцы!
И мы, решая все на свете,
Вопросы разрешили эти,
Кто нам милей—отцы иль дети?
Отцы, отцы, отцы!

Песня работников [61]).

(Из Дюпона).

Мы, чьи огни до зари зажигаются,
Только лишь крикнет петух в ночь бессонную;
Чьи истомленные спины сгибаются
Пред наковальней, в огне раскаленною;
Мы, у которых работа гнетущая —
С детства замучила живость природную,
А впереди посулило грядущее
Холод, недуги, да старость голодную.

Братья! Добытый тяжелым трудом
Весь заработок, все наше богатство
Вместе пропьем,
Вместе пропьем за свободу и братство!
Доля работника—чем не счастливая!
В грубых руках его — перлы, да золото;
Он снаряжает все барство спесивое
Силою мышц, да железного молота.

Выходит в поле он рожь золотистую,
По́том его вся земля обливается...
Добрые овцы! Их шкурой волнистою
Сытая праздность везде одевается.
Братцы! дав отдых труду и заботам,
Спины усталые мы разогнем
И дружно копейку, облитую по́том,
Пропьем.

Труд завещал нам тоску безысходную,
Чахлые груди, да слезы горючие;
Словно, как машину, в деле негодную,
Терпят всех нас лишь до первого случая.
Нашей рукой чудеса совершаются,
Словно у пчел — наша участь суровая:
Пчелы снесут только дани медовые
И, бесприютные, вновь разлетаются.
Братья! Добытый тяжелым трудом
Весь заработок, все наше богатство
Вместе пропьем,

Вместе пропьем за свободу и братство!
Дети вельмож, худосочные, бледные
Жен наших грудью здоровой питаются,
Если же вырастут лбы эти медные —
С краской стыда с ними после встречаются.
Нас стерегут всюду—наглость бесчестная,
Брань да пинки от любого привратника;
У дочерей наших — доля известная:
Доля наложниц в хоромах развратника.
Братцы! дав отдых труду и заботам,
Спины усталые мы разогнем
И дружно копейку, облитую по́том,
Пропьем.

В темных подвалах, полуобнаженные,
Где лишь лохмотья нам служат обновами,
Тянем мы жизнь, даже солнца лишенные,
Словно родились ворами иль совами;
Словно в нас кровь не играет кипучая,
Словно туда наше сердце не просится,
Где разрастаются рощи дремучие,
Где благовонное лето проносится.
Братья! Добытый тяжелым трудом
Весь заработок, все наше богатство
Вместе пропьем,

Вместе пропьем за свободу и братство!
Много уж лет наша кровь проливалася
Лишь по шальному капризу тиранами,
Но еще силы довольно осталося
В теле, измученном гнойными ранами.
Будем же силу беречь мы могучую,

Сладкой надеждой пусть сердце
согреется:
Солнце свободы — за черною
тучею,
Ветер подует—и туча рассеется.

Братцы! дав отдых труду и заботам,
Спины усталые мы разогнем
И дружно копейку, облитую
пóтом,
Пропьем.

Вождн свободы [62]).

I.

На соломе лежал он в темнице
сырой...
Сквозь решетку сиял утра луч
золотой
И ходил он узором по мокрой
стене,
Видны вольные птицы и небо
в окне,
Видны в огненном море плывут острова...
И леса и заря и небес синева!
А кругом давят своды темницы
сырой,
Да железо звенит и блестит под
рукой.
Он в темнице сырой неподвижно лежал
И с крестом перед ним черный
инок стоял.
Крест горел серебром на пурпурных лучах...
Горе тайное в мрачных монаха
чертах...

* * *

„Завтра казнь. Топор широкий
„Эту голову отрубит....
„Я покоен! Кто жалеет—
„Будет плакать, если любит...
„Будет злобно издеваться
„Над моим кровавым телом
„Сонм рабов тупых и диких,
„Низких духом, подлых делом...
„За свободу, за свободу,
„Я страдал и бился,
„За свободу богу силы
„Пламенно молился!
„Но растет тупая сила
„На бою упорном,
„И распнет она свободу,
„На кресте позорном.
„И умру я бесполезно,
„Кровь прольется даром...
„Смерть покончит с жизнью
счеты
„Топора ударом!“
Он упал на солому со стоном
глухим...
А монах неподвижно стоял
перед ним,
И глаза его дико сверкали,
И таинственно-тихо кровавым
огнем
Осветили лучи его лик, и на
нем
В свето-тенях бледнея играли...

* * *

—„Нет, брат мой, нет!“ заговорил,
„Нет, кровь людей не льется
даром,
Ты в души искры заронил,
И вспыхнут искры те пожаром...
Ты дело жизни совершил,
И подвиг смерти пред тобою,
В венце терновом в сень могил
Иди с подъятой головою!...
Бесполезной жизни цепи
Я влачил страдая,

Я постился и молился,
Плача и рыдая.
Власяницу и вериги
Я влачил, страдая.
И восстать я мнил духовно,
Тело убивая.
Но творец создал природу,
В красоте и силе,
Мы ли смеем жизнь святую,
Торопить к могиле?
Я смотрел на гнет безмолвно,
Ты-ж за братьев вечно
Исходил в борьбе упорной,
В муке бесконечной..,
Я—мертвец—смотрел бессильно,
Ты и жил и бился!“...
И монах перед страдальцем
Тихо преклонился...

II.

А тиранство тупое сурово
Налагает на волю оковы,
И мученья великого стон
Носит ветер от разных сторон...
Задыхаются люди от злобы—
Кровь, да цепи, да черные гробы!
И волнуется глухо народ,
И на битву свободы идет...

Фантазия.

Шибко по полю мчится дорожный возок,
Под дугой заливается яркий звонок,
И от звона пугается стая ворон,
И далече разносится грохот и звон...
И безмолвно вперяюсь я в тусклую даль,
И чего-то я жду, и чего-то мне жаль,
И все чудится, будто встают мужики,
И острят топоры, и собирают полки,
И огромною ратью идут без бояр,
На Москву да на Питер... А в поле пожар
И гудит, и визжит, озаряя им путь,
„Не белые снеги“ надрывают им грудь.
И поют мужики... Вот и Кремль, и Москва...
И катится одна за другой голова—
Что-то грозное будет...

* * *

Шибко по полю мчится дорожный возок,
Под дугой заливается яркий звонок,
И от звона пугается стая ворон,
И далече, далече проносится звон...
И безмолвно вперяюсь я в тусклую даль,
А на сердце и мщенье, и жаль, и печаль!...
И все чудится: будто-бы цепи звенят—
Но ни вопля, ни слез—лишь проклятья гремят,
„Не белые снеги“ надрывают нам грудь,
И мы в каторжных шубах, и долог наш путь...

А вокруг собралися попы да полки,
И акафисты правят, и точат штыки—
Что-то страшное будет...

* * *

Шибко по полю мчится дорожный возок,
Под дугой заливается яркий звонок,
И от звона пугается стая ворон,
И далече разносится грохот и звон...

Фейерверк.

Я страшный видел сон. Мне снилось, будто где-то,
В каком-то смрадном я вертепе заключен.
Запоры, да замки, ни воздуха, ни света,
И душно было мне. Кругом я слышал стон,
Да свист бичей, да жертв отчаянные крики,
Проклятья, и мольбы, и хохот палачей.
Напевы пьяные каких-то песен диких,
И стук оков, и звук бряцающих цепей.
Обширен был вертеп, людей в нем было много,
И все томилося в потьмах и духоте...
И терлись между них назойливо и строго
Тюремщик да палач. Привычный к темноте,
Их глаз следил за всем, их ухо каждый шопот,
Казалось, слышало, ловило всякий плач...
И—горе бедняку! За жалобу, за ропот
На истязание тащил его палач.
И всем внушали нам, чтоб были мы покорны,
Что бог нам так велел, что нету благ иных,
Что блага прочие мечтательны и вздорны.
Что смирных возведут в тюремщики самих
И право, в свой черед, дадут им безгранично
Губить, и буйствовать, и грабить, и душить,
Что можно красть и лгать, но ловко и прилично,
Что все тому простят, кто мастер доносить.
И узников народ, казалось, примирился
С своею долею; под бременем оков
Несчастный по уши погряз и опустился
В потоки гнусные подавленных рабов:
Невежество, обман, и ложь, и лицемерье,
Мздоимство, подкуп, лесть, наветы и подлог,
И веру для него сменило суеверье,
И стало золото ему единый бог.
Из удушающей атмосферы насилья
Исхода я искал; но заперт был исход,
И стерегло его народное бессилье,

И жалко было мне подавленный народ.
В его падении, в его несчастной доле,
Безвестный всем певец, душою я скорбел,
Поклонник пламенный добра, любви и воли—
Хоть песней узников утешить я хотел
И в памяти поднять забитого народа
Слова, которые давно утратил он.
Сказать, что есть и свет, и право, и свобода;
Напомнить узникам, что сила не закон,
Что быть осмеянным насилием возможно,
Но права признавать насилия не должно;
Что все невольное обманчиво и ложно,
Коварно, пагубно, неправо и темно!...
Мой голос с первых слов шпионы услыхали,
Напали на меня тюремщики толпой,
И подняли бичи, и яму указали,
И рот зажали мне нечистою рукой.

. . . .

Вдруг, что-то странное в вертепе совершилось:
Внезапно ослабел давивший душу гнет,
Громадная тюрьма как будто оживилась,
Вздохнул, задвигался колодников народ...
На час, казалося, замолкли плач и стоны,
Пахнуло воздухом; мелькнул отрадный свет.
Тюремщик был в слезах, в смущении шпионы,
И узники толпой кричали мне: „Рассвет!"
И чей-то голос вдруг, подобно сладкой песне,
Раздался с высоты: „вставай, народ-мертвец!"
„Вставай, униженный! Подавленный, воскресни!
„Конец насилию, цепям твоим конец!"
И мы поверили отрадному обету
(В несчастьи верится так скоро и легко!)
Навстречу бросились мерцающему свету;
Но свет бежал от нас, блистал он далеко...
И это был не он, тот свет животворящий,
Свет вечный, истинный, то был не солнца свет,
А просто фейерверк трескучий и блестящий,
Иллюминация, минутный свет ракет;
В его колеблемом, сверкающем сияньи
Едва успели мы друг друга опознать;
Про наши бедствия, неволю и страданье,
Про наши тяготы взаимно рассказать;
Оно лишь ужасы яснее озарило,
Которые доселе от нас таила тьма!...
Но фейерверк угас, и все опять, как было,
И те-ж тюремщики, шпионы и тюрьма.

Братцы! дружно песню грянем [63]).

На голос:
„Братья! дружно веселую
Грянем песню в добрый час!“

Братцы! дружно песню грянем
Удалую—в добрый час!
В поляков стрелять не станем,
Не враги они для нас!
Только злые командиры
Их приказывают бить,
Чтобы русские мундиры
В этой войне осрамить!...
Брат ли встанет против брата?
А поляки братья нам!
И для честного солдата
Убивать их грех и срам!
Женщин слабых и недужных
Арестуя по церквам,
Убивая безоружных—
Не бывало-ль стыдно нам?...
Нам ли сердце не сжимали
Ихний стон и ихний плач!...
В этой войне—мы устали,
Русский воин—не палач!...
И за что их бить?... За то-ли,
Что они стране своей
Ищут счастья—ищут воли,
И терзаются об ней?...
Русский—русским быть обязан,
Как поляк—поляком быть,
Быть к стране своей привязан
И отечество любить!
Пусть себе—за ослушанье
Нас начальство душит всех,
Лучше вынесть истязанье,
Чем принять на душу грех!—
Нам довольно доказали,
Как самих тиранят нас,
Как Арнгольда—расстреляли,
И Сливицкого зараз!
И Ростковскаго сгубили
Вместе с Щуром, зауряд,
Лишь за то, что все любили—
Всей душой—они солдат!
В память их—мы дружно грянем
Нашу песню—в добрый час:
В поляков стрелять не станем,
Не враги они для нас!...

1863.

Русская кровь льется [64]).

Русская кровь льется
И польская с ней—
Слово раздается:
Не пали, солдат, не робей!
Солдат, ты душу погубишь,
Стреляя невинных людей,
Иначе-же мученик будешь—
Не пали, солдат, не робей!
Русская кровь льется
И польская с ней—
Слово раздается:
Не пали, солдат, не робей!
Мужик иль благородный,
Тайком, иль средь друзей,
Повторяйте все крик народный:
Не пали, солдат, не робей!
Русская кровь льется
И польская с ней—
Слово раздается:
Не пали, солдат, не робей!

М. Н. Муравьеву.

1.

Сто человек никак ты запер
в казематы,
И мало все тебе, все мрачен,
как чума, ты.
Утешься, ведь господь царя
благословил—
Отвел от родины тягчайший из
ударов!
— Эх, братец! чорт ли в том!
Ведь я бы заморил
Сто тысяч в крепости, когда-б
не Комисаров!

2.

Холеру ждали мы, и каждый
был готов
Диэту соблюдать и жить себе
здорово.
Но фурия хитра: надула докто-
ров—
Прислала за себя из Вильны
Муравьева [65]).

В. Курочкин.

Басня.

(Посвящается генералу Чевкину).

Раз до царя животных, Льва,
Дошла, не знаю уж, откуда,
Молва
Про редкие способности Вер-
блюда.
И вот —
В тот самый год,
По высочайшей воле, быстро
Достиг Верблюд до звания
министра.
В восторге земноводный мир,
Что дан им новый командир!
Но от Верблюда
Напрасно ждали чуда,
Он поперек
Большой дороги лег,
И больше уж по ней никто
пройти не мог

На кончину.

императрицы Александры Федоровны.

Умерла императрица...
Что-же вышло из того?
Будет горько плакать Ницца,
А Россия—ничего.

Послания.

1.

Из Петербурга в Москву.

У царя у нашего
Верных слуг довольно
Вот хоть у Тимашева[66]),
Высекут пребольно.
Вменят в наказание,
Так, ударов со сто,
Будешь помнить здание
У Цепного моста.

2.

Из Москвы в Петербург.

У царя у нашего
Все так политично,
Что и без Тимашева
Высекут отлично.
И к чему тут здание
У Цепного моста?
Выйдет приказание—
Отдерут и просто.

Тимашеву.

По воздуху летал Гамбетта
Для внутренних устройства дел.
Была бы лучше штука эта,
Когда-б Тимашев полетел [67]).

У памятника Петра Великого.

Дантон под шапкой Мономаха,
Зверь, гений, труженик, герой
Своей дубинкою сразмаха
Рубил он древней жизни строй.
Своими мощными трудами
В Европе место русским дал
И часто вместе с бородами
Славянам головы срывал.
Того не ведал он заране,
Что наш брат русский жив, здоров,
И допетровские славяне
Живут доныне без голов. [68])

Д. Минаев.

* * *

Вырос город на болоте,
Блеском суетным горя...
Пусть то было по охоте
Самовластного царя,
Но я чту в Петре великом
То, что он—умен и смел—
В своевольи самом диком
Правду высмотреть умел
И казнил родного сына
Оттого, что в нем нашел
Он не доблесть гражданина,
А тупейший произвол!
И я знаю—деспот пьяный,
Пьяных слуг своих собрат,
Был ума служитель рьяный,
И великий демократ [69])

Н. Огарев.

ГЛАВА II.

В народ!

„У нас была юность розовая, мечтательная“—говорил в своей речи Желябов. Такой розовой юностью было движение революционной молодежи в 73—74 г., когда хожденне в народ охватило целый ряд губерний. Массовое движение русской социалистической молодежи в народ с целью пропаганды окончилось весной 1874 г. страшным погромом: около 1000 чел. было арестовано, „немногие уцелевшие пропагандисты *должны были спасаться в городах, ибо и прежде трудное пребывание в деревне сделалось совершенно невозможным в эту минуту,*“ - рассказывает в своей книге: Общество „Земля и Воля“ Серебряков. Исходным пунктом революционного движения в России эти годы было стремление осуществить федерацию общин, пользующихся на коллективных основаниях землею и всеми орудиями труда. „Таково было наше знамя в 73—74 гг.“ — пишет П. Б. Аксельрод. „Оно представляло именно ту крайнюю формулу, до которой дошла революционная мысль на Западе. Полнейшее отречение людей от авторитетов в сфере религии, политики и экономических отношений—таково ее содержание“. С верой в силу правды шли юноши и девушки в народ, убежденные, что крестьянин— „социалист по природе“. В результате этой мирной пропаганды произошли повсеместно аресты и знаменитые процессы 77—78 г.г.:—„Процесс 50“, „Процесс 193“. Вдохновителем и учителем мирных пропагандистов был П. Л. Лавров со своим журналом „Вперед“. В 1876 г. собрались в Петербурге многие из побывавших в народе и после продолжительных, ярых споров основали тайное общество „Земля и Воля“. Это название укрепилось за обществом во второй половине 1878 года. После первых массовых арестов революционные народники

изменяют тактику. От мирной пропаганды они переходят к агитации на почве назревших нужд. „Бунтари“ находились под влиянием М. Бакунина. Слова „Земля и Воля“ были написаны на знамени, поднятом Плехановым на Казанской площади в декабре 1876 г. Это тайное общество явилось крупнейшей народнической организацией до 1879 г., когда, после Липецкого съезда, оно распалось на две группы: Народовольцев-террористов и Чернопередельцев.

Песня о земле и воле.

(На мотив: „Вниз по матушке по Волге“).

Как со матушки, со Волги,
Со широкого раздолья,
Поднялась толпой—народом
Сила русская сплошная.
Да как кликнет громким кличем:
„Добры молодцы, идите,
„Добры молодцы, сбирайтесь
„С Бела моря ледяного,
„Со степного Черноморья!
„По родной великой Руси,
„По Украйне по казацкой.
„Отстоим мы нашу *Землю,*
„Отстоим мы нашу *Волю!*
„Чтоб земля нам да досталась,
„Воля вольная сложилась,
„Барской злобы не пугалась,
„Властью царской не томилась“...

1876 г.

Н. П. Огарев.

Н. П. Огареву*).

Поклон борцу минувших лет
На новый день его рожденья!
Пусть примет дружеский привет
Во имя вечного движенья,
Во имя боя всех веков
За справедливость и свободу,
Во имя всех живых борцов
За благо руского народа.
Мы помним „Колокола“ звон!
Он разбудил от сна Россию;
И вот теперь со всех сторон
Идут на бой борцы иные.
Идут в измученный народ,
Идут в голодные селенья;
Всех русских голос их зовет
В бой за народное спасенье.
Пусть их казнит лакейский суд;
Пусть их измучат палачами;
Пусть ждет их смерть: они несут
В народ свое святое знамя,
То знамя общего труда,
То знамя братства и науки,

*) Это стихотворение взято нами из книги В. Бонч-Бруевича „Избранные произведения русской поэзии“, где оно помещено вместе с другими произведениями П. Лаврова (Апостол, Рождение мессии, Песня юности. Песня ненависти, Вперед, люди братья...). Хотя оно уже было напечатано в указанном сборнике В. Бонч-Бруевича, мы его перепечатываем здесь в виду важности этого революционного документа.

И не опустят никогда
Его израненные руки.
В победу веруют они,
В победу правды и свободы;
Придут, придут святые дни
Восстанут спящие народы,
Пройдет безумие веков,
Пройдут их вечные страданья,
И кровью нынешних борцов
Скрепится будущее зданье.
Тогда, в день светлый торжества,
Людей счастливых поколенья
Сочтут дела, прочтут слова
Борцов за их освобожденье,
Припомнят в прошлом ряд имен
Тех, что за истину страдали,
И грозный „Колокола" звон
Запишут в вечные скрижали.

1876 г.

П. Л. Лавров.

Студент.

(Посвящаю памяти моего друга Сергея Астракова).

Он родился в бедной доле,
Он учился в бедной школе,
Но в живом труде науки
Юных лет он вынес муки,
В жизни стала год от году—
Крепче преданность народу,
Жарче жажда общей воли,
Жажда общей, лучшей доли.

* * *

И гонимый местью царской
И боязнию боярской,
Он пустился на скитанье,
На народное воззванье,
Кликнуть клич по всем крестьянам
От востока до заката:
Собирайтесь дружным станом,
Станьте смело брат за брата,
Отстоять всему народу
Свою землю и свободу.

* * *

Жизнь он кончил в этом мире—
В снежных каторгах Сибири,
Но до тла не лицемерен—
Он борьбе остался верен
До последнего дыханья
Говорил среди изгнанья:
Отстоять всему народу
Свою землю и свободу. [70])

Н. Огарев.

Колыбельная песня.

Спи, малютка, спи, мой милый,
Баюшки-баю!
Набирай здоровья, силу
Укрепляй свою!
Много силы будет надо
Для тебя в бою...
Спи-ж пока, моя отрада,
Баюшки-баю!
Мы давно одни с тобою—
Умер твой отец!
Молодец он был собою,
Честный был боец!
Был в нем крепок дух свободный,

Было много сил,
Да вдали, в стране холодной,
Кости он сложил!
Я его не покидала,
С ним в Сибирь пошла,
В час невзгоды утешала,
Тот же крест несла.
Помню, как тебя, бывало,
На руки он брал,
На лице любовь сияла,
Цепи забывал.
На тебя глядит, смеется,—
„Весь в отца пойдет!“
Мое сердце вдруг сожмется,
И слеза блеснет.
А тебе и горя мало...
Цепью зазвенишь
И так весело, бывало,
На отца глядишь!...
Бодр он был, не опускался,
Да здоровьем плох...
Год до срока оставался...
Но дожить не мог!
Спи теперь ты безмятежно,
Будешь подрастать,
Надо будет неизбежно
В жизни путь избрать.
Кто пойдет одним, тот будет
Силен и богат,
Скоро в роскоши забудет,
Как страдает брат...
Нет, не им пойдешь ты, милый!
Знаю я, что нет...
Не на то тебя родила
Я на божий свет...
Есть другой путь: чудных много
Он минут дает,
Но трудна по нем дорога
И в рудник сведет...
Неизбежно это, знаю!
Но ведь мать и я...
Стану думать... и рыдаю,
Глядя на тебя...
Знаю, знаю, сердце чутко!
Много слез пролью.
Спи-ж покуда, мой малютка,
Баюшки-баю [71])!

---

* * *

Смолкли честные, доблестно павшие;
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие;
Но разнузданы страсти жестокие!
Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная!
Все живое, все честное косится...
Только слышно, о ночь беспросветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются...
Как на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются!.. [72])

Н. А. Некрасов.

1877.

К судьям.

Мой тяжкий грех, мой умысел
злодейский
Суди, судья, но проще, но скорей!
Без мишуры, без маски фарисейской,
Без защитительных речей...
Крестьянские вериги вместо
платья
Одев и сняв „преступно“ башмаки,
Я шла туда, где стонут наши
братья,
Где вечный труд и бедняки.
Застигнута на месте преступленья,
С поличным я на суд приведена.
Зачем же тут „свидетели“ и
„пренья“?
Ведь я кругом уличена?!
Оставь, судья, ненужные вопросы!
Взгляни — я вся в уликах: на
плечах—
Мужицкая одежда, ноги босы,
Мозоли видны на руках.
Тяжелою работой я разбита...
Но знаешь ли — в душе моей,
на дне,
Тягчайшая из всех улик сокрыта:
Любовь к родимой стороне.
Но знай и то, что, как я ни
преступна,
Ты надо мной бессилен, мой
судья!
Нет! Я суровой каре недоступна,
И победишь не ты, а я.
„Пожизненно“ меня ты покараешь,
Но мой недуг уж подписал протест...
И мне грозит—сам видишь ты
и знаешь—
Лишь кратковременный арест.
А я умру все с тою же любовью...
И, уронив тюремные ключи,
С молитвою приникнут к изголовью
И зарыдают палачи... [73])

Боровиковский.

1877.

* * *

Что мне она—не жена, не любовница
И не родная мне дочь,
Так отчего-ж ее доля проклятая
Ходит за мной день и ночь?
Словно зовет меня, в зле неповинного,
В суд отвечать за нее,
Словно страданьем ее заколдовано
Бедное сердце мое.
Вот и теперь мне как будто
мерещится:
Жесткая койка тюрьмы,
Двери с засовами, окна под
сводами,
Мертвая тишь полутьмы;
Из полутьмы этой смотрят два
знойные
Глаза, без мысли и слез.
Не шевелятся ни губы, ни смятые
Космы тяжелых волос.
Не шевелятся ни локоть, ни
тощие
Руки на тощей груди,
Слабо прижатые к сердцу без
трепета

И без надежд впереди.
Сколько лет ей? Семнадцать, неужели?
Правда ли—мне говорят—
Что эта девушка, в счастьи не жившая,
Что ей не верят и мстят?
Мстят ей за бедность ее без смирения,
Мстят за свободу речей,
Мстят ей за страстный порыв нетерпения,
Мстят за любовь без цепей.
Может ли быть? Мне как будто не верится,
Что так тяжел приговор.
Свет, в котором кишат лицемерные
Плут и развратник иль вор.
Скоро ли-ж будет бедняжка оправдана,
Снова любить и желать?
Или уж скоро ли в саване вынесут
Тело ее отпевать?
О, что нибудь! Или жизни придавленной
Дайте вздохнуть и расцвесть,
Иль до суда поспешите добить ее,
Чтоб утолить вашу месть [74])!..

Я. Полонский.

Ольге Любатович.

Песнь надежды, песнь свободы,
Песню чудную свою
Пела ты в былые годы,
Угадавши грусть мою.
Эта песнь в меня вдохнула
Жажду к подвигам святым,
На добро меня толкнула
Сердцем пылким, молодым.
Там, где гнет, где стон народный,
Доля скорбная, нужда,
Ты на подвиг благородный
Бескорыстно шла туда.
И за преданность народу,
За любовь к стране родной
Суд убил твою свободу,
Наградивши злой тюрьмой...
Ты страдаешь за свободу,
Так утешься: подвиг твой
Будет памятен народу,
Как иконы лик святой [75]).

Е. Н.

Петру Алексееву.

Осужден Особым Присутствием Сената на 10 лет каторжных работ.

„Барству да маклачеству
Неужели потворствовать?“
Не хотелось молодцу
Кланяться, холопствовать,
Не взлюбило пылкое
Сердце непокорное
Путь-дорожку битую,
Путь дорожку торную...
Правду неподкупную,
Божий свет увидела
Голова удалая—
И возненавидела
Долю подневольную,
Долюшку забитую,
Злобу окаянную,
Злобу ядовитую.

Вызвать в бой осмелилась
Гордо, без смущения
Царскую опричнину —
Силу угнетения.
Эх, и озлобились же
Подлостью богатые
Палачи народные,
Палачи проклятые!
Каменное, жесткое
Сердце их гранитное
Ядом переполнилось,
Местью ненасытною.
Говорят удалому
Речи ненавистные:
„За свободомыслие,
Чувства бескорыстные,
Да за жизнь рабочую,
Трудную да серую,
Получи наградушку
Нашу полной мерою:
Ты слюбился с волюшкой,
Что с душой-девицею,
Так спознайся, молодец,
С душною темницею!
Не взлюбил ты горюшко,
Жизнь раба бездольную,
Так уж выпей, молодец,
Горя чашу полную.
Чтобы гребню частому
Не было заботушки,
Этой непоклончивой
Сбреем пол-головушки!
В звании кандальщика
Битого, голодного,
Ройся в адской темени
Рудника холодного:
Знай, землицу-матушку
Заступом покапывай,
Песни пой о волюшке,
Да цепьми побрякивай!
Думал ты: для родины
Цепи рабства пагубны,—
Так добудь железца нам,
Нам на цепи надобно!
А уж цепи выкуем
Так на славу—тонкие,
Хоть тяжеловатые,
Да, как гусли, звонкие“.
Голова удалая
Все-ж не поклонилася,
Сердце молодецкое
Все-ж не покорилося:
„Что-ж! Закуйте в цепь меня
И обрейте голову,
Но не сброшу с плеч своих
Я креста тяжелого;
Не бегу страдания,—
Сила в нем великая,—
Перед ним рассеется
Ваша злоба дикая;
На него помолится
Весь народ задавленный,
Славой увенчается
Вами обесславленный“.

Вербовчанин.

Речь прокурора Желиховского в „Процессе 193“.

Я скажу вам предварительно,
Что защитники губительно
На преступников воздействуют,
Преступленьям их содействуют:
Раздувают страсти бурные
И, внушая им мишурные
Пожеланья конституции,
Просто сеют революции!
Обратили заседания
В парламентские собрания!
Что мы видим? Агитацию,
Дерзость, буйство, протестацию,
Суд поносят подсудимые,
Из него же выводимые
Чуть не поднимают крик:
„Vive la république“ *)
В этом лишь одни виновны

*) Да здравствует республика!

Адвокаты поголовно!
В их вполне непозволительном
Поведеньи отвратительном
Представитель обвинения
Не находит снисхождения.
То со злобой худо скрытою,
То с насмешкой ядовитою,
Попирая все приличия,
В грязь топча суда величие,
Отвечают обвинителю,
Мне, „закона охранителю"!
Обратив суда внимание
На такое поругание
Обвиненья и суда,
Приступаю, господа,
Относясь к суду почтительно,
Прямо к речи обвинительной.

(Указывая на скамью подсудимых)

Вот мы видим представителей—
Государства разрушителей!
Сброд воришек и грабителей,
Огорчающих родителей.
Бросив в школах обучение,
Все они, без исключения,
Зарядив себя идеями,
Порожденными злодеями,
С криком: „в бой, друзья, с рутиною",
Русь, как сетью паутинною,
Разорвав с семьей и обществом,
Всю опутали сообществом.
Занимаясь агитацией,
Прибегали к конспирации.
Местожительство скрывали,
Членам клички надавали:
Так, Надежду звали Надькою,
Катерину звали Катькою,
Васькой назвали Василия...
Но напрасны их усилия!
Правда, лишь по ихней милости,
И по их же крайней лживости,
Правды-истины скрывательства,
У меня нет доказательства,
Что сообщество реальное,
А не только идеальное,
По империи разлилося,
На скамье здесь очутилося...
Но известно, господа,
Представителя суда
Очень чуток нюх собачий,
Несомненнее, тем паче,
Чуткость сердца прокурора.
Эта истина—вне спора!
Я на этом основании
Говорю без колебания,
Как мне сердце говорит,
Как сказать оно велит,
Что путем теснейших уз
Связан подлый их союз.
Раздувая страсти дикие,
Отрицая брак, религию,
Власть, имущество, монархию,
Проповедуя анархию,
Воровски прикрывшись маскою
Под одеждою крестьянскою,
Ложь, обман пуская в ход,
Пробрались они в народ!
Я не знаю, что-б случилось,
Сколько крови бы пролилось,
Если-б мужики к начальникам,
К становым своим, к исправникам
И к ближайшей властной братии
Не питали бы симпатии!
Но, спокойно выжидающий,
Слово власти уважающий,
Не без доброго последствия
Перенес народ все бедствия.
И, христу благодарение,
В мужике—наше спасение!
Так, служа Руси основою,
Дорожа свободой новою,
Без обычной своей лености,
Полн сыновней откровенности,
Веры в власть и упования,
О мятежных злодеяниях
Представлял он донесения
В волостные управления.

(С восторгом)

Вот высоко благородная,
Вот черта вполне народная!!!

И в виду такого качества
Революция—ребячество!
Я прибавлю положительно:
Если-б суд да исключительно
Доверял вполне свидетелю
Лишь с такою добродетелью—
Вообще и ныне, в частности,—
Русь была бы вне опасноити.

(С грустью).

Жаль, такие все свидетели
Крест несут за добродетели,
Как помыслю, как стараются
Их унизить!...
Люди злые, непокорные,
Клеветой грязнят их черною
И, ругаясь над законами,
Именуют их—шпионами

(Убедительно).

Не шпионы-с, доносители!
Государства охранители!

(Махнув рукой).

Впрочем, все их ухищрения,
Все их злобные учения,
Все дела сих развратителей
Не опасны для правителей!
И не стоило-б внимания
Обращать на их деяния,
Но они закон попрали,
Даже суд ваш оплевали,
Наученные коварною
И к властям неблагодарною
Адвокатскою оравою —
Этой гидрой многоглавою.
Вы терпели слишком долго.
Посему, во имя долга,
За закона поругания
Я взываю к мщенью, мщенью,
Сообразно Уложенью!
А за порчу добрых нравов
Их по божескому праву
В ад кромешный упекут.

(Грозясь).

Там возмездие найдут,
В этом Третьем Отделеньи
Мирового управленья!

(Разгорячась).

Люцифер с своей командой
Разочтется с этой бандой—
Жилы вытянет из них,
Кожу с них сдерет с живых,
Будет драть их оголенных,
Да на плитах раскаленных,
Среди смрадной духоты,
Будет их варить и жарить,
Да из серной кислоты
Будет им клистиры ставить.
И клянусь, я сам не прочь
Люциферу в том помочь! [76]).

У гроба.

(Посвящается поразившему Мезенцева).

Как удар громовой, всенародная казнь
Над безумным злодеем свершилась.
То одна из ступеней от трона царя
С грозным треском долой отвалилась.
Бессердечный палач успокоен на век,
Не откроются грозные очи...
И трепещет у пышного гроба его
В изумлении деспот Полночи.
Мрачен царь. Думу крепкую думает он:
„Кто осмелился стать судиею
Над тобою, над верным слугою моим,

Над любимцем, возвышенным
мною?
Не злодей-ли без правды и бога
в душе?
Не завистник-ли подлый, лукавый?
Или враг потайной, или недруг
лихой,
Преисполненный местью кровавой?“
Все молчит. Нет ответа. Кругом
тишина.
Лишь псаломщик кафизмы читает,
Да светильня дрожит... И вторично судьбу
Самодержец - монарх вопрошает...
Вот упала свеча и потухла, дымясь,
Вслед за нею потухли другие;
Мрак густой опустился на бархатный гроб,
На покровы его дорогие.
Царь стоит и не верит смущенным очам...
Как на глас неземного веленья,
Поднялись и проносятся мимо
него
Рой за роем живые виденья
Измождены, избиты, в тяжелых
цепях,
Кто с простреленной грудью,
кто связан,
Кто в зияющих ранах на вспухшей спине,
Будто только что плетью наказан,
Тут и лапоть крестьянский, и
черный сюртук,
Женский локон, солдатик в мундире,
И с веревкой на шее удавленный труп,
И поэт, заморенный в Сибири...
Словно духи на страшную тризну сошлись
В час условный ночного свиданья,
Подлетели и, ставши кругом
мертвеца,
Затянули ему отпеванье.

Отпевание.

„Жизнью распутною всхоленный,
Нашею кровию воспоенный,
Жалости в сердце не ведавший,
Пытки и казнь проповедавший,
Шедших дорогой тернистою
Мявший стопою нечистою
В страшной неравной борьбе,—
Вечная память тебе!
Память позорная—
Мысли гонителю!
Память укорная—
Злому мучителю!
Непоправимая
Неизгладимая,
Бесчеловечная,
Вечная, вечная
Память тебе!“
Застучали оковы на тощих ногах,
В расшивной катафалк ударяясь,
И с проклятием громким они
понеслись,
Черной кровью из ран обливаясь...
Но виденье одно, долетев до
царя,
Перед ним неподвижное стало
И, взглянув на него, с молодого
чела
Гробовое сняло покрывало.
Бледный лик его гневным укором сверкал,
Страстный вызов во взоре светился:
„Царь! Ты ведать хотел, кто
любимца убил,
Кто на подвиг кровавый решился?

Не злодей, не завистник, не недруг лихой,—
Не свои вымещал он обиды:
То посланник смиренный, послушный боец
Всенародной святой Немезиды!
Не опричника злого он смерти искал.
Что опричник? Их много найдется...
Царь, ты совесть спроси, — и правдивый ответ,
Может быть, в ее недрах проснется.
За тебя изведен твой послушный холоп,
Исполнитель кровавых велений.
Ты—убийца его, погляди и казнись:
Это—жертва твоих преступлений!
Царь, вспоенный коварною лестью рабов,
Бог земной, лишь себя обожавший,
Властелин, беспощадной железной рукой
Свой народ неповинный сковавший!
Ненавистник свободы и правды святой,
Нарождавшейся правды губитель!...
Сладострастный, холодный, жестокий старик,
Наших сил молодых развратитель!
Окруженный плеядой дворцовых светил,
В облаках покупных фимиамов,—
Не расслышал ты вопля родимой земли
За напевом придворных баянов.
Ты не ведал, не знал за обильным столом,
Как в нужде умирает голодный;
Двадцать лет, как блудница, с друзьями мотал
Ты последний достаток народный.
А повсюду-то голод, и холод, и мор...
Обездоленный грабит, ворует,
Свищут розги в поганых руках становых,
А избитый те руки целует...
Там, где Плевна, дымится огромный курган...
В нем останки еще не догнили:
Чтоб уважить царя, в именины его
Много тысяч своих положили.
Именинный пирог из начинки людской
Брат подносит державному брату,
А на родине ветер холодный шумит
И разносит солдатскую хату.
Подойди и взгляни: убивается мать—
В каземате сгноил ее сына
Ты за то, что в пигмее-тебе он не мог
Мирового признать властелина.
Из родимого дома его увезли
И в гранитный мешок посадили,
И на годы, на долгие годы в тюрьме,
Как ненужную ветошь, забыли...
Вот рыдают младенцы, рыдает вдова,
Схоронивши колодника-мужа;
Вторят им невпопад, завывая, метель
И Сибири трескучая стужа,
Да товарищ унылый стоит в кандалах,
Над могильным холмом вспоминая,
Как завяла во цвете загубленных сил
Бескорыстная жизнь молодая.

Там... невеста в слезах... Расстреляли вчера
Жениха, объявившего смело,
Что не сдастся злодеям, пришедшим его
Оторвать от великого дела.
Стонут Польша, казаки, забитый еврей,
Стонет пахарь наш многострадальный,
Истомился в далекой Якутской тайге
Яркий светоч науки опальный...*)
Всюду ходит беда: по селам, городам,
Во дворы, в конуры заползая,
Волком бешеным по миру рыщет она,
Воронье на поминки сзывая...
Стон и вопли страдальцев до самых небес
Горемычной росой поднялися
И вселенскою тучей над царской главой
С целой русской земли собралися;
И висит эта туча и будто бы ждет,
Словно крылья орел расправляет...
Но ударит тот час — грозовая стрела,
Как архангела меч, засверкает.
Каждый стон, каждый вздох, пролитая слеза
В огнедышащих змей обратятся
И в давно зачерствелое сердце твое
Миллионами зубьев вонзятся".

...Все исчезло во тьме,
И умолкли правдивые речи...
Встрепенулся псаломщик, опять зачитал,
Восковые затеплились свечи.
Все, как прежде: — и гроб, и покрытый налой,
Зеркала обвиты простынями,
И холодный, суровый в мундире мертвец,
И покров с золотыми кистями[77])

А. А. Ольхин.

4-е августа 1878 г.

(Памяти С. М. Степняка-Кравчинского)

„Скажи-ка, мама, как же, право,
Почти на Невском, где орава
Блюстителей во всех видах,
ОН мог свершить такое чудо?
Ведь все на ниточке висело!
Нет, это что-то слишком смело.
Ведь, все же есть невольный страх!
Был факт, без всякого сомненья,
Но сила—сила дерзновенья,
Как в сказке старой, велика!
Итти так смело в бездну прямо—
Могильная зияла яма—
Одно безумство это, мама,
А не геройство смельчака!"
— Безумье?. Нет... Но знаешь, милый,
Такую мощь, такие силы
Нельзя своими измерять,
А по плечу, мой друг, и бремя...
„Да, были люди в наше время—
Могучее, лихое племя!"—
Могу, как Лермонтов, сказать.
Я помню, солнышко сияло,
Столице утро обещало
Чудесный день на этот раз.
И, правда, вышел день *ЧУДЕСНЫЙ*:

---

*) Имеется в виду Н. Г. Чернышевский.

В игре убит был туз известный!..
Услышал, видно, царь небесный
В пустыне вопиющих глас!
Спешил на службу люд чиновный,
И к церкви попик полнокровный
Тащился легкою рысцой,
Блестя хламидою лиловой,
А там, в тени, вблизи Садовой,
Стоял рысак и бил подковой
По камням звонкой мостовой.
И вот, к часовенке влекомый,
Идя дорогою знакомой,
Шеф „синей своры“—генерал,
Удав, по выбору цареву,
Стал приближаться к Кучкурову,
Который здесь, замечу к слову,
Товаром сладким торговал.
— „Ага! к часовенке старинной—
Шел, значит, генерал с повинной
С тоскою в сердце и в слезах“.
— О нет! Любя одни обряды,
Как и церковные парады,
Размеров разных Торквемады
Когда же каялись в грехах?
А *ОН*, завидя генерала,
Навстречу двинулся... Сжимала
Его железная рука
Надежный нож, в кармане бывший..
Удар! Удар, врага сразивший!
Беги, дракона победивший—
Надежда вся на рысака!
Скорей, туда, туда, к Садовой,
Где в нетерпеньи бьет подковой
Пособник этот вороной!
ОН добежал, вздохнул глубоко,—
И конь почти в мгновенье ока
Унес, унес его далеко —
Простыл и след на мостовой;
Свершая подвиг смело, ловко,
ОН знал: казенная веревка
Над головой его была...
— „Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя!“
И велико их было бремя,
И слава им венки сплела.
Давно, давно все это было...
Ах, чем когда-то сердце жило,
Тем все еще оно живет,
Живет, растравливая раны;
Опять сгущаются туманы.
Сошли со сцены великаны,
Но верю; рать других — грядет!“ *).

1898 г.

В. Р. Щиглев.

Казнь революционера.

(Неизвестного автора).

Ах, ты, поле мое, поле чистое,
Ты раздолье мое молодецкое!
Всем ты, поле мое, разукрашено,
Лишь одним поле опозорено:
На том поле погост,
На погосте помост,
Гладко тесаный, кровью крашеный.

*) Хотя это стихотворение написано в 1898 г., но оно тесно связано с событием, и потому печатаем его здесь.

Впереди стоит поп, позади — черный гроб
Для мятежника, для колодника.
Где-ж мятежник? А вот!
Он на плаху идет
Гордой поступью молодецкою...
Он поклон отдает на все стороны:
„Ты прости, мой народ, не сумел послужить!
Не помог я тебе в твоей лютой беде,
И за то отдаю тебе жизнь я свою
Так казните-ж меня!“...
Тут на плаху он лег,
Опустился топор, и погиб молодец,
И пролил тот топор кровь горячую,
Кровь горячую, неповинную...
И палач кудри взял
И толпе показал
Ту головушку, уж отрубленную.
Вдруг в толпе прошептал:
„Валерьян, Валерьян!“—
Кто-то плачущий, умирающий [78]).

ГЛАВА III.

Народовольцы [79]).

Народовольческий гимн.

Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать вы спасайте,
Честь и свободу свою!
Если ж погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых!
Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в рудники нас ссылают,
Пусть мы все казни пройдем!..
Если-ж погибнуть придется...
и т. д.

Стонет и тяжко страдает
Бедный наш русский народ,
Руки он к нам простирает,
Нас он на помощь зовет.
Если-ж погибнуть придется..
и т. д.
Час обновленья настанет.
Воли добьется народ,
Добрым нас словом помянет,
К нам на могилу придет.
Если-ж погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых!..

Недоразумение.

(Разговор рабочего с фабрикантом).

— С чем, брат, предъявился?
Приплелся зачем?
Думал, что простился
Я с тобой на век!
— Руку оторвало, —
Чай, помочь, не грех?
Работал немало
Для твоих утех!

— Малый ты не старый,
Чтоб с сумой ходить,
Мне же не пристало
Даром вас кормить!
— На твоем заводе
Я ведь рук лишен,
Чай при всем народе!..
— Ты, брат, мне смешон!

Ты ведь был свободен,
Кто тянул тебя!
Сам пришел, был годен,
Ну и принял я!
Руку оторвало—
Стал негож теперь?..

Ну вот образ, малый,
Ну вот это—дверь!
У тебя—землица,
Есть чем, значит, жить,
Есть чем прокормиться —
Стыдно зря просить [80]).

Песнь гражданки.

(Посвящается женам, не просящим помилования своим мужьям).

Если-б мой дорогой, что по злобе людской
Дни свои коротает в неволе,
Мне сказал: „поскорей приходи и своей
Поменяйся со мной вольной долей!“—
Я-б сказала ему: Мой желанный, пойду
Я в огонь, если хочешь, и в воду,
Бесконечно любя, я отдать за тебя
Хоть сейчас же готова свободу.
И скажи милый мой: „Мало воли одной,
Палачам головы еще надо,“ —
Я и жизнь им отдам, был бы счастлив он сам,
Умереть за него—мне отрада.
Но скажи он: „Поди, пред тираном пади,
Со слезами, с мольбой, в униженьи
О пощаде моли и отрадой земли
Назови все его преступленья;
Ото всех дорогих убеждений своих,
От святого к свободе стремленья
Перед ним отрекись и служить поклянись,
Лишь бы мне даровал он прощенье.“—
Я-б сказала в ответ: „Никогда! Нет, о, нет!
Лучше смерть, лучше холод могилы!
И отныне, ты знай: ждет тебя ад или рай—
Все равно, ты мне больше не милый!“

„Нар. Воля“ № 3—1880 г.

После казни 4 ноября.

И опять палачи!.. Сердца крик, замолчи!..
Снова в петлях качаются трупы...
На мученье борцов, наших лучших сынов,
Смотрят массы, безжизненно тупы.

Нет! Покончить пора. Ведь не ждать нам добра
От царя с его сворой до века,
И приходится вновь биться с шайкой врагов
За свободу, права человека...
Я топор наточу, я себя приучу
Управляться тяжелым орудьем,

В сердце жалость убью, чтобы
руку свою
Сделать страшной бесчувственным судьям.
Не прощать никого, не щадить
ничего!
Смерть за смерть! Кровь за
кровь! Месть за казни!
И чего-ж ждать теперь? Если
царь дикий зверь,
Затравим мы его без боязни!..
Братья, труден наш путь! Надрывается грудь
В этой битве с бездушною силой.
Но сомнения прочь! Ведь не
все-ж будет ночь,
Свет блеснет, хоть над нашей
могилой.
И, покончив борьбу, вспомнив
нашу судьбу,
Обвинять нас потомки не станут—
И в свободной стране оправдают вполне,
Добрым словом погибших помянут [81]).

Голуби.

Голуби по двору ходят-воркуют
Сизой артелью своей.
Все подозрительно как-то толкуют,
Быстро летят от людей.
Часто гурьбою громадной слетаются
Мирно ко мне под окно.
Целой коммуною дружно питаются,
Делят по-братски зерно.
Видно влиянье идей растлевающих
В бедной семье голубей—
Мыслей, основы основ подрывающих,
Социализма идей.
Где у них личность от злых
укрывающий
Мудрой полиции глаз?
Где у них кормчий, их жизнь
направляющий—
Этот порядка компас?
Здесь анархизма пример замечается,
Страшный пример для людей!
Браки—свободны! Никто не венчается,
Нет ни попов, ни церквей.
Голуби сизые, пташечки бедные,
Развращены вы совсем!
Кем же идеи-то эти зловредные
К вам прививаются? Кем?
Скажут — природой... Для благ
человечества?
Выскажу мненье свое:
Если природа опасна правительству,
Выслать подальше ее [82]).

Н. А. Саблин.

На смерть Судейкина [83]).

На травле яростной, усердствуя
безмерно,
Народному врагу ищейкой ты
служил!
Безумным палачам во всем помощник верный,
В крови по пояс ты бродил
Всегда на всякое готовый преступленье,
С свободой, с истиной ты вел
упорный бой,

Ты женщин и детей душил без
сожаленья
Своей кровавою рукой.
Могучий наглостью, коварством,
ложью гнусной,
Ты силу и обман пускал с успе-
хом в ход...
В бесславном поприще выка-
зывал искусно
Ты лисий хвост и волчий рот.
И души слабые ты обольщал
лукаво,
Отторгнув силой их из друже-
ской среды...
Ты воздух наполнял невидимой
отравой
Измены, злобы и вражды.
И строил с ревностью, достой-
ной лучшей доли,
Подмостки новые и трону и себе
Из жертв, загубленных на плахе
и в неволе,
Погибших в роковой борьбе...
Но грозный приговор народной
правой мести
Над головой твоей внезапно
прозвучал,
И поразил тебя, как молния, на
месте...
Холодным трупом ты упал.
И над безжизненным, покрытым
кровью прахом
В оцепенении твой властелин
стоит.
Мрачна его душа, терзаемая
страхом,
И злобой взгляд его горит.

Иди же в глубь земли, опричник
злобный, лютый,
Позорный палача позорного хо-
лоп,
И пусть напутствуют в послед-
нюю минуту
Тебя проклятья в мрачный гроб.
Одно является невольно сожа-
ленье:
Ошиблась здесь судьба десни-
цей роковой —
Ты предназначен был веревкой,
без сомненья,
Закончить путь бесславный свой.
И только потому петля тебя
лишилась,
И свел последний счет с тобой
тяжелый лом,
Что смертью праведных веревка
освятилась,
Как освятился крест Христом.
А вы, убитого сотрудники жи-
вые,
Пускай покинут вас спокойствие
и сон!
Рука могучая разит уж не впер-
вые,
И не последний будет он!
Пусть гибель вашего достойного
собрата
Предупреждением послужит и
для вас,
Что если для него — сегодня
день расплаты,
То завтра — ваш настанет час [84])

Михайлов.

Песня о Громове-генерале.

(Поэма из времен покойной памяти III отделения).

I.

Уж как в Третьем Отделеньи,
В самом скрытом помещеньи,
Храбрый Громов-генерал
Всех филеров собирал.
Ой-ой! Ох-охо!
Всех филеров собирал.
Для прочистки ихней глотки
Подносил по рюмке водки,

По полтиннику дарил,
— „Эй, ребята,“—говорил,
Ай-ай! Ай-люли!
„Эй, ребята!“—говорил.
— „Подозрительные лица
Появилися в столице,
И бунтуют, и мутят,
И республики хотят.
Ой-ой! Ох-охо!
И республики хотят.
Уж вы, братцы-командиры,
Обыщите все квартиры.
Мной на то дана вам власть:
Знай тащи, ребята, в часть.
Если где сопротивленье,
Бей с плеча без рассужденья—
Сам, мол, Громов-генерал
Отвечает за скандал.
Ой-ой! Ох-охо!
Отвечает за скандал“.
Но, исполнены печали,
Все филеры отвечали:
— „Ах, отец ты из отцов,
Предводитель удальцов.
Ай-ай! Ай-люли!
Предводитель удальцов.
Показали бы примеры
Мы усердия да веры,
Но сумнительно, вишь, тут,
Вдруг, самих-то нас побьют.
Ой-ой! Ох-охо!
Вдруг самих-то нас побьют“.
На такое заявленье
Молвил Громов без смущенья:
— „Стой, ребята! Не страшись!
Вот перцовка! Подкрепись!
Ай-ай! Ай-люли!
Вот перцовка, подкрепись.
Дам на каждого две роты
Вам жандармов и пехоты,
Казаков прибавлю взвод,
Знай толкай их наперед.
Ой-ой! Ох-охо!
Знай толкай их наперед.
Всем отрядом душ хоть в триста
Двиньтесь вы на сицилиста,
Навалитесь на него,
И не пикнет ничего“.
Ай-ай! Ай люли!
И не пикнет ничего.
Тут филеры ободрились,
Храбро к рюмкам приложились,
Разом крикнули: „Ура!
Показать себя пора!“
Ой-ой! Ох-охо!
Показать себя пора.

II.

Вот пошли по всей столице
Агентуры вереницы,
Хочет доблестная рать
Все карманы обыскать.
Ой-ой! Ох-охо!
Все карманы обыскать.
Всю столицу обыскали,
Сицилиста не сыскали,
Все предместья обошли,
Сицилиста не нашли.
Ай-ай! Ай-люли!
Сицилиста не нашли.
У старьевщика Микишки
Отыскали лишь пол-книжки:
Завалились в хламе зря
Три листка календаря.
Ой-ой! Ох-охо!
Три листка календаря.
— „Эфта книжка признак верный
Сицилизмы самой скверной.
Взять Микишку! Тотчас взять!
Позабудет, как читать.
Ай-ай! Ай-люли!
Позабудет, как читать.
В этой книжке все нелепость,
И за то пойдет он в крепость.
Там он, скверный сицилист,
Отсидит за каждый лист“.
Ой-ой! Ох-охо!
Отсидит за каждый лист“.
У студента под камином
Взяли банку с вазелином,
И решил тут весь синклит:

— „Эфто, значит, динамит.
Ай-ай! Ай-люли!
Эфто, значит, динамит“.
Но прошло одно мгновенье,
Охватило всех волненье,
Крикнул кто-то: „Братцы, стой,
Не замай его рукой“.
Ой-ой! Ох-охо!
Не замай его рукой.
„Братцы! Здесь нам взятки
гладки,
Знай, беги во все лопатки,
Эфтот самый динамит,
Ведь, без пороху палит“.
Ой-ой! Ох-охо!
Ведь, без пороху палит.
И филеры с перепуга
Повскакали друг на друга,
Стадом бросилась вся рать
Во свояси удирать.
Ай-ай! Ай-люли!
Во свояси удирать.

Карийская песнь, приписываемая Минакову.

Прости, несчастный мой народ!
Простите, добрые друзья!
Мой час настал, палач уж ждет,
Уже колышется петля!
И если прежде не вполне
Тебе на пользу я служил,
Прости, народ, теперь ты мне!
Тебя я искренно любил!
Прости... прости... петля уж жмет,
В глазах темно... холонит кровь.
Ура! Да здравствует народ.
Свобода, разум и любовь! [85]).

Неизвестного автора.

Кровавые реки, веревки и плаха,
Проклятье, отчаянье, стон...
Как много в бою вас погибло
без страха,
О, братьев святой легион!
Душил без пощады вас враг
разъяренный,
На каторге, в ссылке, в тюрьме,
Губили вас муки души утомлен-
ной
Бороться с неправдой во тьме.
И призраки братьев, погибших
печально
Далеко от кровли родной,
Без слез, без объятий, без ласки
прощальной
Бессменно стоят предо мной.
Ужасен их саван, запачканный
кровью,
Сверкает их огненный взор,
И жадное сердце читает с лю-
бовью
В нем мужества полный укор.
Боец из дружины, стяжавшей
геройством
Бессмертную славу себе,
Зачем ты считаешь с таким
беспокойством
Ряды уцелевших в борьбе?!
Зачем ты смущен, если счастье
в сраженьи
На миг улыбнется врагам?
Ты знаешь—судьбы неизменно
решенье—
Победа достанется нам!
Смотри, как палач перепуган
глубоко:
Дрожит в загрубевших руках
Зловещий топор, занесенный
высоко
Над братом, поверженным в
прах.
Смотри, на подмогу бойцам
утомленным

Воителей племя растет
На поле, кровавым дождем обагренном,
Где мрачный стоит эшафот.
Тела их могучи, прекрасны их лица,
Их груди отвагой кипят,
И грозно сверкает в подъятой деснице
Карающий острый булат.
И только что лезвия облик холодный
Достигнет до недруга глаз,
Бежит он, почуяв свободы народной,
Народного мщения час.
Вы правы, великие, славные тени,
В сознаньи ошибок моих
Пред вами смиренно склоняю колени,
Простите мне слабости миг!

Кровавую злобу, и гнев, и волненья
Устав без конца выносить,
Душа захотела минуты забвенья,
Минуты покоя вкусить.
Но силу былую я чувствую снова,
И веру, и мужества жар,
И руки попрежнему сыпать готовы
Врагам за ударом удар.
Скорее, товарищи! Сомкнутым строем
Стремительно кинемся в бой!
Мы грудью опасное место закроем,
Мы брешь загородим собой!
Со славой вернемся мы с бранного поля,
Иль ляжем со славою там..
За нами судьбы неизменная воля,
Победа достанется нам!

В цынге [86]).

Мне хочется воли, мне хочется света,
Мне хочется полною грудью вздохнуть,
Мне хочется... Полно, брат! Песенка спета:
На годы, на веки схоронен ты тут.
Холодной стеной каземата сырого,
Железным засовом тяжелых дверей
Навек ты отрезан от мира живого,
От радостей жизни, любимых людей...
Простись же навеки с твоими мечтами,
Простись и с надеждой, которою жил,

С родными степями, лесами, лугами,
С идеей, которой ты верно служил...
Простись же со всем и сумей покориться
Своей неизбежной, гнетущей судьбе—
Что пользы мечтать и бесплодно томиться
По воле и жизни, труду и борьбе?
Ни страх, ни надежды, ни радость, ни горе
Пускай не волнуют усталую грудь:
Ты вновь не увидишь житейского моря,
И скоро твой кончится жизненный путь...

Вобъятиях смерти найдешь ты отраду
От горя и мук, пережитых тобой,
И в море забвенья получишь награду —
Так долго и страстно желанный покой.

1883 г. *П. Поливанов.*

В Алексеевском равелине.

Вечно те же угрюмые, пыльные своды,
Вечно та же решетка чернеет в окне...
Вереницею тянутся долгие годы,
Словно тяжкие грезы в мучительном сне...
Если-б жизни широкой, свободной, кипучей
Хоть один отдаленный донесся бы звук,
Всколыхнул бы меня своей силой могучей,
Облегчил бы он бремя терзающих мук...
Нет! Все тихо вокруг меня, мертвенно глухо...
Надрывающий душу могильный покой
Нарушает лишь где-то жужжащая муха
Да бряцание шпор в коридоре порой.
Где ты, светлое время борьбы и волнений,
Время пылкой надежды и гордой мечты,
Вера в счастье грядущих людских поколений?
Мимолетною грезой промчалося ты...
Все минуло... Туман над прошедшим спустился
И его навсегда заволок пеленой,
В гробовой, погребальный он саван сгустился
И зловещею тучей повис надо мной...
Туча эта свинцовая давит жестоко,
Леденит истомленный неволею ум,
И мне в душу она проникает глубоко
Жгучим ядом тяжелых, безрадостных дум...

П. Поливанов.

---

13 октября.

Восемь лет прошло, друг милый,
Как простились мы с тобой,
Но твой образ до могилы
Не расстанется со мной...
Через каменные своды
Лучезарная, как день,
Тихим ангелом свободы
Промелькнула твоя тень...
В час мучительный сомненья,
Жгучей боли и тоски
Слышу я прикосновенье

Нежной, дружеской руки...
Взор, исполненный участья,
Вижу я, а голос твой
Шепчет: „дни пройдут ненастья,
И за сумрачной весной
Будет снова, друг мой милый,
В блеске солнечном весна
И своей волшебной силой
Возродит тебя она“.

1888 г. *П. Поливанов.*

Кошмар.

Что со мной? Тоска, смятенье,
Безотчетное волненье,
Я не в силах встать.
Сердце нервно замирает,
Пот холодный выступает,
Нечем мне дышать...
Веет сыростью могилы,
Тускнет взор, слабеют силы,
Мрачно впереди...
Все, что в мысли шевелилось,
Мглой, как саваном, покрылось,
Замерло в груди...

1891 г. *П. Поливанов.*

Завет.

(Посвящается П. С. Поливанову).

Когда овладеет душою печаль,
Ты вспомни, что скрыта грядущего даль
В тумане от нашего взора,
Что жизнь наша часто мучений полна,
Но вдруг озаряется счастьем она,
Как полночь огнем метеора.
Не надобно, друг мой, излишних вериг:
Ведь каждый мучительно прожитый миг
На близких тебе отзовется!
Всецело должны мы для ближнего жить,
Должны для него мы себя сохранить
И бодро с невзгодой бороться!
В тяжелые дни испытаний и бед
Дает нам вселенная вечный завет,
Который гласит всем скорбящим:
„В несчастьи грядущим и прошлым живи,
А в счастьи живи настоящим!“.

1900 г. *Н. А. Морозов.*

Шлиссельбургская узница Людмила Александровна Волкенштейн.

Не на воле широкой—под сводом тюрьмы
Мы впервые с тобой повстречались...
В те тяжелые дни, когда с жизнию мы
Пред суровою карой прощались...
Было мне в эти дни не до новых людей,
Жизнь прошедшая мне рисовалась...
Проходил предо мной ряд погибших друзей...
Братство славное их вспоминалось...
С этим братством несла я тревоги борьбы—
Ему силы свои отдавала...
Неудачи, измены, удары судьбы
До последнего дня разделяла...
Но союз наш, борьбою расшатанный, пал...
Неудачи его сокрушили.

Беспощадно суд смертью одних покарал,
В равелине других схоронили...
И пришлось в день расчета одной мне предстать
С грустным взором, назад обращенным,
С думой тяжкою, с сердцем стесненным.
Мудрено-ль, что тебе, как подруге чужой,
Равнодушно я руку пожала?
Жизнь кончалась, и темная ночь надо мной
Свой туманный покров расстилала...
И не думала я, что с тобою войду
В эти стены, делить одно бремя,
Что в тебе я опору и друга найду
В беспросветное, мрачное время [87].

Шлиссельбург. 1893 г.

В. Н. Фигнер.

Завещание Юрия Богдановича [88].

Есть площадь с пролитою кровью святой,
Туда вы, друзья, соберитесь
И, честь воздавая, с поднятой рукой
От чистого сердца клянитесь:
Служить бескорыстно народу,
Друг друга любить, защищать,
Бороться за честь и свободу
И знамя высоко держать.
То знамя, что в клочья избито
При схватке с упорством лихим
И кровью борцов тех омыто,
Что пали, сражаясь, под ним.
Других же знамен не берите—
Славнее его не достать...
Но с ним вы идите, будите
Уснувшую родину-мать.
Прекрасна, о, братья, свобода
И силы волшебной полна,
Но с пользою в руки народа
Лишь в битве берется она.

Памяти Баранникова.

Зачах ты в страданьях неволи,
Прекрасный, отважный герой.
Достоин был лучшей ты доли,
Мечтал ты о смерти иной.
Тебя в равелине сокрыли—
Нашли неудобным казнить...
Но жизнь лишь затем подарили,
Чтоб медленной пыткой убить!
С душою отважной и страстной,
Для бурь ты был создан и гроз.
Погибнуть на битве опасной
Мечту ты в могилу унес.

Ты не был апостолом слова,
Героем болтливой толпы...
С душою закала иного,
Искал ты и жаждал борьбы!...
Поборник свободы и чести
В стране миллионов рабов,
Казался ты ангелом мести,
Вождем непокорных духов...
С прекрасным лицом горделивым,
С рукою поднятой на месть,
Вперед ты стремился с призывом:
Победа!.. Победа, или смерть![89])

В. Фигнер.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ШЛИССЕЛЬБУРЖЦА.

Наташе.

(Из Шлиссельбургской крепости после 10-летнего заключения).

Из глубокой и тайной могилы,
Где схоронен я живой,
Может быть, до тебя, друг мой милый,
Донесется привет этот мой,
И, быть может, услышишь ты снова,—
Ах, сбылася бы эта мечта,—
Песнь тюремную, — страстное слово,—
Что не раз уж в былые года
Посвящал я тебе, ненаглядной,—
Моей яркой и светлой звезде,—
В память счастья минуты отрадной,
В знак любви безграничной к тебе.
Десять лет с той минуты разлуки,
Как в последнем объятьи, с тоской,
Со слезами ломала ты руки,
Расставаясь навеки со мной.
Годы... долгие, тяжкие годы
Без надежды, без света, в глуши,
Но могилы гнетущие своды
Не изгнали еще из души
Образ светлый, ласкающий милой,
Ненаглядной голубки моей,
И в тюрьме этой тайной, постылой
Я живу лишь мечтою о ней.
И томительно-радостно бьется
Под обманчивой сердце мечтой
Часто здесь, когда вдруг пронесется
Цепь минувших картин предо мной;
Когда образ твой чистый и светлый
Вдруг предстанет глазам, как живой,

И, отдавшись весь думе заветной,
Я беседую долго с тобой...
Но проходят минуты забвенья,
Исчезает иллюзия вдруг...
Миг счастливый сменяет томленье...
Воцаряется сумрак вокруг...
. . . .
И разбитый, угрюмый, унылый
Я надолго теряю покой,—
Над чарующим призраком милой
В своем склепе рыдая с тоской.
Ах, нет сил удержать стон невольный,
Крик болящей под гнетом души,
Крик отчаянья жизни бездольной
Без надежды, без счастья, в глуши.
И нет сил покориться злой доле,
Безысходной здесь жизни глухой,
Подавить в себе грезы о воле,
Помириться навеки с тюрьмой.
Жажда жизни, любви, счастья, дела
Вдруг наполнит кипучую грудь...
В этот миг я гляжу гордо, смело,
И мне видится в даль светлый путь...
И мерещится край мне далекий...
Сестры, мать моя—бедная мать...
Образ пташки моей черноокой,—
Всех их страстно хотел бы обнять.
. . . .
Ах, настанет ли чудное время
Вновь увидеть мир вольный, живой...
Или долгое, тяжкое бремя
Сменит гнет лишь доски гробовой... [90]).

1895 г.

Б. Оржик.

---

* * *

Нам выпало счастье—все лучшие силы
В борьбе за свободу всецело отдать...
Теперь же готовы мы вплоть до могилы
За дело народа терпеть и страдать!..
Терпеть без укоров, страдать без проклятий,
Спокойно и скромно в тиши угасать,
Но тихим страданьем своих юных братий
На бой за свободу и равенство звать! [91]).

В. Н. Фигнер.

---

* * *

1887 г.

Пали все лучшие... В землю зарытые
В месте пустынном безвестно легли!
Кости, ничьею слезой не омытые,
Руки чужие в могилу снесли...
Нет ни крестов, ни оград, и могильная

Надпись об имени славном молчит...
Выросла травка, былинка бессильная
Долу склонилась—и тайну хранит...
Были свидетелем волны кипучие...
Гневно вздымаются, берег грызут....
Но и они, эти волны могучие,
Родине весточку в даль не снесут...

В. Н. Фигнер.

Прости!

Посвящается Вере Николаевне Фигнер перед ее отъездом из Шлиссельбургской крепости.

Пусть, мой друг дорогой, будет счастлив твой путь
И судьба твоя будет светлей,
Пусть удастся тебе поскорее стряхнуть
Злые чары неволи твоей.
Скоро, милый мой друг, вновь увидит твой взор
Лица близких, родных и друзей,
Окружит тебя вновь беспредельный простор
И раздолье лугов и полей,
Ночью встретят тебя и развеют твой сон
Миллионами звезд небеса,
И увидишь ты вновь голубой небосклон,
И холмы, и ручьи, и леса...
Все, чего столько лет ты была лишена,
Что в мечтах—обаянья полно,
Вдруг воскреснет опять, и нахлынет волна
Прежних чувств, позабытых давно.
Пусть же, милый мой друг, будет счастлив твой путь!
Скоро будешь ты снова вольна
И успеешь уставшей душой отдохнуть
От тяжелого, долгого сна!

Н. А. Морозов.

1 сентября 1904 г.

Памяти С. Н. Бобохова и И. В. Калюжного.

Есть эпохи печалей, есть страшные годы:
С дрожью гнева историк об них говорит,
Мрак угрюмей, душней в эти ночи невзгоды,
Но терновый венец величавей горит!
Не о вас я скорблю, зову чести послушных,
Жизнь сумевших за други своя положить:
Я печалюсь о нас, о друзьях малодушных,
На руинах святых остающихся жить,
Мрак и ужас былого воочию видеть,
Все, что, гордые, вы не хотели снести,
Бесконечно любить, горячо ненавидеть,
И не чувствовать силы за вами идти—
Есть ли пытка страшнее?.. [92])

П. Якубович.

1889 г.

Современному поколению *)

Пора недавняя, сияющая славой,
Великой доблести исполненные дни,
Волненье жаркое и пыл борьбы кровавой,—
Безвременно ушли в прошедшее они.
Какие подвиги—не хочет верить разум
Тому, о чем с трудом передает язык,
И замирает дух, взволнованный рассказом,
И с уст срывается восторга страстный крик!
Бойцы бесстрашные, титаны, а не люди,
России лучший цвет, как будто на подбор,
Сомкнувшись в тесный строй, выдерживали грудью
Врагов бесчисленных озлобленный напор,
И все они легли в разгаре страшной битвы
На грудь широкую вскормившей их земли,
Их не спасли страны измученной молитвы
И наши слезы не спасли...
А мы, дававшие священные обеты
Вчера, над свежими могилами бойцов,
Мы предали врагу--великие заветы,
Наследье славное погибших мертвецов.
Героев жалкие, приниженные братья,
Сердца холодные, бессильные умы,
Пигмеи слабые—не страшного проклятья,
Плевка заслуживаем мы!
Создавши полосу короткого покоя
Меж двух периодов отчаянной борьбы,
Мы жизнь свою влачим с холодною тоскою,
В пыли лежащие рабы!
Великой мыслию мы жизни не осветим,
На дело славное—у нас не хватит сил,
Наследство скудное мы завещаем детям
За дверью близкою зияющих могил!
И с негодующим, язвительным, укором.
Над нашим именем ругаясь и смеясь,
Нас заклеймят они заслуженным позором
И нашу память втопчут в грязь.
И наше пошлое, пустое поколенье,
Совсем забытое, исчезнет без следа,
И вновь появятся великие стремленья
И старая любовь и старая вражда!

Моск. Историко-Рев. Архив.

Из архива бывш. Моск. охранного отделения.

*) Здесь нашли отзвук настроения конца 80-х гг., когда память о героической борьбе „Народной Воли" была свежа, но, под влиянием ультра-реакционных мер Александра III, были разгромлены все революционные организации. Начиналась эпоха „размагниченности", когда массы еще не проснулись, а „левые" ограничивались упреками себе и современникам, да одними ожиданиями „великих стремлений" в неопределенном будущем.

ГЛАВА IV.

После разгрома Народной Воли.

Эпигоны народовольчества.

Эпитафия Александру III.

Десять лет он Русью правил
Без законов и без правил,
Точно Грозный или Павел.
Миллиард долгов прибавил,
В Петербурге „Крест“ поставил,
Трепетать всю Русь заставил,
Руси „Нещечко“ оставил
И себя лишь тем прославил,
Что Европу обесславил
И Россию обезглавил,
Бывши их главой.

Летучие листки, изд. вольной русской прессы в Лондоне под ред. Волховского. Листок № 18, 29 марта 1895 г.

Александр III.

Реакции дикой свирепый поборник,
Дивя проходящий народ,
В овчинном тулупе на улице дворник
Сидит у закрытых ворот,
И снится ему, что при сей обороне,
Нелепый, но грозный на вид,
Такой же, как он, на наследственном троне
Безграмотный дворник сидит.

Антон Горемыка.

Друг, не верь пустой надежде!
Говорю тебе, не верь!
Горе мыкали мы прежде,
Горе мыкаем теперь.
Граф Валуев горе мыкал,
Мыкал горе маков цвет,
Но немного он намыкал
И увял во цвете лет.
Всей Россией заправляя,
Горе мыкал Лорис сам
И, в Европе угасая,
Горемыкой умер там.
Граф Игнатьев из-за моря
На Лориса место сел,
Повернул, помыкнул горе
И недолго усидел.
А Игнатьеву на смену
Горе мыкать стал Толстой,
От усердья лез на стену
И намыкал—ой, ой, ой!
Но Толстой сошел в могилу,
Дурново сменил его:
Дурно—во, как дурно было!
И погнали Дурново.
И во всех министрах этих,
Хороша, не хороша
Пребывала неизменно
Горемычная душа.
Да, обманчивой надежде,
Говорю тебе, не верь!
Горемыки были прежде—
Горемыкин стал теперь!

Бессмысленные мечтания.

Принахмурив очи строгие,
Чтобы в корне зло пресечь,
Коноводам демагогии
Царь сказал такую речь:
— „За благие пожелания
Вас я всех благодарю,
Но бессмысленны мечтания
Власть урезать мне, царю.
Ах, калики-перехожие!
Либералы дикари!
Провинцьялы толстокожие!
Санкюлоты из Твери!
Или вы воображаете
В самом деле (как умно!),
Что собою представляете
Вы парламента зерно?
Далеко зерну до колоса!
Не пришла еще пора!
Дам пока вам право голоса
Лишь для возгласов „ура“!

* * *

Как у нас в городке
На Неве на реке
Ника
Из себя вышел вон,
Ножкой топает он
Дико
И кричит: „Ей же ей
Им не дам, хоть убей,
Воли!
Будет все, как и встарь:
Аль я больше не царь,
Что-ли!!
Земцам будет беда—
Ишь, полезли куда!
Шутки!
Вам парламент?! Да нос
Еще ваш не дорос!
Дудки!
Мне же нос, господа,
Я клянусь, никогда
Не утрете.
Я скажу напрямки:
Пошли вон, дураки!
И пойдете.
Ах ты, царь Николай,
Ты на земцев не лай,
Ишь, задорник!
Их послушай совет,
А ругня не ответ:
Ты не дворник!
Земцам лучше внемли:
Это люди земли
Нашей.
А не то... путь иной—
К немцам—с сыном, с женой
И с мамашей.

Памяти Народной Воли.

Живите и торжествуйте!—
Мы торжествуем и умираем.

(*Из завещания Баранникова*).

Все, все они умерли!
Они были такие же, как мы,
Только выше и чище душою,
И все они умерли...
Никогда,
Никогда в истории человечества
Не было такой героической,
Такой титанической борьбы!
Эта кучка юношей и девушек
Думала дать счастье

Целому великому народу!
И все они умерли...
Свет, который манил их,
Был не брезжущей утренней зарей,
А холодным светом северного сияния,
И холод смерти окутал их,
И мрак вечной ночи
Закрыл их очи навеки.
Хорошо, что они умерли!
Смерть-избавительница
Закрывала глаза, сиявшие светом надежды,
И целовала уста, шептавшие слова привета,
И останавливала радостный стук сердца.
И когда приходили тюремщики
В камеру скончавшегося узника,
И когда палачи снимали с петли свои жертвы,
Они удивлялись
Спокойной ясности чела
И радостной улыбке на устах.
Хорошо, что они умерли,—
Умерли, торжествуя!
Они спят в сырой земле.
Но земля,
Политая их кровью, засеянная их костьми,
Дала пышные всходы
Борьбы, героизма и мужества.
Сколько лет лежал под землею посев!
Как страдали бы они эти долгие годы!
Хорошо, что они умерли!..

Амари.

Памяти Софии Перовской.

Он простился с подругою нежной
И на верную гибель пошел,
С беззаветностью веры мятежной,
Неподкупен и горд, как орел.
Удаляясь шаги прозвучали...
Вот и стих замирающий звук.
О, не плачь, в неисходной печали
Не ломай холодеющих рук.
Ты затихла. Утратой кровавой
Скорбь сгибала тебя до земли,
Но глотала ты слезы... Отравой
Эти слезы на сердце легли.
И, собравши последнюю силу,
Ты от горя с ума не сошла,
Но с товарищем в ту же могилу
Величаво, геройски легла.
Где бы ни был схоронен врагами
Ваш священный страдальческий прах,
Ваши тени великие с нами,
Ваше имя у нас на устах,
В нем пароль боевой и присяга,
И, как смерть, та присяга крепка:
Не изменят нам скорбь и отвага,
В час урочный не дрогнет рука!
И тогда к вам, великие тени,
В душной тьме зажигавшие свет,
Под немые могильные сени
Донесется наш братский привет [93])

Амари.

Разрушенный мол.

Солнце греет. Легкий ветерок. Море слегка колышется. Наша лодка мерно несется по волнам; парус поднят... Ширь, простор... Вдали старый разрушенный мол. Мы подъезжаем к нему. Волны с силой ударяют в каменную преграду и радостно, свободно катятся через многосаженную брешь, пробитую в этой стене.

„Не любит море преград“,—заметил мой спутник, старый загорелый моряк.

— А давно прорвало этот мол?—спросил я, невольно поражаясь горячей силой воле, снесших эти громадные скалы.

„Надо думать, давно“,—как-то задумчиво ответил он.

— А знаете,—обратился он ко мне,—излюбленное наших моряков предание о борьбе моря с этими скалами? Хотите, я вам расскажу его?

* * *

„Как вольные птицы на воле, были волны морские свободны... Буря-мать их баюкала песней, и в весельи беспечном они катились в безбрежную даль...

Но мрачный и злобный тиран человек, завидуя участи волн, их свободы лишить захотел, чтобы гордо они не носились над могучею бездной морей, чтобы яркому солнцу, лазурному небу игриво они не смеялись!..

Послал он послушных рабов: холодные скалы из недр достали земли, вглубь моря бросать начинали...

Взыгралося море...

Весело волнам глядеть, как скалы на дно упадают. Скачут, теснятся, хохочут; угрюмые скалы ласкают, мечутся волны: то-то раздолье. Из недр холодной земли к нам хмурые гости пришли: шумной песней их встретим: теплым приветом и лаской согреем, в море родном вместе резвиться, свет и свободу славить мы будем. Весело юным волнам.

Лишь буря, да отец-ураган злобным свистом гостей провожают, мрачно на скалы глядят.

А скалы все падают, падают в море, тесно ложатся друг к другу, плотной стеною растут, волны морские теснить начинают, их бегу свободному путь преграждают...

Смутилися волны, пугливо глядят на высокую мрачную стену; впервые им путь прегражден.

И ровно свой бег продолжая, о скалы ударились грудью... Со стоном отхлынули прочь... Стена холодна, неприступна...

Вздрогнуло море...

В ужасе мечутся волны, о мрачные скалы грудь разбивая... Стон по морю пошел...

Мчатся угрюмые волны. „Измена, измена!“ кричат.—„Мы их, как друзей, принимали...

Свободу, свободу украли у нас!"

Плачет мать-буря... С ревом к мрачной стене несется отец-ураган...

— О, скалы, грозные скалы! Когда-то и вы свободными были, когда-то и вы свободой дышали! Зачем вы у деток свободу украли?

Нахмурились грозные скалы.

— Не наша в том воля! украдешь, коль прикажут украсть,— мрачным стоном они отвечали и злобно над морем нависли.

Помчалась мать-буря, помчался отец-ураган со свистом и плачем над морем, волны сзывают, волнам весть подают роковую.

О, волны, о, бедные волны! Погибла, погибла свобода! Отныне рабами вы стали...

И умчалися прочь...

Замерло море...

Могучие старые волны в глубину морскую ушли. Не разбудит их буря, отец-ураган их не кличет.

И волны младые угрюмо катятся, не слышно ни смеха, ни песен о прежней свободе; и солнце так тускло светит на небе; и небо так хмуро, так серо кругом... Лишь изредка юные волны, истомившись в суровой неволе, дружною ратью на врага ополчались. Сомкнутой цепью ударят на острые скалы,—неприступные скалы не дрогнут; гулким эхом лишь стон раздается—это стонут разбитые груди отважных борцов.

Плакало море...

Шли годы...

Много прошло их.

Много волн молодых о скалы грудь свою разбивали...

Все мрачней и мрачней становилось кругом...

Смутилися волны,—„Будем ждать! будем сил набирать!"

Шли годы.

Юные волны окрепли. Гонцов во все стороны моря они разослали, спящих будить, все волны на битву со скалами звать.

Спустились гонцы в пучину к старым волнам,—старые волны звать на борьбу.

Старые волны угрюмо головой качают.—„Нет в нас ни мощи, нет в нас порыва. Где нам бороться, где нам со скалами спорить!"

Бросились волны-гонцы родимых искать, матушку-бурю, отца-урагана скликать.

Рыскали по морю,—нет; в горных ущельях нашли.

— „С приветом, с поклоном, родимые, мы, от волн гонцы, к вам пришли. Оставьте вы тесные горы, в море скорее летите, сорвите позорные цепи, что дух наших братьев сковали! Вдохните вы в старые волны дух жизни и жажду свободы; сберите вы грозные рати и дружно на скалы их двиньте! Не страшна

нам борьба, и смерть не страшна, мы хотим лишь свободу для братьев спасти".

Трепетно сердце забилось матери-бури; загорелась кровь отца-урагана. Речи гонцов им напомнили добрые старые годы.

Ласковым взором окинули юных гонцов; из горных ущелий в безбрежное море ревом могучим несется радостный клик:

„Мы идем, мы идем, мы идем свободу спасать, свободу спасать, свободу спасать. Вставайте, могучие волны, разбейте оковы свободы, преграды разрушьте!"

Могуч был тот клик: он и спящих будил, старых юными делал, отвагу и бодрость внушая!

И волны вставали, и волны катились, послушные зову борьбы.

Ночь глухая стояла над морем, черные тучи нависли кругом, когда впервые раздался могучий призыв.

С востока на запад, с юга на север волны сбирались, в стройные рати сбирались.

Юные волны отвагой горят, первые к приступу рвутся.

Молнией-бурей над морем промчались; ураган им на помощь несется. Заревела буря... Загрохотал ураган...

Поднята рать...

Вперед, могучие волны!

— „Смерть или победа!" С воинственным кликом к мрачной стене понеслись.

Вздрогнули хмурые скалы. Несутся все быстрей... Грудью вперед выступают, грудью ударились в скалы, замертво пали... Кровью обрызганы скалы, кровью бесстрашных бойцов.

Стонет мать-буря: „Дети, родимые дети! Уж первые пали! Еще много падет вас, но сломим сегодня врага!.."

Море клокочет...

Павшим на смену волны несутся... Как они грозны! Как они мощны!.. С грохотом, ревом в острые скалы ударят, отскочат назад, снова ударят, и, умирая, братьев на помощь зовут. Крепко скалы стоят. Но мрачно, бесстрашно волны катятся, и нет им конца, нет им предела, грозным волнам...

Море ушло с берегов; все волны в дружину попали. Стон и рев над морем стоял...

Как могучие львы, старые волны на помощь младшим понеслись. Рассыпались белые кудри, земля задрожала кругом, с страшной силой на скалы бросаются.

Уж утро настало, серое мрачное утро. Все скалы стоят неприступно. Все свищет над волнами буря, а волны все гибнут и гибнут, об острые скалы грудь разбивая.

С ужасом люди сбежались. Угрюмо глядят рыбаки, как гибнут бесстрашные волны в неравной, казалось, борьбе. Сжималось сердце от боли, и плакали мрачные люди, и бога молили, чтоб скорее борьбу прекратил, чтоб волнам победу послал.

Сам злобный тиран-человек, что скалы на море надвинул, теперь ужаснулся. Дрогнуло черствое сердце при виде страданий

и гибели моря. О, с восторгом каким скалы теперь бы убрал и волнам свободу вернул!..

Но поздно... Уж волны не плачут, уж волны не молят... Слишком много погибло тут волн, слишком сладостна месть за погибших...

И с мрачной отвагой, под клик бури могучей, к утесу блестящему хлынули. Чуют кругом: иль свергнут холодные скалы они, иль море могилою станет ,.

Мерно, бесстрашно несутся вперед, дружно ударили в стену, дрогнули скалы под мощным ударом... Замерли волны, отринули назад, с буйным бешенством ринулись снова... Все в свалке смешалось... Стон и грохот над морем стоял, и море, казалось, со дна поднялось, с небом слилось...

И рухнули скалы!...

Под последним ударом поддались, с шумом сверглись в морскую пучину, где погибшие волны лежали...

„Прочь, позорные трупы!—скалам низвергнутым море ревет,—здесь могила отважных бойцов за свободу; здесь юные волны лежат...“

Разверзлось дно моря, и в мрачную бездну с проклятьем скалы упали...

„Наша-ль вина? Волнам слава—нам вечный позор за позорное дело!“

Ликует безбрежное море. Оно победило мощную силу врага. И волны свободно катятся и славят погибших бойцов, что юною жизнью своею братьям свободу вернули...

„Слава погибшим!
Живущим—свобода!“

* * *

Я сидел очарованный этой дивной народной легендой... С благоговением смотрел я на свободные волны, дышавшие силой и могучей отвагой.

Надо мною лазурная синева неба; подо мною безбрежное море, залитое мягким светом яркого майского солнца.

Вдали шум городской жизни, хохот жалкого довольства, черный дым, лязг цепей и стоны, жалкие стоны...

. . . .

И чудилось мне, будто там, далеко, далеко за синевой моря буря ревела...

О, люди, о, жалкие, жалкие люди! [94])

Г. Гершуни.

Балмашову [95]).

Мне казалось порой, что задумчиво кроткий,
С нежным, женственно нежным лицом,
Окаймленным чуть видною, мягкой бородкой,
Ты совсем не рожден быть бойцом.

И когда бы не виделась гордая складка
В этих сжатых губах мне подчас,
И мятежный огонь не мерцал бы украдкой
За фатой серодымчатых глаз,—

Я бы горько жалел, что овеян ты светом
Умирающей ранней зари,
Что неведомый голос с нездешним приветом
Говорил тебе в сердце: „умри".

Я бы горько жалел, что не повестью бледной,
О, мой юноша с тихим лицом,
А была тебе жизнь эпопеей победной
С гармонически-грозным концом!

Раздался выстрел! Словно грянул гром
Над палачем грозы последней!
И умер он как жил, тираном и рабом
Пред совестью своей и пред людьми лжецом.
И умер он, как жил,—в передней.

И наш герой погиб: бездушен произвол,
Крепка твердыня зла и гнета!
Рой нерасцветших дней и грез с собой увел,
Но смертью он к бессмертью перешел
По траурным ступеням эшафота!

Амари.

3 апреля 1902 г.

* * *

Моя душа пылает страстью бурной,
И грудь полна отваги боевой.
Ах, видеть бы свободы блеск пурпурный,
Рассеять мрак насилья вековой.
И, маску лишь сорвав с лица злодея,
Вдруг обнажить его смертельный страх!
И бросить всем тиранам, не робея,
Стальной руки неотвратимый взмах.
Довольно слез,—пусть грянет бой победный!
Народ зовет. Преступно, стыдно ждать!
Рази-ж, мой честный меч наследный,
Я твой, весь твой, о родина, о, мать!

И. Каляев. [96]).

Первомайская песнь.

Грянемте сомкнутым строем,
Грудью врагов отразим,
К счастью мы путь всем откроем,
Праздник борьбы освятим,
Мы возрожденье народу,
Гибель тиранам несем,
Всем возвещая свободу,
Бодро вперед мы идем.
Солнце—наш факел победный,
Правда—наш лозунг святой.
Рухнет пред нами бесследно
Дряхлый насилия строй.
Сгинут цари-кровопийцы,
Скоро их троны падут.
Всех вас, тираны-убийцы,
Мести народной ждет суд...
Ваш, кулаки-мироеды,
Также настанет черед;
Близок час нашей победы,
Встанет на бой весь народ.
Барщины цепи, налоги,
Фабрики гнет крепостной,
Замки, казармы, остроги
Дружно снесем мы долой.
Слава великим идеям!..
Слава бесстрашным борцам:
Разве и мы не сумеем
Двинуться ратью к дворцам?..
Равенства, братства, свободы
Знаменем всех осеня,
Бросим мы в мрачные своды
Свет первомайского дня.
Грянем мы сомкнутым строем,
Царство насилья снесем,
Все на земле перестроим,
Все на свой лад заведем!..

И. Каляев.

Лучи кровавого заката.

„Это самое задушевное мое раздумье, в котором отпечатлелась вся моя мятежность, и я посвящаю его всем моим близким друзьям и товарищам, с которыми я жил, боролся и мечтал“.

И. Каляев.

Лучи кровавого заката
Нас в детстве озарили,
Огонь борьбы с неправдой свято
В сердцах мы сохранили.
В жестокие росли мы годы:
У виселицы черной
Стоял еще палач свободы,
Глумясь над всем задорно.
Несчастная страна стонала
Под игом беззаконья,
А царь, свирепый жрец Ваала,
Безумствовал на троне.
Тайком, в невольном заточеньи,
Пил кровь из свежей раны;
Он в оргии искал забвенья
Под пологом охраны.
В церквах гремело многолетье,
Толпа „ура“ кричала,
А пресса подлая в честь плети
Позорный гимн слагала.
Умолкло слово обличенья,
Воскресли словоблуды
И, среди общего смятенья,
Предатели-Иуды
Холопства дань воздали трону
Развратного тирана,
Не внемля мучеников стону,
Воскликнули: „осанна!“
Многоязычным диким хором...

Погибло все, казалось.
Сливаясь с царским приговором
„Покайтесь!“... раздавалось.
Мы каялись, „отцам“ внимая,
В терпеньи упражнялись,
И, даль прогресса измеряя,
Росли и поучались...
Но молодая кровь бурлила
И выхода искала,
А сердце чуткое томилось,
О чем-то тосковало.
И часто мы, невзгоды дети,
Вдали от лжи, разврата,
Мечтали о борьбе при свете
Вечернего заката.
Замученных героев тени
Тогда шептались с нами,
А на небе пылало мщеньем
Кровавое их знамя...
Спускалась ночь над их могилой,
Забытой, неизвестной,
Но нам, объятым новой силой,
Был ясен свод небесный.
Свидетель тайных дум, мечтаний
И помыслов мятежных,
Он книгу нам раскрыл деяний
Грядущих, неизбежных.
Мерцали звезды торопливо,
Огни вдали мерцали,
А мы страницы молчаливо
Судьбы своей читали...
Настанет день, и солнце встанет,
Героев рать проснется,
Народ страдающий воспрянет,
Весь мир вновь ужаснется.
Идите же на бой кровавый,
Ударьте грозным станом:
Уж близок, близок час расправы,
Несите месть тиранам...
И мы пошли...

И. Каляев.

Расправа.

(Посвящается памяти Г. Леккерта).

Раздался зычный голос: „сечь!“
И палачи взялись за дело. .
Тяжелый бич, как острый меч,
Вонзался в трепетное тело,
Впивался тонкою змеей,
Язвил и жег, не уставая,
И брызгал кровью над толпой,
На части тело разрывая...
А тот, кто в ярости карал
За колебанье высшей власти,
Как зверь метался, и стонал,
И задыхался, и рычал
От упоения и страсти:
„Бей, не щади! Для этих псов
Какая может быть пощада!
Пусть под ударами кнутов
Они узнают муки ада!
Пусть каждый враг, как низкий раб,
Как встарь беспомощен и слаб,
Опять склонится предо мною:
Я буду властвовать над ним,
Я упиваться буду им,
Его стыдом, его мольбою“.
Но „раб“ склоняться не хотел—
И длились муки поруганья...
О, кто бы выразить сумел
Весь этот ужас голых тел,
Всю эту злобу истязанья!
Какой бы нужен был язык,
Чтоб воплотить в живые звуки
Всю эту боль, и стон, и крик,
Весь этот ад душевной муки!..
Глумясь над стонами людей
И тешась дикою забавой,
Сатрап со свитою своей
Следил за варварской расправой

И сладострастно пожирал
За звуком звук, за сценой сцену...
Когда палач изнемогал,
Другой спешил ему на смену,
И с новой силою бичи
Над жертвой яростно свистали,
И в исступленьи палачи
Ее опять полосовали.
И жертвы бились в их руках
И то бессильно задыхались,
То вновь с проклятьем на устах
Безумно рвались и метались...
Когда-ж стихал последний звук
И стон последнего проклятья,
И, как бы в ужасе от мук,
Добычу выхватить из рук
Спешила смерть в свои объятья,—
Тогда бесчувственный палач
Бросал истерзанное тело,
Затем, чтоб врач, „гуманный" врач,
Его излечивал умело...
И если мертвый оживал,
И если врач ему смягчал
Незаживающие раны,
Вновь на позор его влекли,
Пытали, резали и жгли
Освирепевшие тираны...
А, кровопийцы! В этот раз
Вам удалось до упоенья
Потешить слух, насытить глаз
Картиной мук и униженья...
С тех пор, как русские борцы
Вступили с вами в бой неравный,
Вас ужасает, подлецы,
Их дух крутой и своенравный,
Ни казнь, ни тюрьмы ни Сибирь
Не заглушали в вас тревогу,
Как в сказке рос наш богатырь
И расчищал и вглубь и вширь
К освобождению дорогу.
Герои гордо шли вперед
И, улыбаясь, за народ
Слагали голову на плахе,
И вы пред этой красотой,
Неотразимой и святой,
Метались в ужасе и страхе:
Как! Перед казнью так сиять,
Светиться радостью такою!
Вам нужно было запятнать
Их счастье жертвовать собою...
И, чтоб отнять у жертв своих
Геройской смерти обаянье,
Вы предпочли позорить их
И отдавать на поруганье...
И, чтоб тернового венца
Коснуться грязными руками,
Вы стали гордого борца
Пытать позорными бичами...
О, будьте прокляты во век!
О, пусть от края и до края
О вас свободный человек
Узнает, местью закипая...
Пускай возмездия рука
Вам отомстит за наши раны,
За каждый стон наш... А пока—
Вот вам, мучители-тираны!
И мощной мстительной рукой,
Негодованьем пламенея,
Безвестный мученик-герой
Внезапно выстрелил в злодея.
А после, в ужасе, народ
Глядел, дрожа и замирая,
Как, улыбаясь и сияя,
Он гордо шел на эшафот...

Чайке.

(Посвящается М. А. Спиридоновой).

На чистом теле след нагайки,
И кровь на мраморном челе...
И крылья вольной белой чайки
Едва влачатся по земле...
Она парила гордо, смело,
И крыльям нужен был простор...
Но вот, в грязи трепещет тело,
И вольной птицы меркнет взор...
Крыло безжалостно измято,
Полета гордого краса...
Но сердце чисто... сердце—свято...
И рвется... рвется в небеса...

Крыло измято... Но белеет,
Как гор высоких чистота...
И лишь одно пятно алеет—
Пятно от дерзкого кнута...
Она кружилась в вихре бури...
Погибшей, ей не увидать,
Когда над морем луч лазури
Сверкнет, как божья благодать...
Душа погибла в непогоду,
Погибла в мрачной темноте,—
За меньших братьев, за свободу
Распятой жертвой на кресте...[97])

М. Волошин.

„Хорошо умереть на заре".

Всколыхнется река и прошепчет трава:
Как темна была ночь на земле.
Встрепенется листва, пробудившись от сна,—
„Хорошо умереть на заре".
Заалеет восток, зазвенит ручеек...
Побледневшей печальной луне
Поцелуй свой пошлет ветерок,—
„Хорошо умереть на заре".
Изумрудом, брильянтом роса заблестит,
Засияет луч солнца на дальней горе...

Вместе с тьмою печаль улетит,—
„Хорошо умереть на заре".
Восходящего солнышка первым лучам
Пропоют птицы гимн в вышине,
Небеса улыбнутся цветам,—
„Хорошо умереть на заре".
Угнетенный проснется от долгого сна
Властелином на вольной земле—
И пред ним вся природа светла и ясна...
„Хорошо умереть на заре" [98]).

З. Коноплянникова.

Часть III

ГЛАВА I.

Перед 1905 годом.

Дворец.

Весь в узорах, весь в колоннах.
Легкий статуй хоровод.
О восторгах исступленных
Камень пламенный поет.
На балконах, утомленных
В паутине балюстрад,
Дышит эхо слов влюбленных,
Прошлой неги аромат.
Вдоль карнизов прихотливых
Маски вытянулись в ряд,
Дней счастливых, шаловливых
Продолжая маскарад.
В окна бьются перезвоны.
Мимо, мимо жизнь спешит.
С Александровской колонны
Ангел входы сторожит,
И язычник закоснелый
Храм забыл своих богов,
Им жрецы, толпой несмелой,
Не несут былых даров.
Скрытой мглой речных курений
Ловит звуки чуткий вал.
Этот храм для знойных бдений
Граф Расстрелли воздвигал.
Здесь, любовь и ум пестуя,
Жрица властная жила,
И звучали поцелуи,
И вершилися дела.
Но теперь, тая обиды,
В гулких залах бродит миф,
И у стен кариатиды
Плачут, руки заломив.
День за днем проходят годы,
Все кругом меняет вид.
Он томится, ждет невзгоды,
Ждет невзгоды и молчит.
Тщетно волны в час урочный
Напрягают жадный слух.
Не горит огонь полночный,
И веселый шум потух.
Темных окон взгляд тревожный
Тайно ищет за рекой
Стен знакомых строй надежный,
Шпиц высокий золотой [99]).

Всеволод Кожевников.

Мидас.

В былые времена наивны люди были,
Как дети малые. С утра и до утра
Толпами цезарей приветствовать ходили
И преданно кричали им „ура“.
Так было в древности с народными толпами
В Европе, в Азии, — повсюду, где в тот раз
Народом властвовал с ослиными ушами
Неограниченный какой-нибудь Мидас.
В те дни была неведома Свобода,
Еще не наступил век вил и топора.
Среди голодного и нищего народа
Была для цезарей счастливая пора.
Они, ведь, с подданным добры, Мидасы эти:
С народа нищего сняв тощую суму,
Даруют милостиво кнут и плети;
Шпицрутены, оковы и тюрьму.
Судьба насмешлива, коварная персона,
Печальный им готовила удел:
Проказник Фигаро, под золотой короной,
Их уши длинные случайно подсмотрел,
И вот... прощай, наивная легенда!
Какой с тех пор себя ни окружал
Мидас разгневанный усиленной охраной,
Каким сатрапам власть ни поручал,
Как угрожающе ни шевелил ушами,
Вдали, вблизи,—стоустою толпой
Народ кричит упорно пред дворцами:
— „Долой, Мидас, долой!“

С. И. Гусев-Оренбургский.

„Дружеские Речи“ [100]).

Как Мещерского не знать,
Не искать с ним встречи?
Стал сам царь распространять
„Дружеские Речи“.
Царь Мещерского спросил:
„Ты поведай, княже,
Отчего от вражьих сил
Каждый день нам гаже?
Мнил покойный мой папа,
Что крамолу дланью
Раздавил он, как клопа,
Купно с всякой дрянью.
Еще это с полбеды,
Коль взбесился с жира,
Ну, а если с лебеды,—
Так не жди здесь мира.
А теперь же, эта дрянь
Снова расплодилась,
И крамола, где ни глянь,
Всюду вкоренилась.
Но опаснее всего,
Я скажу, меж нами,
Что крамолу разнесло
Между мужичками.
Добрый русский наш народ
Был опорой трона,
А теперь уж он не тот—
Задает нам звона!

Ох, боюсь я за себя
И за царство дюже!
Научи ты, князь, меня,
Помоги мне, друже!
Мужиков чем охранять
От лихой заразы?
И какие мне писать
Для сего указы?
„Мужичью,—князь отвечал,
Для охраны мозга
Нужен нравственный журнал,
А для зада—розга!
Драть народ не прекращай,
Чтоб смирней был мухи.
Вместе с этим просвещай
В православном духе.
Чтоб любовью хам пылал
К трону жарче печи,
Издавать давай журнал
„Дружеские Речи“.
Будет страшен тот журнал
Дьявольской крамоле,
Только-б денег ты давал
На него поболе!“

(„Освобождение“ 1903 г., № 6).

„Лев и Ослы“.

(Басня).

В одной стране, где правили Ослы,
Лев завелся, и стал налево и направо
О том, о сем судить. И вот, во все углы
Про речи львиные зашла далеко слава.
Известно всем, какой львам громкий голос дан,
Какая скрыта в них и сила, и отвага;
А этот первым был среди и львиных стран
И громко говорить для всех считал за благо.
И так как Львы ничуть не схожи на Ослов,
И все в привычках их и в их речах—иное,
То все правление ослиных тех голов
От львиной дерзости лишилося покоя.
Как! Рядом долгих лет, природные Ослы,
Обычай наш и нрав привили мы народу,
А дерзкий Лев рычит на нас свои хулы
И под носом плодит нам львиную породу?!
К несчастью пущему народ наш не глухой,
И дан язык ему, как ни прискорбно это;
Один послушает, послушает другой,
Глядишь—и разнесут ту ересь на полсвета!
Судить не медля Льва! И семеро ослов
Собрались заседать, как быть с врагом косматым?
И сановитейших ослиных семь голов
Так разрешаются посланьем витьеватым:
Лев назван гибельным служителем страны,
Порвавшим дерзостно с премудростью ослиной,
За что и ждут его рогатки сатаны,
Лизанье сковород, и свист, и шип змеиный!

Готовы-б съесть Ослы, да все-ж боятся Льва,
И только издали они его лягали.
И даже ясно так звучали их слова:
„Вам, Лев неистовый, покаяться нельзя-ли?
Забудьте львиные замашки и хулы,
Покайтесь! Будет вам! Пойдите-ка в Ослы!
Кто знает? Может быть чины бы получили".
Когда же Льву прочли зловещую рацею,
То он сказал, махнув презрительно хвостом:
„Здесь все написано ослиным языком,
А я лишь понимать по-львиному умею!"

Голуби-победители [101]).

Чем дело началось—не помню, хоть убей!
Но только семь „смиренных" голубей,
Узнав, что Лев блюсти не хочет их обычай,
А смеет—дерзость какова!
Жить на подобье Льва,
Решили отлучить его от стаи птичьей.
Ни для кого теперь уж не секрет,
Что послан Льву такой декрет:
Чтоб с голубями он не смел летать, покуда
Он не научится, как голубь ворковать
И крошки хлебные клевать.
Ликуют голуби: „Мы победили! Чудо!
Мы надо Львом свершили правый суд,
В лице своем соединить умея
И кротость голубя и мудрость змея!"
Но, может быть, вопрос нам зададут:
Да—где-ж победа тут?
Но так как, если верить слуху,
Те голуби сродни святому духу,
То каждый, чтобы быть целей,
Конечно, от таких воздержится вопросцев,
И будет славить голубей-победоносцев.

Живые цветы.

Стихотворение неизвестного, написанное по поводу отлучения Л. Н. Толстого от церкви [102]).

Сон Победоносцева.

Что давно усладой было
Лишь для умственного взора,
И чего давно желало
Сердце обер-прокурора—
Виц-мундирного монаха,
То, чего просил у неба,
То свершилося воочью:
Отошли везде обедни,
Светит солнце над синодом;
Шум, оружия бряцанье,

Площадь залита народом.
За толпой штыки и пики,
Вид колючего забора...
И в восторге бьется сердце,
Сердце обер-прокурора.
Что за странное виденье?
Вот дрова, пучки соломы—
Не костер ли для сожженья?
Да, костер, и столб, и цепи
(Из музея видно взяты),
И от факелов в сторонке
Дым струится синеватый.
Вот и „он“, среди конвоя—
Еретик в рубашке белой,
Он, ругатель веры нашей,
Лжеучитель закоснелый.
„Так иди-ж, склонивши выю,
Под ярмом греха, позора!“
И опять взыграло сердце,
Сердце обер-прокурора.
„Дайте факел, сам зажгу я
Сей костер во славу божью!“
Обвивайте цепью крепко!
На смолу вы не скупитесь!
Вы смиренные, вы паки
Миром господу молитесь!

. . . .

Факел мне! И вот все гуще
Дым струится синеватый,
Камилавки закрестились,
Замолились „паки, паки!“
И им вторит медным гласом
По соседству сам Исакий.
Дым все гуще; запылает
Весь костер смолистый скоро,
И совсем в восторге млеет
Сердце обер-прокурора.
Вдруг... что это? Козни беса?
Анархистов шутки злые?
Над толпой цветная туча,
И летят цветы живые.
На толпу, костер и митры,
На коней, на казакины
Густо падают левкои,
Розы, ландыши, жасмины,
И над площадью бесшумной
Ходят волны аромата...
Кучка митр и камилавок
Видит, ужасом объята,
Как, все гуще осыпая
Весь костер, цветы стремятся
Загасить огонь священный...
„И... дрова уж не дымятся...
Да воскреснет бог! Спаситель!“
Раздались повсюду крики.
Вон смешались в общем бегстве
Камилавки, митры, пики...
Прокурор глядит и видит,
Полный страха и тревоги.
По ковру цветному сходит
Лжеучитель босоногий!..
„Ах уйдет он невредимый.
Нет колючего забора!“
И в испуге беспокойно,
Бьется сердце прокурора.
Он с трудом перекрестился,
Безнадежно оглянулся,
Закричал визгливо: „Люди,
Помогите!“—И проснулся
„Слава богу, это были
Только чары Черномора“.
И спокойно стало биться
Сердце обер-прокурора:
„Все по старому: я в доме
Синодальном, на Литейной,
Но... такое сновиденье!
Да с окраскою идейной!
И о, ужас! Посрамленье!
Православья сила, где ты?
Наяву цветы.—Вот пишут
В новом номере газеты,
Там на выставке бросали,
Оскорбив синод глубоко,
Из живых цветов букеты
Пред... портретом лжепророка!
Боже правый! Видно скоро
Будет светопреставленье!
Или, может быть, и это
Сновиденье? Сновиденье“...

Эпиграмма на Победоносцева.

Победоносцев для синода,
Обедоносцев при дворе.
Он бедоносцев для народа,
Доносцев просто при царе.

Из „песен старого рабочего".

Думы.

Каждый день одно и то же,
То же кресло и горшок,
На работе лезь из кожи,
От нужды ни на вершок.
Та-же нищенская плата,
За труды—кровавый пот;
Те же голод и заплаты,
И заботы полный рот.
Та же гута, как темница,
Держит нас в своем плену,
Те-же жареные лица,
Тот же оклик: „ну же, ну!"
И средь грохота и шума,
Что и как, не разберешь,—
Сетью спутанные думы
Не развяжешь, не порвешь.
Ведь не день, не два, а годы
Вдаль уходят чередой.
Так когда же дни свободы
Нас порадуют собой?...
„Что ты, глупый, разве можно
Говорить так... не во сне
И преступно и безбожно...
Некто в страхе шепчет мне
Чу... несут какие кары
За бессмысленный твой бред".
— Замолчи ты, идол старый,
Все равно один ответ.
И в тюрьме найдутся люди
Мне подстать, не тумаки.
„Брось, заботься о посуде,
Кособокой не натки!... [103]).

1891 г.

Е. Нечаев.

Я не просить пришел...

Я не просить пришел у вас —
Вы хлеба мне не подавайте,
Таких, как я, ведь много нас—
Мы сильны все, вы это знайте!
Одно, трудиться я хочу.
Люблю я труд, я им горжуся.
Мне праздность, лень, не по плечу,
Я быть холопом—не гожуся!
Я от народа к вам иду,
С запасом сил, с запасом воли,
Я от труда не пропаду
И не страшусь я злой неволи.
Я знаю терния шипов;
Знакомы мне страданья, муки,
И крепче стали от трудов
Мои мозолистые руки!
Труда, познанья дайте мне,
Я труд люблю и знаю твердо:
Кто любит труд в родной стране,
Тот высоко парит и гордо.
Не хлеба я у вас прошу,
Меня вы нищим не считайте,
Одну я мысль в уме ношу:
Свободы, света мне подайте [104]).

Ф. С. Шкулев.

Из моего прошлого.

I.

Под шум приводов и машин,
Где гибнут силы человека,
Провел я дни своей весны,
Под осень сделавшись калекой.
Там мысль моя была в плену,
И ум объят глухою тьмою...
Мою свободу стерегли
Громады-трубы за стеною.
Дрожали стены, как листы,
Схватив меня в свои объятья,
Со мной страдали, как и я,
Мои родимые собратья.
Кругом витали горе, тьма,
А сильный ум все жаждал света,
И голос мой: „О, где ты, жизнь?“
В потемках глохнул без ответа.
Тяжелый рок давил меня,
Как будто молотком железным...
Текли года... стал блекнуть взор
И ум сгорал мой бесполезно.
Не для меня был знанья свет
Казался он одной мечтою:
В удел судьбою мне даны
Страданья, голод с нищетою.
И годы медленно текли,
Вперед стремились мысли рваться...
Мой ум, как узник из тюрьмы,
Желал с позорной тьмой расстаться.
Но тьма была вокруг сильна,
Она меня в плену держала,
А ненасытная нужда
Меня бесщадно добивала.
Все-ж я не вешал головы,
Пред злом не падал от бессилья
И, как израненный орел,
Не опускал больные крылья.

II.

Я не знавал отрадной доли,
Не видел счастия лучей;
Лишь скорбь души, да сердце боли
Познал я с ранних, юных дней.
Простор полей и воздух чистый,
Сиянье голубого дня,
Журчанье речки серебристой,
Все было то не для меня!
Ковер лугов и шум дубравы
В „ночном“ и сказки, и огни,
И смех и шутки, и забавы
Я не знавал в былые дни.
Я был, как птица в душной клетке,
В чаду фабричных корпусов,
Со мной такие-ж малолетки
Тянули дни под шум основ.
Их были так же тусклы очи,
В тревоге их летели ночи,
Их не знавал румянец щек,
Был мирный сон от них далек.
Не знали мы про светоч знанья...
Красу и прелести весны...
Тяжелый труд, болезнь, страданья
В удел нам были лишь даны.
Да крик: „Работай, не ленись,
Иначе штраф или расчет!“
Так дни ненастные неслись
Под тяжким бременем невзгод.
Не знали мы, кто наш спаситель,
Когда молиться и кому?
Гудок над нами был властитель,
И мы вверялися ему.
Когда-ж машины затихали,
И шум смолкал седых паров,—
В моем уме они пылали,
Слагалась песнь из горьких слов
Под шум и фабрик, и заводов,
Под лязг машин и стали звон

Кругом я слышал плач народа,
Из грудей несся тяжкий стон!
И предо мною проходили
Толпы измученных нуждой,
Но души их прекрасны были,
Как луч весенний золотой.
Сердца их кровью обливались,
В глазах блестели капли слез...
Вдали туманы колыхались.
В выси сверкали стрелы гроз...
А братья шли и прибывали...
И стоны скорбные неслись...
Так, в царстве скорби и печали,
Мои все песни родились.

Ф. С. Шкулев.

Еврейскому рабочему.

Подай мне, товарищ, братскую руку.
Забитый, бездольный еврей!
Богач не поймет твою горькую муку,
Поймет униженный плебей.
Поймет твои вечные стоны страданья,
Утешит и горе твое,
Разделит с тобою нужду и изгнанье
И выплачет горе свое.
Поймет твои грезы, твои ожиданья,
Он так же обижен, как ты,
Он плачет, но злобно: и звуки рыданья
Его разбудили мечты.
Подай же товарищу честные руки
И дай мне тебя поддержать.
Мы вместе разделим душевные муки,
Когда будем счастье ковать.

Русский рабочий.

На заводе.

В глазах помутилось от долгой работы.
Вот черные, красные круги пошли—
Мелькают—как петли—колес обороты,
Чудовища злые зияют в пыли.
Вертись, колесо, не жалей
Усталых, голодных людей...
Вертись, вертись, вертись!
Товарищ, смотри, берегись!
Усталый товарищ задет шестерней,
Несчастному руки ломает,
Ударило в крепкий чугун головой,
Со скрежетом тело швыряет.
О небо, жестокое небо!
За корку убогую хлеба
Нас злой обрекло ты судьбе!
Проклятье, проклятье тебе!..
Ни стонов ответных, ни криков, ни слез,
И смерти тиски не разжались...
Прилипшие к рубищу клочья волос
С колесами кверху поднялись...
Смотреть мне на пытку нет мочи...
Закройтесь, закройтеся, очи!
Тени погибших одна за другой
В сетке приводов несутся, как рой...

Грохочет машина, кружатся ремни,
Как змеи — свиваясь—летят...
По мертвом поют панихиду они,
Пронзительно, дико свистят:
Костей перемолотых прах,
Покоится в крепких зубцах...
Под черной стальною плитой
Вечный, вечный покой...
Все смолкло... Греметь перестал маховик,
Недвижно висит шестерня...
Сошлися товарищи, в горестный миг
Молчание скорбно храня...
О небо, жестокое небо!
За корку убогую хлеба
Нас злой обрекло ты судьбе
Проклятье, проклятье тебе! [105])

1895 год.

Ал. Богданов.

В деревне [106]).

Осень ненастная, осень дождливая!
Серое небо по старчески хмурится...
Ветер рыдает над сжатою нивою.
В грязные лужи с печалью сонливою
Смотрит уныло безлюдная улица.
Вьюгой туманной, холодной сгустившейся
Скрыты от взоров равнины далекие...
Лес сиротою стоит обнажившийся,
Разве ворона, в кустах затаившися,
Долю зловеще клянет одинокую. .
Беден мой угол. Сквозь щели оконные
Тускло осеннее утро врывается.
Беден мой угол... Лишь день начинается,
Дробью по стеклам звенит монотонною
Изморозь, каплями слез разливается,
В окна-ль заглянешь, — уродливо, кучею
Жмутся друг к другу избенки убогие ..
Ветлы над ними склонились плакучие,
Машут ветвями над пыльной дорогою,
В крышу седыми цепляются сучьями,
Чья-то телега с соломою брошена,
Жмется в солому иззябшая курица...
Тихо вокруг... Но порою непрошенно
Вдруг встрепенется забытая улица,
С хрипом предсмертным ворота отворится,
Шлепанье лаптя по грязи послышится...
Это деревня со смертию борется,
Знать еще жизнь в ее сердце колышется.
Осень дождливая, осень ненастная!..
Холод, туманы, безлюдье унылое.
Шлепают лапти, и тени ужасные
Сердце терзают с мучительной силою...

Ал. Богданов.

1894 г. Село Спас-Александровское Сарат. губ.

Ветер.

I.

Что ты стонешь, ветер,—ты о
чем тоскуешь,
Плачем похоронным душу мне
волнуешь?
Без пути—приюта, страждущий,
бездомный
Мечешься, как голубь над рав-
ниной темной?

II.

Отвечает ветер, глухо завывая:
Много слез я видел, над землей
летая...
В городах угрюмых плач детей
голодных,
Лязг станков фабричных, свист
ремней приводных,
Безработных, нищих горестные
лица,
И из смрадных улиц--мчался я,
как птица...

III.

Мчался, долго мчался... Вижу
я селенья,
Голые равнины, нищие
строенья...
Высохшие нивы с жатвою убо-
гой,
Вихри жгучей пыли над глухой
дорогой,
Изб раскрытых крыши... Стон
рабов бездольных,
Свист шальных нагаек на ме
жах подпольных..

IV.

Я помчался дальше... Но в
стране пустынной
Вижу желтый замок, каменный
старинный...
За оградой крепкой на стезе
опальной
Внятный звон несется, звон
цепей кандальный...
Часовые ходят, сторожат мо-
гилы...
Дальше не летел я... Не хва-
тило силы... [107]).

А. Богданов.

18 апреля (1 мая 1901 г.) [108])

Печально день вставал холод-
ный, бледнолицый...
Свинцовый полумрак свивался
над землей—
Кружились облака чудовищною
птицей,
Наш праздник омрачив загадоч-
ною мглой...
Сквозь переплет окна смотрели
мы с тревогой,
Как злобились дворцы, как ве-
тер бушевал,
И падал мокрый снег над гряз-
ною дорогой,
Где часовой с ружьем докучливо
шагал,
Волна рабочего движения и
шума
Врывалася в окно, журча, как
ледоход ..
И всех одна тревожила нас
дума:
Что этот майский день с собою
принесет?..
В ответ безмолвствует и хму-
рится природа...
Вдруг чудодейственно разорван
полог туч...
Приветливо блеснул весны ян-
тарный луч.
Зовет на путь борьбы... И гре-
зится свобода!.

Петербург. Кресты. 1901.

А. Богданов.

Первое мая.

Эй, в колонны, рать стальная!
Целый год в стенах завода
Ласки дня и света солнца
Мы—как гномы—лишены...
Завтра светлый праздник мая,
Завтра—зорьки небосвода
Красным парусом заплещут,
Вещим парусом весны.
Эй, в колонны, рать стальная!
Пусть подвалы наши темны,
Выгружаем мы невольно
Плавень, уголь и руду...
Завтра светлый праздник мая!
Завтра—в небо бросят домны
Пламя алое полотнищ,
Гимны вольные труду...
Эй, в колонны, рать стальная!
Целый год челны сновали
От работы—стонет тело,
Ломят руки, давит грудь...
Завтра светлый праздник мая!
Наши мышцы—крепче стали
Шаг чеканьте! Выше древко.
Пробивайте смело путь...
Эй жена, сестра родная!
Дружно с братскою семьей
Под знамена, шаг равняя,
Вслед за мужем и отцом!
Завтра светлый праздник мая!
Взлеты чаек краснокрылых,
Перекличка мировая,
Мировой весенний гром...

1902 г.

А. Богданов.

4 марта 1901 года [109]).

Юности.

Оборван юной песни звон,
Цвет юности опал...
На паперти в тени колонн
Опричник черный встал...
Оборван юности венок,
Повержен чистый стяг...
Разбить цепей наш стан не смог...
Ликует нагло враг...
Оборван праздник красоты
Смех оргий слышен злой...
О, юность, юность! Плачешь ты,
И плачу я с тобой!..

Ал. Богданов.

8 февраля 1889 года.

Гимн.

(Посвящается Горе-Мыкину, Боголепову, Клейгельсу, Сергеевичу и прочим ревнителям отечественного просвещения).

Бейте вы правого
И виноватого,
Бейте вы бедного,
Бейте богатого,—
Бог на том свете
Всех разберет.
Бейте нагайками,
Бейте селедками,
Надо же умными
Сделать всех, кроткими,
Скажет спасибо вам
Русский народ.

Вы просвещения
Руси ревнители,
Принципов истины
Все вы носители,
Бейте направо вы,
Бейте налево,—
Да возрастет
Просвещения древо.
Вам за старание
К делу совместное,
Дружное, тесное,
Царство небесное
Бог ниспошлет.
Бейте-ж нагайками,
Бейте селедками.—
Станут все тихими,
Станут все кроткими—
Скажет спасибо вам
Русский народ.

Моск. Историко-Револ. архив.

Египет.

Над широкой рекой
Молчаливой четой
Пара сфинксов сидит,
Ухмыляется.

Фараоны кругом
Всех колотят кнутом,
Пирамидов прохвост
Отличается.

А на тех, кто потом
Недоволен кнутом,
Десять казней зараз
Насылается.

Весь народ пред бычком
Возлегает ничком,
А река каждый год
Разливается.

А в стране каждый год
Недород... недород,
И на помощь папирус
Марается.

Как Мемнон, вся печать
Звук один издавать,
Все ура, да ура
Вынуждается.

Куча мумий сидит
И дела все вершит,
А в делах лабиринт
Заключается.

А один крокодил
Нам недавно твердил,
Что законом страна
Управляется.

Так неужто-же я
Не в Египте, друзья,
Иль глаза от вина
Закрываются?!

1899.

„Дубинушка".

Удивил царь весь мир,
Как царям предложил
Уничтожить военные силы:
„Нам не нужны войска,
Будем жить, как друзья,
И забудем про силу дубины".
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая сама пойдет!
Подернем, подернем,
Да ухнем!

Но дошло до царя,
Что настала пора,
И студенты восстали за право,
Первым делом тогда
Принялся без труда
По старинному он за расправу.
(Припев...).

И дубиною той
Милосердной рукой
Пополняет полки молодежью,

И как вспомнишь порой,
Где твой друг дорогой,
Так невольно подернешься
дрожью.

(Припев...).

Но крепись, брат родной,
За твоею спиной
Мы поднимемся дружной
семьею
И сотрем произвол,
И сам царский престол
Мы сравняем с сырою землею.

(Припев...).

Чтоб в солдатских рядах
От печали не чах,
Запевай-ка родную дубину,
Вспоминая о нас,
Ожидая тот час,
Когда мы отомстим властелину.

(Припев...).

Что ни день, что ни час,
Издавая указ,
Царь врагов сам себе наживает,
И в России давно
Страшной злобой полно
Все, что мыслит, живет и страдает.

(Припев...).

Нет, зачем нам страдать
И себя продавать,
Слепо идя во власть произвола!
Не пора-ли начать
Нам народ созывать?
Для борьбы уже почва готова.

(Припев...).

И не в день и не в год
Тот рабочий народ
Весь готов для борьбы за свободу!
И, ведь, долг наш восстать
И ему помогать
Сбросить с плеч вековую невзгоду!

(Припев...).

Но ведь правда, друзья,
Что сей песни слова
Не должны оставаться лишь
звуком,
И настанет пора,
Когда наша семья
Вся восстанет, идя друг за
другом!

(Припев...).

* * *

Лес рубят,—молодой, нежнозеленый лес...
А сосны старые понурились угрюмо
И, полны тягостной, неразрешимой думы,
Безмолвные, глядят в немую даль небес.

Лес рубят... Потому-ль, что рано он шумел?
Что на заре будил уснувшую природу?
Что молодой листвой он слишком смело пел
Про солнце, счастье и свободу?

Лес рубят... Но земля укроет семена:
Пройдут года, и мощной жизни силой
Поднимется берез зеленая стена
И снова зашумит над братскою могилой [110]).

Г. А. Галина.

Дознание [111]).

(Сказка).

До грозной Щуки весть дошла,—
— Доносчикам вечным хвала!—
Что, дерзким воспылав задором,
Карась задумал заговором
Искоренить весь щучий род.
„Что скажет добрый наш народ
Про этих бунтарей коварных,
Безбожников неблагодарных!
Не бог-ли власть нам, щукам, дал
Над всеми рыбами в реках?
Ах, он, проклятый радикал!
Он завтра-ж будет в кандалах!
И я клянуся головою,
Что этот заговор раскрою!"
Так наша Щука вопиет
И Карася к себе зовет.
Карась был бунтовщик отважный,—
Он не сробел перед судом;
Последствия ему не важны...
Он молит бога об одном:
Чтоб заговор открыться бы не мог.
Карась был честен,—видит бог!
— „Свою виновность отрицать,
Карась, вы будете едва-ли?"
— „Почтительно прошу сказать,
За что меня арестовали?"
У Щуки точных данных нет,
Но говорит она в ответ:
— „Любезнейший, я очень уважаю,
Да было-б то известно вам,
Всех тех, кого я привлекаю
По политическим делам,
Хотела-б всей душой своей
Окончить следствие скорей;
Вы сами тормазите дело!
Вы рассказать должны мне смело
О всем. Я друг вам, а не враг!
Не слушайте всех рыбьих врак.
Вы скажете мне: „Отрицаю!"
Но я-то ведь отлично знаю,
Что вы замешаны кой в чем,
Конечно, в очень небольшом...
Но слыша ваши отрицанья,
Я прилагаю все старанья,
Чтобы улики подыскать.
И может быть... Кто-ж может знать!
При этом может ведь открыться,
Что мне теперь во сне не снится...
А кто заставил нас копаться?..
Нет, лучше вам самим сознаться,
Любезнейший мой карасек!..
— „Тебя надую, куманек!
Я на себя вину приму,
Но целый заговор спасу...
Я прокламации читал!"
Карась, подумавши, сказал.
— „Ну, а знакомы-ли с Ершом?"
— „Коли скажу, что не знаком,
Возникнут хуже подозренья;
Сознаться лучше, без сомненья...
Я смолоду его знавал
И часто у него бывал!"
— „Где виделись в последний раз?"
— „Конечно, проследили нас;
Да не станут гнать козявку".
Карась тотчас назвал Селявку.
— „У ней недавно вместе были
И за здоровье ваше пили;
Болтали долго всякий вздор —
Невинный самый разговор;
— Чтоб показать, что он таков,
Я приведу десяток слов"...
И Щуке рассказал Карась
Как он, к Селявке обратясь,
Сказал, что он у берегов
Недавно видел рыбаков.
Тотчас-же Щука шлет приказ
Ерша с Селявкой тайно взять.

— „Я научу, мерзавцы, вас,
Как заговоры затевать!“
Ерш взят на месте преступленья:
Он весь, от ног до головы,
Одет, как будто для сраженья,—
Не скрыл он ни одной иглы.
— „Зачем оружие хранили,
Скажите, Ерш, вы у себя?“
— „Так предки все мои ходили,
Порода такова моя!“
— „Но для спокойствия опасно
Хранить оружье у граждан;
И уж, конечно, не напрасно
Был циркуляр об этом дан!“
— „А как его я мог читать?
Я жил один в глуби затона...“
— Никто не может оправдать
Себя незнанием закона!
Но к сожаленью не в одном,—
Вас обвиняют также в том,
Что тайно вы образовали
Сообщество и что желали
Произвести переворот
В порядках мирных здешних вод;
Я уж давно веду дознанья...
Вот здесь все эти показанья!
Детали все уж знаю я.
Вы можете вину свою
Сознаньем облегчить...“—„Себя
Виновным я не признаю!“
— „А между тем уж нет сомненья,
Что вы свершили преступленья!
И ваши многие друзья
Сознались; в том клянусь я вам;
Вот вам...“ и Щука прочитала
Все, что от Карася узнала.
„А, значит, предал он, подлец!“
Вскричал обманутый боец!
„Уж видно показанья честны,
Коли и мелочи известны!“
Ему и в мысли не прийти,
Что только мелочи одни.
„Так знайте-ж вы: весь этот строй
С его мертвящею нуждой
И с деспотизмом вашим гнусным
Я презираю! Вам послушным
Не буду! Да, мы замышляли!
Но отыскать нас всех едва-ли
Удастся вам! Карась предать
Хотел, но он не мог назвать,
Кто третий с нами был тогда,
И не узнать вам никогда!“
— „А... значит трое вас, друзья!“
Смекнула Щука про себя.
„... И если-б вы меня пытали,
Вы ничего бы не узнали!...“
Селявка чуть не обмерла,
Когда была приведена.
Клялась святыми, небесами,
Она преступными делами
Не занималась и не знала,
За что в тюрьму она попала.
— „Да, тяжки наши обвиненья;
К вам быть не может снисхожденья.
Ведь вы стояли во главе,
Все это ведь известно мне!“
— „Но мне-ли, мне-ль, Селявке малой,
Такою тешиться забавой?
— И кто бы слушать стал меня?
Свидетель бог—невинна я!“
— „Эх, дура, дура! Вижу сразу;
Но прежде я тебя поглажу!..
О нет! Напрасно вы так скромны,—
Вы образованы, способны;
Я это вижу по всему,
Дивлюсь я вашему уму!
И все товарищи твердят,
Что вас они боготворят!“
— „Но кто-же, кто?“ — „Ну, Ерш, Карась!...
Сказала Щука, горячась.
„Ну, да... прибавила она,
Какая-б ни была вина,
Пока еще не будет поздно,
Исправить это дело можно,
При том условии, конечно,
Что вы сейчас чистосердечно
Свои ошибки объясните!“

— „Я рада; в чем они, скажите?“
— „В квартире вашей как-то было
Собранье...“ — „Право, я забыла!..“
— „Был Ерш, Карась, а третий, кто?
Вы нам должны назвать его,
Или поплатитесь сама...“
Селявка назвала Сома...
Но я не точен! По прозванью
Она не знала звать его,
И Щука лишь по описанью
Врага узнала своего.
„Скажите! Сом! И кто-б узнал,
Что он опасный радикал?
Подумать это просто больно!
Ему-ли не жилось привольно?“
Он лично Щуке был знаком
И сам жил маленьким князьком!—
Но время нечего терять,
Сома пришлось арестовать.
И что-же, что-же оказалось?
В его квартире сохранялось
Все, что всего было важней
Для заговорщиков-вождей:
И около двухсот страниц
Документов, и списки лиц,
Которым можно доверять
И поручения давать.
И что-же? Выбор был не плох:
Сома кто-ж заподозрить мог?
И если-б не попутал грех
Ерша и Карася, то.. Эх!
Да в том-то, ведь, и вся беда
Бывает ваша, господа!
Вы честны, смелы — грех сказать.
Но не умеете смолчать!.. [112]).

Пескарь.

„На тя, господи, мы уповаем“ [113]).

Задремал господь бог от трудов и забот,
И в раю все затихли, как мыши,
Смотрит строго и Петр, ключарь райских ворот,
Чтоб ходили на цыпочках тише.
Вдруг стрелою архангел влетел Гавриил,
Растолкал всех святых по дороге.
Стуком, грохотом господа он разбудил
И предстал перед ним весь в тревоге.
„Что такое? Потоп! Изверженье! Провал!..
Ты откуда сейчас?“—„Из России.
Ах, мой бог, мой отец, там ужасный скандал,
Бьют Россию японцы косые,
И за что, рассуди это дело, как свет.
Ни на что ведь оно не похоже!
Что на русский народ столько послано бед,
За какую провинность, о боже!
Куропаткин наместник, сбираясь в поход,
Отслужил девяносто молебнов.
И в Москве он молился у Спасских ворот,
И в соборе псалом пел хвалебный,
А икон... три вагона с собой он повез,
Хоть потом позабыл в Ляояне,
И к тебе, что ни вечер, взывает до слез,
Находясь пред врагом в своем стане!

Но, увы! Не сразил он язычников злых.
Сам был ими все время сражаем!
Ну, а все же твердит при невзгодах таких:
„На тя, господи, мы уповаем“.
Ах, мой бог! Мой отец! Снизойди, посмотри,
Обрати ты на русских вниманье,
Руку помощи сильную им протяни,
И услышь их мольбы и стенанья,
Вот взгляни: на угрюмых и диких скалах
Умирает солдат позабытый.
В потускневших открытых глазах
Виден ужас войны пережитой.
Вся окрестность кругом и мертва и пуста,
Вьются коршуны всюду и стаем,
И твердят перед смертью бедняги уста:
„На тя, господи, мы уповаем!“
Слышен голос: то царь Николай—сам второй,
Чем прогневал тебя он, о, боже!
Что послал на него ты такой мордобой,
Да еще от кого? Желтокожих!
А уж он на тебя всей душою своей
И всем сердцем своим уповает,
Указал сам пример почитанья мощей
И святых без конца умножает!..“
Так докладывал богу крылатый гонец,
А господь хмурил брови седые,
И, подумав, сказал, наконец,
Гласом строгим слова таковые:
—„Отправляйся в Россию обратно, гонец,
И скажи ты царю Николаю,
Что покуда на нем самодержца венец,
С ним сношений иметь не желаю,
А насчет умноженья святых и мощей,
И моленьем победу соделать,
Передай чудаку, что подобных вещей
С здравым смыслом нельзя теперь делать.
А народу ты русскому так передай,
Что похуже в грядущем с ним будет,
Если он от глупцов не избавит свой край
И свободу себе не добудет“.

Моск. Рев. Архив.

* * *

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Подобно ракам и омарам
В душе с отвагой, в сердце с жаром
Мы пятимся назад!?
Ведь после каждой сильной схватки
Мы от японцев без оглядки,
Хоть в полном боевом порядке,
Бежим, бежим, как куропатки—
Пускай нам целят в зад.
Ну что-ж, мой друг, чего же проще,—
Мы понадеялись на мощи
И клали низкие поклоны,
А вместо пуль для обороны
Везли с собой одни иконы!
Подвел нас Серафим!

Дело было у Артура.

Дело было у Артура,
Дело славное друзья,—
Того, Ноги, Камимура
Не давали нам житья!
  Мы с соседкой желтолицей
  Подралися за царя,—
  „Полечу я вольной птицей
  Да за синие моря“.
Приказали нам от брега
Удалиться в два часа,
„Пропадай моя телега,
Все четыре колеса!“
  Тут стоял „Варяг“ железный,
  Охранял „Кореец“ нас—
  „Выходи, о друг мой нежный,
  Уж пробил свиданья час!“
И враги рукою властной
Потопили сразу двух,—
„Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный дух!“
  И пустился в путь-дорогу
  Сам Макаров, наш герой,—
  „Дам тебе я на дорогу
  Образок святой!“

Вот он прибыл. С кораблями
В море вышел, наконец—
„Рыболов ли взят волнами,
Или хмельный молодец!“
  Приумолкла балалайка,
  Что звучала на всю Русь,—
  „Делать нечего, хозяйка,
  Дай кафтан,—уж поплетусь!“

Куропаткин горделиво
Прямо в Токио спешил,—
„Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил!“
  Вот уж он на ратном поле,
  Слава северных дружин—
  „Страшно, страшно поневоле
  Средь неведомых равнин!“

А наместник удирает
Без возврата, господа,—
„Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда!“
  Куропаткину обидно,
  Что не страшен он врагам,—
  „В поле бес нас водит, видно,
  Да кружит по сторонам!“
А Ойяма наступает
Ночью и при свете дня,—
„Посмотри, вон-вон играет,
Дует, плюет на меня!“
  А китаец, как хозяин,
  Раскричится на меня,
  „Что ты ночью бродишь, Каин—
  Чорт занес тебя сюда!“
От Артура до Мукдена
Отступали мы толпой,—
„Провалилась Аграфена,
Да ни с чем пришла домой!“
  Порт-артурцы долго ждали,
  Да устали чересчур—
  „И уж яйца вздорожали
  И осталось мало кур!“

И набравшись страху вволю,
Стессель сам пошел к врагу,—
„Мне и хочется на волю,
Цепь порвать я не могу!“
  Дружбу вы мою примите,
  Изменять я не могу!
  „Как хотите, стерегите,
  Я и сам не убегу!“

Приготовлена уж лодка
В Нагасаки и домой,—
„Ну, садись, моя красотка,
Только рядышком со мной!“
  С Порт-Артуром распрощался,
  Получил большущий нос,—
  „Гром победы раздавайся,
  Веселися, храбрый росс!“

Ходят пленные, как тени,
Без отчизны, без семьи.—
„Ах, вы сени, мои сени,
Сени новые мои!“
  Генералов вереница,
  Офицеров без конца,—
  „Спой мне песню, как синица
  Тихо за морем жила!“

Грустно, вяло и несмело
Наша рать пустилась в путь—
„Ноги босы, грязно тело
И едва прикрыта грудь!“

Работало на солдата
Интендантство без греха,—
„Хороши наши ребята,
Только славушка плоха!“

Каменьщик.

— Каменьщик, каменьщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? кому?
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.
— Каменьщик, каменьщик с верной лопатой,
Кто-же в ней будет рыдать?
— Верно не ты, и не твой брат, богатый.
Незачем вам воровать.
Каменьщик, каменьщик, долгие ночи
Кто-ж проведет в ней без сна?
— Может быть сын мой, такой же рабочий,
Тем наша доля полна.
— Каменьщик, каменьщик, вспомнит, пожалуй,
Тех он, кто нес кирпичи!
— Эй, берегись! под лесами не балуй...
Знаем все сами, молчи!

В. Брюсов.

1902 г.

Кинжал.

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

Ф. Тютчев.

Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок.

М. Лермонтов.

Он вырван из ножен и блещет вам в глаза,
Как и в былые дни, отточенный и острый.
Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестры.
Когда не видел я ни дерзости, ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века загадочно былые.
Как ненавидел я всей этой жизни строй,
Позорно мелочный, неправый, некрасивый,
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,
Не веря в робкие призывы.
Но чуть заслышал я заветный зов трубы,

Едва раскинулись огнистые
знамена,
Я отзыв вам кричу, я—песенник борьбы.
Я вторю грому с небосклона.
Кинжал поэзии! кровавый молний свет,
Как прежде, пробежал по этой
верной стали,
И снова я с людьми—затем,
что я поэт.
Затем, что молнии сверкали!

В. Брюсов.

1903 г.

На новый 1905 год.

Весь год прошел, как сон кровавый,
Как глухо душащий кошмар,
На облаках, как отблеск лавы,
Грядущих дней горит пожар.
Как исполин в ночном тумане,
Встал новый год, суров и слеп,
Он держит в беспощадной длани
Весы таинственных судеб,
Качнулись роковые чаши,
При свете молний взнесены:
Там жребии врага и наши,
Знамена тяжкие войны,
Молчи и никни, ум надменный!
Се—высшей истины пора!
Пред миром на доске вселенной
Веков азартная игра,
И в упоении, и в страхе
Мы, современники, следим,
Как вьется кость, в крови и
прахе,
Чтоб выпасть знаком роковым.

Декабрь 1904 г.

В. Брюсов.

ГЛАВА II.

9-ое Января 1905 года.

„На улицах мертвого города, созданного рабами, на улицах, в которых царила жестокость, росла и крепла вера в человека, в победу его над собой и злом мира.

И в смутном хаосе тревожной, безрадостной жизни яркой, веселой звездой, путеводным огнем в будущее сверкало простое, глубокое, как сердце, слово „Товарищ“!

М. Горький.

9-е января 1905 года.

Мне снился сон: рабочие, толпами,
С хоругвями, с иконами в руках,
Уверенными, смелыми шагами
Шли ко дворцу—к царю, с молитвой на устах.
Их жизнь была тяжка. Обиды, оскорбленья
И гнет нужды давил... и мрак, и тьма кругом...
И вот решили все просить о сожаленьи,
И впереди пошел священник их с крестом.
И вышел к ним их царь. Он говорил с народом.
Чем больше слушал он — тем все грозней смотрел...
„Довольно!“ наконец сказал.—„Конец невзгодам.
Получит много тот, кто больше всех терпел!“

Мне снился сон... Но вдруг картина изменилась:
Я услыхала шум, стрельбу, проклятья, стон,
Нагаек свист вокруг... Я в страхе пробудилась.
Да, это на яву! А то—был только сон...

* * *

Вечная память погибшим борцам за свободу!
Вечная память убитым и в тюрьмах скончавшим свой век!
Отдали жизнь вы за счастье и благо народа,
Память о вас не умрет, пока жив на земле человек!

А. Свободина.

Слава вам, святые рабочие
руки!
Из тьмы вековой,
Из ужаса мрачной придавлен-
ной муки
Вы вызвали голос живой:
Свобода! Свобода!
На гордых и честных плечах,
Презревши глухую невзгоду,
Насилье, гоненье и страх.
Несли вы отчизне свободу.
Свобода! Свобода!
С вами, как друг ваш, как
брат,
Шла светлая молодость в ногу.
Вам злоба кричала: „Назад!“
Любовь открывала дорогу.
Свобода! Свобода!
Голодные, шли вы вперед,
Как шли крестоносцы на битву,
Вам гимн мое сердце поет,
Душа вам слагает молитву.
Свобода! Свобода!
Горе падшим, слава павшим!
Побежденный победит.
Вам отважным, смерть приняв-
шим,
Луч бессмертия горит.
Свобода! Свобода!
Слава вам, слава, святые ра-
бочие руки!
Из тьмы вековой,
Из ужаса мрачной, придавлен-
ной муки
Вы вызвали голос живой:
Свобода! Свобода!

А. Федоров.

Красный снег.

Как прилив могучий
Шел и шел народ,
С детски-ясной верой
Все вперед, вперед,
Чтоб врага свободы
Поразить в бою,
Нес одно оружье—
Правоту свою...
Непорочно-белый
Снег кругом лежал;
Воздух чуть морозный
Еле трепетал.
Вдруг ряд залпов грянул!
Меток был прицел:
Как под бурей листья,
Пали груды тел!
Юноши и дети,
Жены, старики
Бездыханны пали
От родной руки.
За одно лишь слово
Отнят белый свет:
„Жить в ярме постылом
Больше мочи нет!“
Тупо взор уставя
В обагренный снег,
Мы стояли, молча...
Миг один иль век?
-- Каин! Что ты сделал?!
Прячась, словно тать,
Божьего проклятья
Смоешь ли печать?
Знай: покаместь в жилах
Капля крови есть,
Мысль одну мы держим—
Про святую месть!
У престола бога,
В утро райских нег,
Все мы видеть станем
Этот красный снег.

П. Якубович.

На десятой версте от столицы.

(Памяти жертв 9-го января).

На десятой версте от столицы
Невысокий насыпан курган...
Его любят зловещие птицы
И целует болотный туман...
В январе эти птицы видали,
Как солдаты на поле пришли,
Как всю ночь торопливо копали
Полумерзлые комья земли,
Как носилки, одну за другую,
С мертвецами носили сюда,
Как от брошенных тел под землею
Расступалась со свистом вода,
Как холодное тело толкали
Торопливо в рогожный мешок,
Как в мешке мертвеца уминали,
Как сгибали колена у ног...
И видали зловещие птицы
(Не могли этой ночью заснуть!),
Как оледенели солдатские лица.
Как вздыхала солдатская грудь.

* * *

На десятой версте от столицы
Невысокий насыпан курган...
Его любят зловещие птицы
И болотный целует туман.
Под глубоким пушистым налетом
Ослепительно-белых снегов
Мертвецы приютилися—счетом
Девяносто рогожных мешков.
Нераздельною братской семьею
Почиют они в недрах земли:
Кто с пробитой насквозь головою,
Кто с свинцовою пулей в груди...
И зловещие видели птицы,
Как в глубокий вечерний туман
Запыленные, грязные лица
Приходили на этот курган...
Как печально и долго стояли
И пред тем, как с холма уходить,
Все угрозы кому-то шептали
И давали обет отомстить...

* * *

На десятой версте от столицы
Невысокий насыпан курган...
Его любят зловещие птицы
И болотный целует туман...
В мае птицы зловещие эти
У кургана видали народ,
И мельканье противное плети,
И пронзительный пули полет;
Как, измучившись тяжкой борьбою
И неравной—толпа подалась,
Как кровавое знамя родное
Казаком было втоптано в грязь...
Но зловещие птицы узреют—
И близка уже эта пора—.
Как кровавое знамя завеет
Над вершиной родного холма!

П. Эдиет.

Телами нашими устлали мы дорогу
И кровью наших жил спаяли вам мосты.
Мы долго молча шли, взывая только к богу,
И нам во след легли могилы и кресты.
Порабощенные мы с петлею на шее,
В цепях, во тьме—брели без песен боевых...
Погибло много нас—зато теперь светлее!
И вот идете вы, рать новых, молодых!
Так много вас теперь, что дрогнуло все злое...
Идет гроза небес, близка борьба громов!
И ваша песнь звучит, как при начале боя
В горящем городе набат колоколов.
Идите же смелей и пойте песнь свободы.
Ведь только для нее, страдая, гибли мы,
Лишь этих песен мы в былые дни невзгоды
Так страстно жаждали под сводами тюрьмы.

Скиталец (С. Г. Петров).

9-е Января.

Промчался год, как дикий сон кошмарный;
Безумный бред измученной земли.
Справляем тризну мы. . Вступая в бой неравный,
Товарищи,—вы первыми легли!
Вы пали жертвою своих туманных снов;
Мечты наивные и сказки вас сгубили.
Но пули деспотов, сразившие отцов,
Детей от сказок излечили!
Растерзанные сворой одичалой
Убийц и палачей, — младую жизнь губя,
Вы положили грань своею кровью алой
Меж верой в деспотов и верою в себя.
И родина все брызги вашей крови
В свой шлем воинственный, рыдая, собрала,
Горстями полными по нивам разбросала...
И капля каждая героя родила!
Поднялась смелыми и гневными рядами
Борцов уверенных бессчисленная рать,
Не с верой в призраки, но с гордыми мечтами
Весь мир завоевать,
Срыть тюрьмы, крепости с их ржавыми цепями,
Дворцы преобразить в народные дома...
Смотрите, деспоты! Уж меч взвился над вами
Свободного и гордого ума!
Пигмеи, карлики, ничтожество творенья!
Вы, блохи черные! Вы, безобразный сброд!
Не вам остановить великое движенье!
Не вам остановить проснувшийся народ!

Стреляйте, вешайте, казните, жгите, режьте,
Купайтеся в крови!.. Ваш час уже пробил,
И месть суровая над вами меч заносит
Из глубины безвременных могил...
Покойтесь, павшие, в могилах мирным сном.
Вы пали первыми, бесстрашными рядами...
Клянемся вам: свободными споем
Мы „память вечную“ над вами [114])!

С. И. Гусев-Оренбургский.

1906 г. № 3 „Жупел“.

В подпольи [115]).

Посвящается тов. А. А. Жулковскому.

Свет подпольный, потаенный и скупой...
День иль ночь вверху—не все ли нам равно?
Глубоко в земле, в камнях подвал слепой,
От ищеек скрыто наглухо окно—
День иль ночь вверху, не все ли нам равно?

Близ завода мы работаем тайком,
Строим плотными колоннами свинец,
Наберем, сверстаем, снова разберем...
Что ни буква — то испытанный боец...
Близ завода мы работаем тайком,

Дружно, мерно буквы строятся в полки...
Торопися, друг, быстрее набирай!..
К спеху надобны рабочие листки—
Только раз в году бывает месяц Май...
Эй, ты, армия свинца, не уставай!

Сколько смелых, огневых, разящих слов!
Сколько дум таит убористый петит...
Мы зальем завод потоками листков.—
В каждой букве, в каждой строчке динамит.
Больше, больше огневых разящих слов!

Свет подпольный, ров потемный прячут нас...
Не нагрянули-б в подполье невзначай...
Торопись же, не смыкай в работе глаз!
Только раз в году бывает месяц Май!
Эй ты, армия свинца, не уставай!

А. Богданов.

1904 г.

В отчаянии.

Я на распутии стою,
Как нищий с торбой и без хлеба.
На долю сетуя свою,
Молю разгневанное небо:
— О ниспошли хоть проблеск дня;
Печаль и скорби одолели!
Всю жизнь преследуют меня
Одни суровые метели.
Когда же мытарству исход?
Ужели выстрадано мало,
И слово мощное „вперед“
Быть путеводным перестало?
Ужели долгий век труда
И чашу выпитого горя
Умчит с собою навсегда
Волна хохочущего моря?
Мне дальше некуда итти,
Длинны и тонки перелоги.
Назад—заказаны пути,
Вперед—не слушаются ноги.
Не окрыляют и мечты,
Что были дороги и святы,
Надежд душистые цветы
Последних бурь порывом смяты.
В груди остывшей песни нет,
Умолкли трепетные звуки,
Издалека закатный свет
Напоминает о разлуке.
Так для чего же я страдал,
Борясь с неправдой лютой годы.
И песни громкие слагал
Во имя правды и свободы?
Ужель идея—шалый бред,
А жизнь — страданье без границы;
Великой истины завет
Витает притчей во языцех?
О, не хочу я верить—нет—
Чтоб я погиб во тьме туманной.
Туда, туда, где блещет свет,
Вперед! к земле обетованной!

Нечаев.

1904 г.

Песня пролетариев.

Кто золото добыл для царской короны?
Кто сталь для солдатских штыков отточил?
Воздвиг из гранита и мрамора троны,
Облившийся потом за плугом ходил?
Кто дал богачам и вино, и пшеницу,
И горько томится в нужде безисходной?
Не ты-ль, пролетарий, рабочий голодный!
Кто с ранней зари и до поздней полночи
Стонал, надрываясь под грохот машин?
Тяжелым трудом ослеплял себе очи,
Чтоб в роскоши жил фабрикант господин?
Кто мощно вертит колесо мировое
И гибнет бесправным, как червь непригодный?
Не ты-ль, пролетарий, рабочий голодный!
Кто гнету насилий века обрекался,
В оковах неволи боролся и жил,
На Дальнем Востоке геройски сражался
И кровь неповинную жертвенно лил?

О, скованный пленник! Титан невосставший—
Обман ненавистный сомкнул твои очи...
Проснись, пролетарий, к оружью, рабочий!
Проснитесь! Сбирайте дружину с любовью!
Под знаменем красным клянитесь, кто смел,
Клянитесь, клянитесь, что купите кровью
Свободу и лучший рабочий удел...
Клянитесь, что царство бесправья погибнет,
Что будем мы строить мир новый, свободный...
К оружью, к борьбе пролетарий голодный!
Пусть пламя борьбы разрастется пожаром
И бурей пройдет среди братьев всех стран...
Смелее, к победе! Мы бьемся не даром,
Могуч и един наш воинственный стан.
Пусть враг нас встречает предательством черным,
Победа за нами, за силой народной!
Победа близка, пролетарий голодный!

А. Богданов.

1905 г.

Мертвый город.

Безмолвный свет луны струится с неба скудно.
Бесшумно мрак ползет по каменным стенам.
Озябшие огни дрожат по сторонам...
На тусклых улицах пустынно и безлюдно:
Следы кровавых дел сокрыть во тьме не трудно,
Бояться некого убийцам и рабам.
Толпа рассеяна... Спит город непробудно:
Все спрятались давно по сумрачным домам.
Холодный ветер зол. Он мечется в тумане,
По проводам стальным загадочно гудит...
Багровые костры горят во вражьем стане.
Тяжелый шаг солдат по мостовой гремит.
И в мутной злобной тьме, как в черном океане,
Опять владычит ночь... И мертвый город спит.

В. Башкин.

Время битвы.

Наше злое время—время лютой битвы.
Прочь кимвал и лиру! гимнов не просите,
Золотые струны на псалтире рвите!
Ненавистны песни, не к чему молитвы.
О щиты мечами гулко ударяя,
Дружно повторяйте клич суровой чести,

Клич, в котором слышен голос
кровной мести,
Клич, в котором дышит сила
огневая.
Песни будут спеты только после
боя,
В лагере победы, — там огни
зажгутся,
Там с гремящей лиры звуки
понесутся,
Там польется песня в похвалу
героя.
Над телами-ж мертвых, ночью
после сечи,
Будет петь да плакать только
ветер буйный
И, плеща волною речки тихо-
струйной,
Поведет с лозою жалобные
речи.

Федор Сологуб.

ГЛАВА III.

Октябрь 1905 года.

Товарищ.

Как ветер весенний, нежданно и ново,
Меж ними промчалось священное слово,
Заветное слово одно:
„Товарищ!“
Как песня звучит нам оно.
В нем—пылкая вера и жар упованья,
Гроза мятежа, торжество ликованья
И братьям от братьев привет:
„Товарищ!“
Прекраснее имени нет.
Оно неразлучно со знаменем красным,
С восторгом народным кипучим и страстным,
И с бурею гнева его...
„Товарищ!“
Нам братство дороже всего...
Мы выкуем счастье родимому краю,
Чтоб стала подобна чудесному раю
Свободная наша страна.
„Товарищ!“
Мы—сила, мы—воля одна.

Д. Семеновский.

Гимн рабочих.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Наша сила, наша воля, наша власть.
В бой последний, как на праздник, снаряжайтесь!
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть.
Станем стражей вкруг всего земного шара
И по знаку, в час урочный, все вперед!
Враг смутится, враг не выдержит удара,
Враг падет, и возвеличится народ.
Мир возникнет из развалин, из пожарищ,
Нашей кровью искупленный новый мир.

Кто работник, к нам за стол!
Сюда, товарищ!
Кто хозяин, с места прочь!
Оставь наш пир!
Братья-други! Счастьем жизни
опьяняйтесь!
Наше все, чем до сих пор владеет враг.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Солнце в небе, солнце красное—
наш стяг.

Н. Минский.

Девушка в белом.

17 октября 1905 г.

Шелестом красных знамен
День был октябрьский обвеян—
Шествием стройных колонн
Город с утра пробужден,
Весел и самонадеян...

—

Море рабочих голов,
Море—восторгов и песен,
Бодрых, ликующих.
Море—огня и цветов...
День был — как сказка — чудесен...

—

Вечером—ужас пахнул...
Дрогнули стены и люди...
Дикий разнузданный гул...
Город в крови утонул...
Вырвались вопли из груди...

—

Кто эта девушка в белом?
Кто ее розы сорвал?..
Кто над трепещущим телом
Черною тенью витал?
Кто эта девушка в белом?

—

Дальше метнулся поток...
Рыщут голодные звери...
С треском ломаются двери,
Новые жертвы у ног...
Злобой клокочет поток...

—

Брошена девушка в белом...
Бродит в безумии мать...
Жутко в дому опустелом...
Больше здесь нечего взять...
Брошена девушка в белом.

А. Богданов.

Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих,
Тот играет в бесчестно-двойную
игру.
Он чужое берет, на чужое довольно охочих,
Он свободу берет, обагренную
кровью рабочих,
Что-ж, бери, всем она, но скажи:
„Я чужое беру.“
Да, свобода для всех, навсегда
и однако-ж вот эта свобода,
И однако-ж вот эта минута —
не комнатных душ,
Не болтливых, трусливых, а
смелых из бездны народа,
Эта воля ухвачена с бою, и эта
свобода
Не застольная речь краснобая,
не жалкий извилистый уж.

Это кровь, говорю я, посмевших и вставших рабочих.
И теперь, кто не с нами, тот шулер, продажный и трус.
Этих мирных, облыжно-культурных, мишурных и прочих
Я зову: „Старый сор!“ И во имя восставших рабочих
Вас сметут. В этом вам я, как голос прилива, клянусь.

К. Бальмонт.

Соборный благовест.

1.

Давно в тени блуждая дикой,
Вдали от шумного жилья,
Внезапно благовест великий,
Соборный звон услышал я,
Охвачен трепетным смятеньем,
Забывши тесный мой шалаш,
Спешу к проснувшимся селеньям,
Твержу: —Товарищи, я ваш!..
Унынье темное уснуло,
Оставил душу бледный страх,—
И сколько говора и гула
На перекрестках и путях!

2.

Клеветники толпою черной
У входа в город нам кричат:
— Вернитесь! то не звон соборный,
А возмущающий набат. —
Но кто поверит лживым кликам?
Кому их злоба не ясна,
Когда в согласии великом
Встает родимая страна?
В толпе благим вещаньям внемлют.
Соборный колокол велик,
Труды бесстрашные подъемлют
Его торжественный язык.
Он долго спал, над колокольней
Зловещим призраком вися,
Пока дремотой подневольной
Кругом земля дремала вся.
Свободный ветер бури дальной,
Порою мчась издалека,
Не мог разрушить сон печальный,
Колыша медные бока,
И лишь порою стон неясный
Издаст тоскующая медь,
Чтобы в дремоте безучастной
Опять бессильно онеметь.
Но час настал, запрет нарушен,
Разрушен давний тяжкий сон,
Порыву гордому послушен
Торжественно-свободный звон.

4.

Слепой судьбе противореча,
Горит надеждами восток,
И праздник радостного веча,
Великий праздник не далек.
Он куплен кровью наших братий,
Слезами матерей облит,
И вопль враждующих проклятий
Его победа не смутит.

Федор Сологуб

1905 год.

Война на два фронта велась в этот год:
Сначала с врагами спиной воевали,
Потребовал прав и свободы народ...
Стреляли!
На земские съезды была полоса,
Они депутатов к царю посылали,
Свободно звучали там их голоса...
Стреляли!
С японцами мир заключили потом,
Народную Думу созвать обещали;
Проведал народ о желаньи таком...
Стреляли!
Насупился тучей рабочий народ:
Закрылись заводы, усадьбы пылали.
Скакали казаки и взад и вперед...
Стреляли!
Солдаты, матросы — последний оплот,
„Потемкин", „Очаков" права заявляли.—
Им выдали мыла... И в собственный флот
Стреляли!
Поднялся всеобщий бушующий вал,
Тогда манифест о свободе издали.
Упившись свободой, народ ликовал...
Стреляли!
Потом отобрали весь ворох свобод,
Поставили пушки, войска разослали...
И долго, упорно в дома и народ
Стреляли!

Памяти Н. Э. Баумана[116]).

Гордый, могучий борец за свободу
Умер в борьбе за великий народ...
Вышел он в поле в тяжелые годы
С криком призывным: — „Вперед!"
Двигаться было и страшно и трудно,
Грудь надрывалась... но голос звучал
В этом тумане так смело и дружно!..
Взяться за дело великое звал...
Годы тюрьмы... эти мрачные годы...
Всякий, кто честно и смело служил
Делу могучему, делу свободному,
Ужас их весь пережил...
Только что луч показался свободы,
Только что весь встрепенулся народ,
И задрожали тюремные своды,
Вышел ты смело вперед...
Вышел... И гордо погиб за свободу
Подлой сраженный рукой!..
Спи безмятежно, защитник народа,
Честный рабочий-герой!..

Спи!.. Если гибнут великие силы,
Гибнут геройски за свет, за народ...
Гибнут... но даже у края могилы
Падают с криком призывным „Вперед!“

Так и орел, пораженный стрелою,
В темном туманном ущелии гор,
С криком последним, с последней слезою
К небу бросает сияющий взор...

А. Истомин.

Довольным.

Мне стыдно ваших поздравлений,
Мне стыдно ваших гордых слов!
Довольно было унижений
Пред ликом будущих веков!
Довольство ваше – радость стада,
Нашедшего клочек травы.
Быть сытым — больше вам не надо,
Есть жвачка—и блаженны вы!
Прекрасен, в блеске грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон,
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон:
Но ненавистны полумеры,
Не море, а глухой канал,
Не молния, а полдень серый,
Не агора, а общий зал.
На этих всех, довольных малым,
Вы, дети пламенного дня,
Восстаньте смерчем, смертным шквалом,
Крушите жизнь—и с ней меня!

В. Брюсов.

18 октября 1905.

По Мойке.

Там, где Мойка катится
Меж гранитных плит,
Там стоят два здания...
Безобразный вид...
Зданье двухэтажное.
Близ—городовой,
С виду—умилительный,
С черной бородой.
Далее вдоль улицы
Скверные с лица
Сыщики и сыщики
Видны без конца.
Там, где Мойка катится
Меж гранитных плит,
В зданьи желтокаменном
Дурново сидит.
На подъезде—сыщики,
В зале за столом,
Под постелью, вешалкой,
Словом, полон дом.
Сыщики ретивые,
В синих все очках,
Выражают преданность,
Выражают страх.
Дети революции
Тронут-ли его,
Генерала-сыщика
Пьера Дурново?
Перейдем насупротив...
Сыщики и тут:
Гордо подымается
Здесь военный суд.

Сыщики и сыщики...
Кину-ль вправо взор:
Вон—наряд гороховый;
Вон стоит дозор...
Влево—боже праведный!
Сыщики кругом:
В фонарях, за окнами,
В доме, за углом.
В суд вхожу-ль с опаскою:
Вижу—судьи в ряд...
Нет, уж не обманете:
Сыщики сидят.
Прокурор старается...
Ордена, кресты.
Офицер, как будто бы...
Сыщик, брат, и ты!..
Словом, Мойка бедная
Сыщиков полна,
Оттого-то грязная
У нее волна...
Оттого-то хочется
Без конца кричать:
— „Прочь! Довольно сыщиков!
Сыщиков убрать!"
Тсс... О, муза милая,
После попоем...
Сыщики склоняются,
Сыщики кругом [117]).

Сила Дворянинович.

Сказка о хитром Сергее.

Не старинную былину,
Не сердечную кручину—
Сказку-складку вам, друзья,
Захотел поведать я.
В преогромном неком царстве,
В православном государстве,
Раз в один несчастный год.
Бунтоваться стал народ.
Как и что—я признаюся,
Объяснить я не беруся.
Только малый и большой
Стали все кричать: „долой!"
Тут начальство всполошилось,
Испугалось, рассердилось,
Стало думать да гадать,
Как бы смуту ту унять.
Долго думать не пришлося:
Ведь давно уж повелося,
Что начальство, где ни взять,
Не привыкло размышлять.
„Мы поставим им Митюху,
„Пусть-ка хлещет всех по уху,
„Всюду вводит тишь да гладь—
„Живо бунту не бывать!
„А чтоб не было и шуму
„Государственную Думу
„Пусть Митюха заведет
„И дурачит ей народ!"
Так решили, положили,
„Сообщенье" сочинили
И, забравши куш большой,
Побрели к себе домой.
Стал орудовать Митюха:
Шибко дрался он по уху
Да вдобавок—каждый раз
Влепит в брюхо, либо в глаз.
Донимал он заточеньем
И военным положеньем,
Бил и плеткой, как умел,
И патронов не жалел.
Только как он ни старался,
Бунт нисколько не унялся:
Рос, как сказывают нам,
Не по дням а по часам.
Взбунтовались горы, долы,
Города, дороги, селы—
Проявился бунт везде:
На земле и на воде.
Вот начальство стало снова
Размышлять весьма толково,—
Что им делать, как им быть,
Как крамолу погубить.
„Сем-ка, братцы, поскорее
„Позовем к себе Сергея.
„Он и водкой торговал,
„И японца надувал!"

За Сергеем тут послали,
На совет его призвали,
Поклонились до земли,
Титул „графа“ поднесли.
„Ах, Сергеюшка родимый!
„Ты штукарь незаменимый,
„Ты надуешь хоть кого,
„Даже чорта самого!
„Видишь, в смуте населенье.
„Хоть Митюха и палит,
„Все-ж народ „долой“ кричит.
„С Думой—дело не спорится,
„Хоть Митюха и храбрится,
„Что шпионов он пошлет
„Заседать в ней за народ,—
„Но нельзя же, чтоб шпионы
„Диктовали нам законы!“
Тут Сергей без слов, но смело
Разом принялся за дело—
Настрочил в один присест
Небывалый манифест.
Обещал стране свободу,
Льготы всякие народу:
Собираться, говорить
И союзы заводить.
— „Да ведь это, мне сдается,
„Кон-сти-ту-ци-ей зовется!“
Молвил черствый, как сухарь,
Старый обер-пономарь.
Но Сергей с улыбкой льстивой
И с осанкой горделивой
Отвечал: „Вам все, друзья,
„Объясню сейчас же я.
„Пусть Митюха остается.
„Пусть по-прежнему дерется.
„Пусть палит еще сильней—
„Все мне на руку, ей,-ей!
„Я уступок не желаю.
„Я ведь только *обещаю*
„А потом... Клянусь я вам,
„Ничего я *им* не дам!“
Тут начальство помолчало,
Поглядело, повздыхало
И, качая головой,
Побрело к себе домой.
А Сергей с улыбкой льстивой
Да с осанкой горделивой
Стал страною управлять
И министров выбирать.
А чтоб впредь уж населенье
Не впадало в искушенье,
Между прочим, он сказал,
Что Митюха—либерал.
Скоро сказка говорится—
Дело мешкотно творится...
И что сталося потом,
Я не ведаю о том.
Говорят, что и Сергею
Хорошо наклали в шею...
Да зачем болтать про то,
Что не ведает никто!
Как доподлинно узнаем,
Да в газетах прочитаем,
Поживем да поглядим,—
Хлеба соли поедим—
Вот тогда уж нашу складку
Мы, даст бог, закончим гладко,
Скажем сказку до конца
Про Сергея хитреца [118]).

Борис Тимофеев.

К позорному столбу.

О, гений злой дворцовой подворотни!
Российский Тьер без сердца и стыда,
Архистратиг постыдной черной сотни,
Коварный враг свободы и труда!
Ты не жалел ни сабель, ни патронов,
В крови борцов ты руки обагрил.
Министр-торгаш, с холопскою душой,
Купил себе ты графскую корону

Ценою лжи, как маклер биржевой,
Как Мирабо, под маской лицемерья,
У либералов нагло ты просил
К своей игре сердечного доверья
И за отказ—репрессиями мстил.
Но близок час! (не все в бою мы ляжем),
Когда, окончив грозную борьбу
И победив, тебе с презреньем скажем:
К позорному столбу!
И ты, душа дворцовой камарильи,
Не слышал ты ни ропотов, ни стонов
И ничего святого не щадил!
Но близок день! (не все в бою мы ляжем),
Когда, окончив трудную борьбу
И победив, тебе с презреньем скажем:
К позорному столбу!
Министр-премьер, ползком пробравшись к трону,
Сухой ханжа, благочестивый плут,
Пол-века ты молился о насильи.
Боготворя оковы, рабство, кнут!
И тьму кругом всю жизнь злорадно сея,
Во тьме народ советовал держать.
Иезуит с закваской фарисея,
Не мог свою ты родину понять...
Но близок час! (не все в бою мы ляжем),
Когда, окончив трудную борьбу
И победив, тебе с презреньем скажем:
К позорному столбу! [119]).

Дятел.

Ямбы.

(Посв. Трепову).

...Он вырос в той семье, где злобный произвол,
Борясь с растущей силой вражьей,
Одну из злых собак себе уж раз нашел
Из псов цепных на гнусной страже.
Он вырос в той семье, где совесть—звук пустой.
Где вместо чести—дисциплина,
Где признают один закон, закон святой:
Кулак и волю господина.
Он вырос в той среде, где презирают труд,
Где люди дики, нравы грубы,
Где взятка—институт, где взятками живут,
Девиз и лозунг: „в морду, в зубы!“.
Он вырос в той среде, где знают слово честь
Лишь в сочетаньи: „честью просят“.
И где считается бесчестным не донесть,
И где по долгу все доносят.
Охота за людьми их развращает всех,
И пусть те люди—только воры,
Но все-ж их ремесло, пред вечной Правдой грех:
Быть у богатых — гончей сворой...
...И рано дух семьи уж научил его
Народ глубоко ненавидеть,

Глубоко презирать, и более всего
В нем средство к личным целям видеть.
Ведь в доме у отца застенок, может быть,
С невинной детскою был рядом,
И душу детскую порок уж стал губить
Своим чуть видным, тонким ядом.
Быть может, близ нее ужасный не смолкал
Крик от жестоких избиений,
И рано детский глаз к картинам привыкал
Нечеловеческих мучений...
Фортуна в первый раз явилася ему—
Она играть, ведь, любит в жмурки—
Не удивитесь вы, наверно, ничему:
Под звуки легкие мазурки,
Под топот каблуков и под бряцанье шпор,
Она его поцеловала
И под незначущий и скучный разговор
Ему о будущем шептала.
И стала жизнь его напоминать с тех пор
Мазурки танец легкий, бурный,
И стала, как и он, полна бряцанья шпор
Такой же светлой и бравурной.

И если наступал средь вихря танца он
Ногой окованной солдата
На веру, на права, на совесть, на закон,
На все, что дорого и свято,
Так что ему закон и что ему народ,
Людская кровь, людское счастье,—
Когда его девиз: „туда, наверх, вперед!“
Погоня жадная за властью!
И он взлетел почти на министерский стул
На невзорвавшемся снаряде...
Быть может, он влиял, как злобный тарантул,
Жестокой силою во взгляде
Иль ограниченной, тупою прямотой,
Самоуверенной и быстрой,—
Но только — человек с святою простотой
И головою не министра—
Над всей Россией он на миг единый стал.
Над всей страною старший дворник,
И он уже хотел, и он уже мечтал
На всю страну надеть намордник.
Как вдруг... Октябрь [120]).

Амари.

Колыбельная песня.

(Музыка г.-м. Трепова).

Спи, младенец, год за годом,
Баюшки-баю;
Четырем твоим свободам
Я отходную спою.
Я писать указы стану
Твердою рукой,

Дам покой тебе, смутьяну:
„Со святыми упокой!“
Если мало эскадронов,
Слабо хлещет плеть,—
Для тебя я и патронов
Не хочу жалеть.

Приложу к тому все силы,
Чтоб создать покой:
Нет покойнее могилы,
„Со святыми упокой!“
Я из дядек буду старшим,
Вот тебе мой сказ,
И наклею над монаршим
Треповский указ.
Там—свобода „арестантам“:
Здесь свободным—крест,
Разъясню манифестантам
Царский манифест.
Хороните павших с миром,
Говорите речь,—
Ей в ответ, сливаясь с клиром,
Прогремит картечь,
Брызнет кровь, по ленте красной
Потечет рекой...
Спи, младенец мой прекрасный,
„Со святыми упокой!“
Я—порядка оборона,
Всюду озарю
Светом факелов Нерона
Конституции зарю.
Спи, дитя, под сводом склепов,
Нас не беспокой;
Пропоет свободе Трепов:
„Со святыми упокой!“

Бой-Кот (О. Чюмина).

Два зверя.

„... В случае возникновения где-либо беспорядков, требую самых решительных действий оружием, так как давно пора с этим покончить. За всякое действие войск будут отвечать начальники“.

Из приказа командующего войсками Одесского военного округа барона Каульбарса.

Жил в лесу свирепый барс,
А в Одессе—Каульбарс!
Дикий барс зверей съедал,
Каульбарс в людей стрелял.
Барс лишь сытым быть хотел,
Каульбарс людей не ел.
Барсу пуля суждена,
Каульбарсу—ордена,
Почему же участь барса
Хуже доли Каульбарса?
Или орден дайте барсу,
Или пулю Каульбарсу!
Но поймите: зверь же барс!
Человек ведь—Каульбарс!
Ну, в теперешний-то век
Генерал—не человек!
Коль по правде—так теперь
Генерал—все тот же зверь!
Эх! отправить Каульбарса
Погостить в лесу у барса;
Пусть при этой новой мере
Будут жить в лесу два зверя [121]).

П-Эро.

Из альбома.

Генералу Скалону.

Ты, храбрый генерал, навек себя прославил:
Как говорят, ты Польшу усмирил
И памятник себе из виселиц поставил,—
Но жаль—ни под одной из них не опочил! [122]).

Молитва.

Господь! Нам бедным на Руси
Ты уврачуй шрапнелей раны,
От „братской“ пули нас спаси
И „от усиленной охраны“.
Храни же пуще нас всего
Ты от премьеров-„либералов“,
От сенокрада Дурново
И от „кровавых адмиралов“ [123]).

ГЛАВА IV.

Декабрь 1905 года.

Час настал.

„На баррикады! На баррикады!“
Звучит повсюду призыв могучий.
Знамена вьются, спешат отряды,
Весь город полон тревоги жгучей.
Час битвы близок! День близок мщенья!
Разбиты тюрьмы, дрожат основы,
Народ поднялся в одном стремленьи—
Добыть свободу, разбить оковы.
В знаменах красных дома, балконы...
Борцы сраженью, как дети, рады,
Ведь миг наступит — и рухнут троны,
И клич несется: „На баррикады!“
Час битвы близок! Сегодня грозно
Враги сойдутся померять силы:
Пусть трус уходит, пока не поздно.
Ведь, скоро многих снесут в могилы.
Земли и воли кто страстно хочет,
В борьбе тот сломит врагов преграды.
Чу!.. Выстрел слышен! И залп грохочет!
Идут!.. Уж близко!.. „На баррикады!“

Неизвестного автора.

Песня швеи.

Нынче праздник. За стеною
Разговор беспечный смолк.
Я одна с моей иглою,
Вышиваю красный шелк.
Все ушли мои подруги
На веселый свет взглянуть,
Скоротать свои досуги,
Забавляясь как-нибудь,
Мне веселости не надо.
Что мне шум, и что мне свет!
В праздник вся моя отрада,
Чтоб исполнить мой обет.
Все, что юность мне сулила,
Все, чем жизнь меня влекла,
Все судьба моя разбила,
Все коварно отняла.

— Шей нарядные одежды
Для изнеженных госпож,
Отвергай свои надежды,
Проклинай их злую ложь!
И в покорности я никла,
Трепетала, словно лань,
Но за то шептать привыкла
Слово гордое восстань!
Белым шелком красный мечу
И сама я в грозный бой
Знамя вынесу навстречу
Рати вражеской и злой.

Ф. Сологуб.

Пчелки.

Мы бедные пчелки, работницы пчелки,
И ночью и днем все мелькают иголки
В измученных наших руках.
Мы солнца не видим, мы счастья не знаем,
Закончим работу и вновь начинаем
С покорной тоскою в сердцах.
Был праздник недавно, чужой— нас не звали,
Но мы потихоньку туда прибежали
Взглянуть на веселье других.
Гремели оркестры на пышных эстрадах,
Кружилися трутни в богатых нарядах,
В шитье и камнях дорогих.
Мелькало роскошное платье за платьем,
И каждый стежок в них был нашим проклятьем
И мукою каждая нить!
Мы долго смотрели без вздоха, без слова...
Такой красоты и веселья такого
Мы были не в силах простить!
Чем громче лились ликования звуки,
Тем ныли больнее усталые руки,
И жить становилось не в мочь!
Мы видели радость, мы поняли счастье,
Беспечности смех, торжество самовластья.
Мы долго не спали в ту ночь.
В ту ночь до рассвета мелькала иголка,
Сшивали мы полосы красного шелка
Полотнищем длинным, прямым...
Мы сшили кровавое знамя свободы,
Мы будем таить его долгие годы,
Но мы не расстанемся с ним!
Все слушаем мы—не забьет ли тревога,
Не стукнет ли жданный сигнал у порога—
Нам чужды и жалость и страх!
Мы—бедные пчелки, работницы пчелки.
Мы—ждем... И проворно мелькают иголки
В измученных наших руках.

Тэффи (Н. А. Бучинская).

Экстаз.

Мы бежали спастись, разойтись,
отдохнуть,
Мы бросали свои баррикады...
Разрывая огнями туманную муть,
Грохотали и били снаряды.
Ты предстала, как смерть. Заградила наш путь,
Приковала смущенные взгляды,
Как тигрица, метнулась и бросила в грудь:
—„Оробели, трусливые гады?..“

И никто не узнал дорогого
лица...
Но, сплотившись, под звуки
напева,
Мы отхлынули прочь,—умирать
до конца...
Грозным криком великого гнева
В пасть орудий ты бросила
наши сердца,
О, Валькирия, страшная Дева!

А. С. Черемнов.

Как львы дрались они.

Как львы дрались они...
Под грохот канонады,
Под шум и треск пальбы, жестокой и слепой,
Как в сказочной борьбе, воздвигли баррикады
И ринулись на бой...
Как львы дрались они...
Сквозь мглу, и дым, и пламя,
Сверкая и маня, колеблясь и
дрожа,
Вставало вновь и вновь воинственное знамя
Борьбы и мятежа...
Окроплено слезой, окрашенное
кровью
Героев и борцов, оно звало
вперед.
И шел, все шел за ним, горя
к нему любовью,
Поднявшийся народ...
И шел, все шел за ним! И
крепли баррикады,

И рос мятежный клич, и расцветала месть!
И гордный гимн борьбе звучал,
как весть отрады,
Победы светлой весть...
И падали одни—вставали вслед
другие,
Как в сказочном бою, борцы
росли, росли...
И в жертву родине несли мечты
святые
И жизнь свою несли!
О, пусть на время смолк и шум
борьбы, и крики,
И гордый, смелый клич восставшего раба,
„Да здравствует народ и гнев
его великий!“
Да здравствует борьба!“

Г. Вяткин.

Искали дочь.

Печаль в груди была остра,
Безумна ночь,
И мы блуждали до утра,
Искали дочь...
Нам запомнилась навеки
Жутких улиц тишина,
Хрупкий снег, немые реки,
Дым костров, штыки, луна.
Чернели тени на огне
Ночных костров.
Звучали в мертвой тишине
Шаги врагов.
Там, где били и рубили,
У застав и у палат,
Что-то жутко сторожили
Цепи хмурые солдат.
Всю ночь мерещилась нам дочь,
Еще жива,
И нам нашептывала ночь
Ее слова.
По участкам, по больницам
(Где искали, где и нет)
Мы склоняли к многим лицам
Тусклых свеч неровный свет.
Бросали груды страшных тел
В подвал сырой.
Туда пустить нас не хотел
Городовой.
Скорби пламенной язык-ли,
Деньги-ль дверь открыли нам,—
Рано утром мы проникли
В тьму, к поверженным телам.
Ступеньки скользкие вели
В сырую мглу,
Под грудой тел мы дочь нашли
Там на полу.

Ф. Сологуб.

Москва в декабре.

Око за око.

I.

Чем дальше пред жизнью они отстают,
Тем меньше им места средь братьев-людей,
Они ни пощады, ни меры не знают —
Они убивают детей!
Кто может, пусть мимо пройдет, не бледнея.
Я чужд всепрощенью безумца-Христа,
Мне ближе завет старика-иудея,
Отмщенья идея, о пленных мечта!
Я понял холодное: око за око.
И знаю — нельзя, невозможно простить!
И вот повторяю: „Ни слова упрека!
И будем жестоко за гибнувших мстить!“
Мы помним, мы знаем счет нашим потерям,
И мерой, которою мерится нам—
Без жалости робкой убийцам возмерим,
И близок—мы верим—час мести врагам!

II.

Смолкли залпы запоздалые,
Смолк орудий гром.
Чуть дымятся лужи алые.
Спят кругом борцы усталые,
Спят нездешним сном.

Вечер веет над скелетами
Павших баррикад.
Над телами неотпетыми
Гимны скорбные приветами
В сумраке звучат.
Спите, братья, с честью павшие—
Близок судный час!
Спите, робости не знавшие,
Ночь в руках у нас.
Все, что днем у нас разрушено,
Выстроим во мгле.
Жажда битвы не заглушена
В раненом орле.
Ночью снова баррикадами
Город обовьем.
Утром свежими отрядами
Новый бой начнем.
Спите, братья и товарищи!
Близок судный час!
На неслыханном пожарище
Мы помянем вас!

III.

Они лежали здесь в углу
В грязи зловонного участка.
Их кровь густая, словно краска,
Застыла лужей на полу.
Их подбирали, не считая,
Их приносили без числа,
На неподвижные тела
Еще неконченных кидая.
Здесь были руки без голов,
Здесь были руки—словно плети,
Лежали скомканные дети,
Лежали трупы стариков.
У этих—лица были строги,
У тех—провалы вместо лиц,
Смотрели вверх, лежали ниц,
И были босы чьи-то ноги...
И чья-то грудь была жива,
И чьи-то пальцы шевелились,
И губы гаснущих кривились,
Шепча невнятные слова,
Декабрьский день светил им скупо,
Никто не шел, чтоб им помочь,
И вот, когда спустилась ночь—
Живых не стало. Были трупы!
И вот, лежали там в углу,
Лежали тесными рядами:
Все—с искаженными чертами ..
И кровь их стыла на полу.

Е. Тарасов.

Покоренный город.

Все громче гул тревожного набата,
И треск стрельбы рокочет вновь и вновь...
Кровавый день погас в крови заката,
Настала ночь—и так же льется кровь...
Как будто там, за грозной канонадой,
Все слышен вопль людских молящих уст...
Но город спит безмолвною громадой,
Но город тих и небывало пуст.
Кой-где вдоль стен пугливым силуэтом
Мелькнет во мгле отважный пешеход,
Кой-где окно сигнальным кратким светом
С высот мансард, как звездочка, блеснет.
И снова тьма по улицам безлюдным ..
А только там, где зарево алей,
Гудит пожар над взморьем изумрудным,

И бой кипит под сенями аллей.
Как дикий стон кровавого кошмара
Со свистом пуль сливается набат,
От красных луж размок песок бульвара,
И смят газон под лагерем солдат.
На всех углах кругом стоят патрули,
На страже тьмы стоит смертельный страх,
Кого-ж еще во мраке ищут пули?
Рядами тел лежит побитый „враг."
Столетний враг в порыве небывалом
Рванул ярмо заржавленных оков...
Он побежден и скрылся по подвалам,
Дрожа, приник под кровлей чердаков.
Пусть мать не спит с тревогой затаенной,
Пусть жены ждут расстрелянных мужей,
Но плакать вслух не смеет побежденный...
Не смей смущать, о город покоренный,
Святого сна владык и палачей!

Л. Б.

На аванпостах.

Глухая ночь. Кругом темно и дико.
Но город ждет сигнального огня.
Какая тишь! Ни выстрела, ни крика!..
В могилах спят герои дня.
На их гробах горит заря успеха,
Их славных дел забвенье не возьмет.
По площадям еще грохочет эхо
И голос их над родиной несет.
И в тихий час, перед последней битвой,
На братский зов
Звучит ответ присягой и молитвой
В рядах борцов.
Ненастный вихрь в костре пусть гасит пламя,
Пусть ночь долга!
Мы точим меч, мы крепко держим знамя—
И ждем врага.
Глухая ночь.. Удары роковые
Уж будят нас.
Пора! Пора! Смотрите, часовые!
Подходит час!

Л. Б.

В часы революции.

(Переживания).

Притаилась тревожно столица...
Далеко до желанной зари...
Темнота в закоулках теснится,
И давно не горят фонари.
Город полон томительной тайны.
Притаились коварно враги.
Тишина... непонятны-случайны
Одинокие чьи-то шаги...
Тут и там молчаливые роты,
Тускло блещут во мраке штыки...
Полевой телефон, пулеметы...

И на каждом углу казаки.
Воздух чист, как живительный
нектар...
Звуки дня улетучились прочь;
Иногда с колокольни прожектор
Разрезает кошмарную ночь,
По домам и по улицам рыщет,
Остановится вдруг на земле:
Что-то зло и настойчиво ищет
В этой тягостной, призрачной
мгле.
Вот внезапно всполошились
люди,
Смотрят в темень и ждут, что-
то ждут...
Рвется песня свободы из груди —
Это братья на подвиг идут.
Поднялись неприступной стеною
И пошли на борьбу, как поток,
И звучит, и гремит над толпою:
„Ненавистен нам царский чер-
тог“...

Кто-то вскрикнул... Упал...
Снова... Снова...
Резко, злобно стучит пулемет...
Но по-прежнему громко-сурово
Песнь свободы звучит и плывет.
Это наши товарищи, други,
Это русский, великий народ.
И торопятся царские слуги
Пулеметы пустить свои в ход,
Погасить, уничтожить свободу,
Словно чувствуя близкий конец...
И ударил навстречу народу
Раскаленный разящий свинец.
Встал народ неприступной сте-
ною
На борьбу и шумит, как поток,
И гремит и плывет над толпою:
„Ненавистен нам царский чер-
тог“...

Иос. Хейсин.

* * *

Мой мальчик, в этот страшный
год
Мы елку не зажжем.
Христос-младенец не придет
В наш освещенный дом,
Не даст благословенья нам
На радость и покой.
Христос-младенец будет там,
Где кровь лилась рекой.
Там, где восстал на брата брат,
Где Каин озверел,
И на обломках баррикад
Воздвиглись горы тел;
Там, где Иуда предает,
Где правда распята,
Христос там ныне слезы льет
У братского креста.

А. М. Федоров.

Их расстреляли.

Их расстреляли...
Утро морозное было.
Солнце, не зная, беспечно всхо-
дило,
Тихо смеялись прозрачные
дали...
Снег был такой серебристый и
чистый!
Час был такой молодой и лу-
чистый!
Их расстреляли...
Измятой, бессильной толпою

Сомкнулись они на снегу.
Пылают их очи тоскою
И жалостью скорбной к врагу.
Зловеще-безмолвны солдаты,
И слышат: их молят, зовут...
Но в душах не смолкли раскаты
Безумных и близких минут...
И слышат, и слышат: „О, братья!
Мы гибнем за волю и свет!..“
Но глухо сорвались проклятья,
И грянули залпы в ответ...
А солнце не знало! Солнце
всходило!
Тихо смеялись лучистые дали...
Утро такое беспечное было...
Их расстреляли...

Дм. Цензор.

Памяти казненных.

Письмо.

Проснется день цветистый и
певучий;
Вновь солнце поведет урочный
полукруг,—
А труп кровавый мой зароют
в ил зыбучий,
И станет сыро, холодно вокруг...
Друзья мои! Бороться, как и
прежде,
Бесстрашно будете вы с силой
роковой,
Всем жертвуя и вере, и надежде,
Усладу находя в отваге боевой..
. . . .
Кой-кто из вас, быть может,
уцелеет,
Увидит рай свободы и труда...
Мой юный труп давным-давно
истлеет
И обратится в прах и сердце,
и вражда...
Товарищи! Не даром умираю,—
Я вольно пожил, гордо пострадал!
Врагов, как смерть, предсмертью
презираю!..
Я злобе и любви, что в силах—
все отдал!..
Прощайте!.. Близок час... Вас
ждут иные грозы,
Гребите доблестно к заветным
берегам.
. . . .

А. Зарницын.

* * *

Ты все келейнее и строже,
Непостижимее на взгляд...
О, кто-же, милостивый боже,
В твоей печали виноват?
И косы пепельные глаже,
Чем раньше, стягиваешь ты,
Глухая мать сидит за пряжей—
На поминальные холсты.
Она нездешнее постигла,
Как ты, молитвенно строга...
Блуждают солнечные иглы
По колесу от очага.
Зимы предчувствием объяты,
Рыдают сосны на бору;
Опять глухие казематы
Тебе приснятся ввечеру
Лишь станут сумерки синее,
Туман окутает реку,—
Отец, с веревкою на шее,
Придет и сядет к камельку.

Жених с простреленною грудью,
Сестра, погибшая в бою,—
Все, по вечернему безлюдью,
Сойдутся в хижину твою.
А Смерть останется за дверью,
Как ночь загадочна, темна—
И до рассвета суеверью
Ты будешь слепо предана.
И не поверишь яви зрячей,
Когда торжественно в ночи
Тебе за боль, за подвиг плача—
Вручатся вечности ключи.

Н. Клюев.

Аграрники

Эх вы, головушки ваши победные!
Жаль мне вас, жаль всей душой...
Как вы попали, сиротские, бедные,
Под неприступный конвой?
Знаю, житье ваше было не сытое,
Не было радостных дней...
Эх ты, родимое царство забытое
Серых сермяг и лаптей!
Подати, штрафы, года недородные,
Все обостряло нужду;
Вечно голодные, вечно холодные,
Ели вы лишь лебеду.
Вон на погосте кресты стоят белые,
Там ваши сродники спят,
Там не рассказаны повести целые
Горя, обид и утрат.
Ишь, как широко кладбище расстроилось,
Целые там города!
Много там бедных людей успокоилось
От нищеты и труда.
Но надоели обиды вам вечные,
И поднялись вы стеной...
Эх вы, голубчики наши сердечные!
Жаль мне вас, жаль всей душой.
Помните время всеобщей свободушки?
Все вы просили земли,
Все мужики, старики и молодушки
К барской усадьбе пошли.
В доме у белой лебедушки барыни
Пел что-то чудно рояль;
Знать, этой сытой и важной сударыне
Не было слез ваших жаль.
И начали расти копны душистые
В барском лугу заливном,
Грузно заухали сосны смолистые,
Все задрожало кругом.
Выслали войско с нарядом полиции,
В вас-же стреляли, в своих...
После карательной той экспедиции
Вновь ваш поселок затих.
„Ах вы, скоты, ах вы, псы своевольные!“
Топал исправник ногой
И, подавив беспорядки крамольные,
Сдал вас под крепкий конвой.
Помните-ль темную ночку беззвездную?
Дождь... арестантский вагон?
Как вас в тюрьму отправляли уездную,
Дружный послышался стон.
С болью оставивши сохи и бороны

У недопаханных нив,
Вы потянулися в дальние стороны,
Горе в груди затаив.
Окрики, ругань, пинки, зуботычины
Всем вам пришлось испытать;
Да от жестокой и грубой опричины
Можно-ли лучшего ждать?
Все мне избушки мерещатся бедные,
Ветхость крылец и сеней,
В окнах старушки иссохшие, бледные
Ждут соколов-сыновей.
Ждут одинокие жены бессчастные
Буйных своих муженьков.
И, пригорюнившись, девицы красные
Ждут голубей-женихов...

Н. Н. К.

Свадебная.

(Из Прибалтийских мотивов).

„Невесте мы венок плетем!“
Подруги Берте пели,—
„Покинет Берта отчий дом:
До свадьбы две недели“.
Пришли солдаты. Город тих,
Народ дрожит в боязни,
Тоскует Берта, а жених
Спешит бежать от казни.
Чрез переулок, вечерком,
От страха замирая,
Пошла проститься с женихом
Невеста молодая.
И не дошла... Она в руках
Солдатской пьяной банды...
Прощай мечтанья о венках
Из мирта и лаванды!
Всю низость подлости людской
Пришлось изведать Берте...
Вернулась бедная домой...
Позор страшнее смерти.
Нашла веревку для петли,
Повесила, надела...
Рыдали все, когда нашли
Безжизненное тело...
А в ту же ночь над женихом
Свершили казнь отряды...
„Невесте мы венок плетем,
Ее мы счастью рады!“...

И. Мордвинов.

Детская идиллия.

(Из Прибалтийских мотивов).

В комнату солдаты страшные пришли.
Зазвенели шпоры, загремели шашки,
Папу допросили, папу увели
Прямо из кровати, лишь в одной рубашке.
Мама зарыдала и в слезах ушла.
За окном зловеще выстрелы гремели.
Дети — двое крошек — около стола
На полу холодном трепетно присели.
Жуток отблеск зарев... Бледная сестра

Шепчет в перепуге маленькому
брату:
„Бай, скорей пойдем-ка! Бай
давно пора!
Бай пойдем скорее! Не пришли-б
солдаты!“
Зазвенели стекла. В комнату,
свистя,
С улицы ворвались бешеные
пули...
На руках сестрицы вскрикнуло
дитя...

. . . .

Ты придешь-ли мама?—Деточки
уснули...

И. Мордвинов.

Расстрел.

(Из истории маленького гарнизона).

Солдаты выстроились в ряд,
И капитан суровый взгляд
Навел на старика.

Везде замерзший снег лежал,
По рельсам черный путь бежал,
Во льду спала река.

Казалось, отражался страх
На оловянных облаках,
Вдали синел туман.

Молчал, не двигался старик,
И был в спокойствии велик.
Молчал и капитан...

И пленник вдруг заговорил:
„Я много видел, много сил
Потратил я в борьбе.

И вам меня не испугать!..
Пускай земля, родная мать,
Берет меня к себе.

Наверно, жребий мой таков...
Я ко всему теперь готов.
Тяжелая пора.

Я перед истиною—чист.
Я—тот... тот самый машинист,
Что поезд вел вчера.

На нем все ехали борцы,
Сыны народа—не льстецы...
Погнал я паровоз.

То не езда была—полет!
Стрелял вдогонку пулемет,—
Знать, не жалел угроз.

Я разводил сильнее пар.
Пылал в душе моей пожар,—
Ведь я спасал людей!

Мы все легли-бы грудой тел...
Скорей на воздух бы взлетел,
Но не сдался-б ей-ей!

И всех я спас—судил так бог,
Лишь сам себя сберечь не мог...
Ну, что-ж не суждено!..

Я жду. Пусть бьет мой смерт-
ный час!
Просить мне нечего у вас—
Я с правдой заодно“...

И по лицу скользнул туман.
Дал знак холодный капитан,
И заиграл рожок...

Как будто вражеский набег...
И обагрился чистый снег,
Как предназначил рок.

Скрывая побледневший лик,
Еще дышал в снегу старик—
Измученный боец...

И было тихо все кругом.
И что-то плакало тайком
На дне людских сердец.

В. Уманец-Каплуновский.

Памяти П. П. Шмидта.

Тебя уж нет!... Но жив в душе народной,
В сердцах людей, озлобленных борьбой,
Твой смелый дух, твой образ благородный,
И дорог всем венец терновый твой...
Тебя уж нет!... Но идеал твой с нами...
Ты—наш герой!... Ты—наших дум заря!—
Сомкнемся мы отважными рядами
И в бой пойдем, отмщением горя.
Тебя уж нет!.. Но на твоей могиле
Вперед идти мы клятву все дадим...
Довольно мук! Мы все рабами были
И больше быть рабами не хотим!
Плечо к плечу, рука с рукой мы встанем
И, в бой пойдем, в последний, славный бой,
И победив, народом целым грянем:
Ты наш! Ты наш, замученный герой!

Хмурый.

Памяти П. П. Шмидта.

Раздалось грозно: „пли!“—и он упал сраженный.
Ликуй, коварный враг,
И знай, что дорог нам его пример священный,
И мы поднимем стяг!
За то, о чем мечтал бессонными ночами,
За что он жизнь свою, как мученик, принес,—
Мы смело все пойдем на грозный бой с врагами,
И как один умрем без страха и без слез!

Марусин.

На смерть лейтенанта Шмидта.

Средь проблесков утра, в преддверии дня,
Ты пал, не дождавшись рассвета.
Ты пал, но не продал святого огня,
За жизнь не нарушил обета.
И не было близких проститься с тобой,
Твой прах не омыт их слезами...
Лишь глухо стонал неумолчный прибой,
Да камни шептались с камнями...
Но к небу вздымался, к рассветным лучам,
Их ропот... и ширился в звуках...
И звал он проклятье небес палачам
Земли, умирающей в муках...[124])

Неизвестного автора.

Белая береза.

(Посвящается палачам).

Одного за другим подводили к старой березе и здесь расстреливали... (Из газет).

Долго сын стоял с поникшей головенкой
Под большою белою березой,
И смотрел на снег... И алой розой
Кровь отца тянула взор ребенка...
Вместо елки — чудной детской грезы—
Пусть вам, дети палачей и сытых,
Чудятся все белые березы
И под ними—кровь отцов убитых... [125])

Червь.

Агитация в войсках.

Как учат солдат, чтобы сделать из них достойных царских слуг. [126])

Корень учения горек, а плоды его— солдаты палят, куда им велят.

„Всяк солдат слуга престола
И защитник от врагов"...
Повтори! Молчишь, фефела?
Не упомнишь восемь слов?
Ну, к отхожему дневальным
После ужина в наряд...
Махин тоном погребальным
Отвечает: „виноват!"
„Ну-ка, кто у вас бригадный?"
Дальше унтер говорит—
И, как ястреб кровожадный,
Все глазами шевелит.
„Что молчишь? Собачья морда,
Простокваша, идиот!
Ну так помни, помни-ж твердо!"
И рукою в ухо бьет.
Что-же Махин? Слезы льются,
Тихо тянет: „виноват!"
Весь дрожит, колена гнутся
И предательски дрожат...
„Всех солдат почетно званье,
Пост ли... знамя... караул...
Махин! Чучело баранье!
Что ты ногу развернул?
Ноги вместе, выше харю!
И не так еще ударю".
Так вчера еще учили
И семеновцев-солдат...
Но теперь их полюбили,
Царь готовит им наград:
Голубчики, дорогие,
Вы не так, ведь, как другие:
Много душ вы погубили,
И кололи и палили,
Кровью всю Москву залили...
Рад глядеть на вас я, рад!

Новая солдатская песня [127]).

Братцы солдатушки,
Бравы ребятушки,
Шибко поспешайте,
Бунты утишайте.
— То-то вот, что тощи,
Черви лезут во щи.
Наши командиры
Отрастили брюхи.—
Братцы солдатушки,
Бравы ребятушки,
Злым не верьте людям—
Мы вас не забудем!
— Речи эти стары,
Тары-растабары!
Наши командиры
Знают всю словесность.—
Братцы солдатушки,
Бравы ребятушки,
По сему случаю
Не хотите ль чаю?
— Чаю мы желаем,
Только, вместе с чаем,
Добрым обычаем,
Дайте командиров
Нам не мордобойцев.—
Братцы солдатушки.
Бравы ребятушки,
Что вас сомутили?
Не хотите-ль мыла?—
Прежде дули в рыло,
Нынче дали мыло—
Ишь, залебезило
Грозное начальство
Перед нашим братом.

Василий Чужой.

Мы братья [128]).

Мы братья! Мы братья! Мы выросли оба
В нужде, в беспросветной нужде...
Судьба нам сулила томиться до гроба,
Всю жизнь в непосильном труде...
Я—сабли выковывал, делал картечи,
Ты землю чужую пахал...
И вот мы сошлись... при негаданной встрече.
Меня ты, мой брат, не узнал..
Я—в блузе рабочей, ты в серой шинели,
Сошлись мы, как враг со врагом...
Ты бросил в лицо мне моей же шрапнели,
Ударил моим же штыком.
Я вышел на бой, но на бой не с тобою,
Тебя же—враги провели,—
Наполнили сердце нелепой враждою
И властно командуют: пли!
Родная земля обагряется кровью,
За залпами залпы гремят,—
Встречаешь меня ты не братской любовью,
А злобой, обманутый брат!..
Я—в блузе рабочей, ты—в серой шинели,
Один на другого идем...
Брат! Помни: я делал штыки и шрапнели,
Ты будешь их делать потом!!
Мы—братья! Мы—братья! Я верю глубоко:
Настанет иная пора...
Она уж близка... брат! Она недалеко!
Недолго нам ждать до утра!

При свете свободы увидишь
ты брата,
И к брату навстречу пойдешь,
И то, чему слепо ты верил
когда-то,
Со мною на суд призовешь...

Я—в блузе рабочей, ты—в серой шинели,
Сойдемся мы с нашим врагом—
И бросим в лицо ему наши
шрапнели,
И нашим ударим штыком.

Перед смертью [129]).

„Они сами стали копать себе могилу. Генерал подошел к ним, усмехнулся и сказал: „копаете, ребята? Копайте, копайте! Вы хотели земли, так вот вам земля, а за волей идите на небеса“

„Мы сами могилу копали свою,
Готова глубокая яма;
Пред нею мы все в ряд стоим
на краю—
Стреляйте же верно и прямо!
Пусть в сердце ворвется жестокий свинец
И жаркою кровью напьется.
И сердце, не дрогнувши, примет конец,
Оно ведь для родины бьется“.
В ответ усмехнулся старик-генерал:
„Спасибо на вашей работе!
Земли вы хотели — я землю
вам дал,
А волю на небе найдете!“
„Не смейся, жестокий, коварный
старик!
Нам выпала страшная доля,
Но выстрелам вашим ответит
наш крик:
„Земля и народная воля!“
Мы начали рано, мы шли умирать,
Но скоро, по нашему следу,
Проложит дорогу товарищей
рать;
У вас они вырвут победу.
Как мы, они будут в мундире
рабов,
Но сердцем возлюбят свободу.
И мы им закажем из наших
гробов:
„Служите родному народу!“
Старик кровожадный, ты носишь
в груди
Не сердце, а камень холодный!
Вы долго вели нас, слепые
вожди,
Толпою немой и голодной.
Теперь вы безумный затеяли
бой,
В защиту уродливой власти;
Как хищные волки свирепой
гурьбой,
Вы родину рвете на части.
А вы, что пред нами сомкнули
штыки,
К убийству готовые братья!
Пускай мы погибнем от вашей
руки,
Но вам мы не бросим проклятья.
Стреляйте вернее, готовься, не
трусь!
Кончается ваша неволя!
Прощайте, ребята! Да здравствует Русь!
„Земля и народная воля!“

Тан (В. Богораз).

Царь [130]).

На голос:
„Солнце на закате“...

Царь наш с виду жидок,
Да на пакость прыток.
Ай-да царь, ай-да царь
Православный государь!
Пакостит при свете,
А живет в секрете...
Ай-да царь, ай-да царь,
Православный государь!
Чуя передрягу,
Из дворца—ни шагу!
(Припев).

Прячась, злобой дышит,
Манифесты пишет.
(Припев).

Да за комплименты
Шлет кресты и ленты.
(Припев).

Русскому-ж народу
Не дает он ходу.
(Припев).

В горсти зажимает,
Подати сдирает.
(Припев).

Все крестьяне нищи
И не видят пищи.
(Припев).

А ворчать кто станет—
Царь сейчас нагрянет.
(Припев).

Держит солдат нужных
Против безоружных.
(Припев).

Водит их в заплатах,
Сам живет в палатах.
(Припев).

И чинит расправу
Чорту на забаву.
(Припев).

А чтоб скрыть проказы,
Знай, строчит указы.
(Припев).

Пишет он их гладко—
Жить по ним не сладко
(Припев).

Расстрел [131]).

(Рассказ дезертира).

Как-то вечером в субботу
Командир приходит в роту,—
С ним фельдфебель... Все-ли тут?
—Все—так точно!—Ну, ребята,
Долг присяги, честь солдата
Нынче в дело вас зовут!!!
К трем часам чтоб быть одетым!
Взять патроны! Встать в ружье!..
Ждать меня... Идем с рассветом,—
Дальше—дело уж мое!
Помолчав, он молвил грозно:
„Вас учить теперь мне поздно,—
Да болтать и не люблю.
Два лишь слова: кто слукавит,
Пулю кто в стволе оставит,—
Как скотину, пристрелю!“
Он ушел... Никто до света
Не сомкнул усталых глаз...

Ни сговора, ни совета
Ночью не было у нас.
Чуть забрезжил день туманный,
Треск раздался барабанный, —
Встали... Справились... Пошли...
Все идут молчком, понуро...
Встал туман... Краснея, хмуро
Свет зари горит вдали.
Вышли к лесу... Что такое?
Поп, жандармы.—Подле ям
Три столба, и „вольных“ трое
К тем прикручены столбам.
С виду молоды и стройны,
Нет в них страху, все спокойны,
Светлы лица, ясен взгляд...
Вдруг сказал один: „ребята!“
Что-ж случилось? Я когда-то
Тоже был, как вы, солдат.
Горько, братцы! В сердце смелом
Я другую честь носил.
Ей одной душой и телом
Я отдался и служил...
Я войну не вел с голодным:
Лишь обидчикам народным
Смерть несло мое ружье...
Честно жил я, гибну смело,
Я свое окончил дело,—
Что-ж? Кончайте вы свое!
Вам и мне награда будет,
Всяк из нас свое возьмет:
Вас начальство не забудет,
А меня—родной народ“...
Вдруг фельдфебель перед строем
Промелькнул,—и дробным боем
Барабан загрохотал...
Ротный словно вдруг проснулся,
Диким зверем к нам метнулся,
Весь затрясся, закричав:
„Что-ж вы, сволочь, встали пнями!?
Бунтовать сюда пришли!?
Под расстрел хотите сами?
Так недолго! Рота! Пли!“
Друг на друга мы взглянули,
Словно сталь, глаза сверкнули,
Страшен, грозен был приказ!
В сердце холодом пахнуло...
Прямо я направил дуло
Командиру между глаз.
Залп раздался! Что тут было,
Помню, словно как в чаду:
Вместе с ротным враз скосило
Всю жандармскую орду.

Е. С.

Памяти рядового Черницкого [132]).

Он был солдатом... Но голос чести
Его манил в народный стан,
Звала на труд борьбы и мести
Святая кровь народных ран.
Напрасно деспот опьяненный
Его считал рабом тупым
И над свободою плененной
Поставил псом сторожевым.
Открыв, товарищ благородный,
Темницы дверь, под кровом тьмы,
Бойцов дружины всенародной
На волю вывел из тюрьмы.
Они ушли... И так же смело
Борьба священная кипит,—
А он, свершив святое дело,
Тираном бешеным убит.
О, подлый царь! Пусть брат наш схвачен

И мертв,—для нас не умер он!
И пьяный пир твой будет мрачен,
И страх прервет твой сытый сон!
Уж не заснешь в слепой надежде
На цепи, стены и замки:
Уже не так верны, как прежде,
Тебе солдатские штыки!
Безумствуй! Плачь! Кричи: „измена!"
Но знай, тиран: пора близка—
Всю землю русскую из плена
Спасет солдатская рука.

Е. С.

ПРИМЕЧАНИЯ.

[1]) В России напечатано было впервые в 1907 году. По свидетельству декабриста Якушкина „в то время (т. е. в Александровскую эпоху) не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который бы не знал (песенки Пушкина) наизусть". „Noël (по его словам) распевали чуть ли не на улице". В этом стихотворении Пушкин, „подсвистывавший" Александру I до самого „гроба", сатирически изобразил его, сохранившего одновременно с конституционными обещаниями, данными при открытии 15/27 марта 1827 г. первого сейма царства польского, приверженность к реакционному священному союзу. В 3-й строфе упомянуты: Лавров, директор исполнительного департамента в министерстве полиции; Соц, секретарь в особом цензурном комитете в том же министерстве; Горголи, С.-Петерб.. обер-полицеймейстер (1811—1821).

[2]) В процессе братьев Критских 1827 г. обнаружилось, что служивший в опекунском совете А. Матвеев слышал от Пальмина след. стихотворение:

Когда бы вместо фонаря,
Что светит тускло в непогоду,
Повесить деспота-царя,
То заблестел бы луч свободы.

Подробности в „Полярной звезде" на 1862 год, кн. VII, стр. 103.

[3]) Перечислены члены семьи Романовых.

[4]) Напечатано в „Русской Старине", 1872 г., ноябрь. Взято нами из заметки „Аракчеевщина—рассказы, стихи и песни его времени". Сообщил Г. С. Демянок. „Написано—говорит он—неизвестно кем из обитателей военных поселений".

Эта песня пелась еще в 30-х годах солдатами Оренбургского линейного батальона, расположенного в Троицке, где и записана Я. П. Безукладниковым. Сообщена „Русской Старине", перепечатана нами из „Русской Старины" 1872 г., ноябрь.

[5]) Записано в деревне Котяховне, близ б. Царевококшайска, в 1854 г. сообщ. „Русской Старине" Пупарев.

[6]) Этот акростих на Аракчеева взят нами из „Русской Старины" 1872 г., сентябрь; он напечатан со следующим примечанием: „Сообщаем кстати, после интересных записок Европеуса, акростих на Аракчеева, составленный около 1823 г. и бывший в большом обращении между армейскими офицерами того времени. Он записан со слов Як. Ник. Сухотина".

[7]) Архимандрит новгородского Юрьева монастыря Фотий знаменит как один из столпов правительственной реакции эпохи Александра I.—Графиня А. А. Орлова-Чесменская—„духовная" дочь Фотия, передавшая ему свое огромное богатство, в глазах „либералистов" того времени была одной из тех „святых невежд, почетных подлецов", которые поддерживали „ханжество клерикальной партии". Изображение Орловой дано, между прочим, Лесковым в хронике „Захудалый род", в образе графини Хотетовой.

[9]) Учредитель в 1813 г. и первый президент Российского Библейского Общества, ставшего гнездом реакционного мистицизма; с 1816 до мая 1824 г. был министром нар. просвещения; по словам одного современника (Д. В. Давыдова), „отличался и подлостью, и придворным интриганством, и порочными вкусами, на Востоке столь распространенными".—А. П. Хвостова, одна из участниц мистического кружка высшей знати.—Н. Н. Бантыш-Каменский вицепрезидент Библейского Общества.

[10]) Я. Б. Княжнин—видный писатель XVIII в., автор комических опер с содержанием из крестьянской жизни; Н. И Ильин драматург начала XIX в. сентиментального тона; Д. И. Хвостов—лирик в духе классической школы (нач. XIX в.); Н. Шатров—лирик того же направления, современник Хвостова.

[11]) Речь идет о Павле, убитом 11 марта 1801 года.

[12]) Полный текст в русских изданиях дан только в 1905 г.

[13]) Петербургский обер-полицеймейстер.

[14]) Стихотворение это, помеченное автором (в рукописи 1846 г.) „Крепость Тираспольская. 1822 г. марта", написано Раевским спустя семь недель после ареста в Кишиневе. Арестован он был по подозрению в революционной пропаганде среди солдат.

[15]) „Девственница" Вольтера.

[16]) В. к. Константин Павлович.

[17]) Павел I.

[18]) Ф. Булгарин в 20-х годах был близок со многими декабристами; тантой называли тетку его жены; Греч, Н. И.—издатель „Сына Отечества". Измайлов А. Е.—видный писатель начала XIX в.; Н. Мордвинов и М. Сперанский, государ. деятели, на которых декабристы возлагали свои надежды;

[19]) Пушкин близко знал виднейших из декабристов, со многими был дружен, о чем засвидетельствовал в стихотворении „Арион" (1827 г.). Он замышлял изобразить эпоху декабристов в широкой картине и внести ее в роман „Евгений Онегин". Видный исследователь Морозов разыскал черновые наброски в рукописях поэта. Одна из набросанных строф гласила:

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Там вечно Лунин предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои стихотворенья
. . . .
...Казалось обнажал
Цареубийственный кинжал,
Одну Россию в силе видя,
Лелея в ней свой идеал.
Хвастун Т. им внимал
И, слово *рабство* ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Из этой строфы видно, что поэт не верил в успех декабристов. Когда 16 сентября 1826 г. Пушкин был доставлен из села Михайловского, где отбывал ссылку, в Москву в Николаевский дворец, после коронации Николая I, царь спросил поэта: принял ли бы он участие в мятеже, если бы был в Петербурге?—Пушкин отвечал: „Непременно, государь! В заговоре были все друзья мои. Одно отсутствие спасло меня, за что я благодарю бога". В числе ближайших друзей Пушкина был декабрист Н. Тургенев, образованнейший писатель эпохи. В его доме Пушкин написал известное стихотворение „Вольность" (1819) и, под его влиянием, свое знаменитое стихотворение „Деревня" (1819).

[20]) Декабрист Одоевский в начале 1824 г. был принят Рылеевым в члены Северного Общества. После восстания 14 декабря был, в числе многих

других, отвезен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. По лишении чинов и княжеского достоинства, был сослан на 12 лет в каторгу. 26 августа 1826 г. срок каторги был сокращен с 12 л. до 8 лет.

[21]) Приписывается А. И. Одоевскому. См. Н. Котляревский. Декабристы. 1907, стр. 84—85.

[22]) В этом четверостишии заключается, повидимому, намек на поведение Голицына в Верховном Уголовном суде в 1826 г.

[33]) Мин. нар. просв. при Александре I.

[24]) Министр финансов тогда же.

[25]) Мин. нар. просвещения при Николае I.

[26]) Вел. кн. Михаил Павлович.

[27]) Из рукописного сборника.

[28]) А. С. Норов в 1850 г. был тов. мин. нар. просвещения. М. Н. Мусин-Пушкин, попечитель петербургского учебного округа, по воспоминанию одного „старого студента", знаменит был своей „солдатской грубостью".

А. И. Фицтум-фон-Экстедт, инспектор студентов в Петербургском университете; назначенный на эту должность по повелению Николая I из офицеров л.-гв. Павловского полка в предположении, что именно такой человек сумеет подтянуть начавших было распускаться (в смысле ношения длинных волос, несоблюдения формы и т. п.) студентов, „доблестно исполнял свои исключительно полицейские обязанности и оправдывал возлагавшиеся на него надежды. Небольшого роста, с лисьей физиономией, украшенной длинным, сильно выдававшимся вперед кирпичного цвета носом, чрезвычайно подвижной, он обладал замечательнейшей памятью, знал каждого студента в лицо и по фамилии и был вездесущ: в университетских корридорах, на Невском проспекте, в театрах, маскарадах, на всевозможных публичных гуляньях,—везде можно было видеть длинный, красный нос А. И. и его маленькие лисьи глаза.. Все замечалось неусыпным аргусом с Владимиром на шее, как ястреб налетавшим на свою жертву, и на провинившегося студента сыпались строгие распекания и аресты в карцер. А. И. был просто грозою в „то тяжелое николаевское время".

В начале 60-х годов он „стушевался" и, потеряв всякий престиж между студентами, „стал каким-то Менелаем университетской молодежи".

„Рус. Старина" 1906, № XI, стр. 445—446. „Воспоминания старого студента (1858—1862)", Вл. Сорокина.

Под боровом надо разуметь Николая I, после революции 1848 г. особенно подозрительно относившегося к университетам.

[29]) П. А. Клейнмихель, выученик Аракчеевской школы, в 1842 году был назначен главноуправляющим путями сообщения; „ужас и бич для подчиненных" (по словам современника), „невежественный грубиян, тыкавший всем, „ругавшийся неприличными словами", взяточник и казнокрад, по словам человека, к нему расположенного, не разделявший своих интересов от интересов казны: „это было одно и то же".—А. Ф. Орлов—главноуправляющий 3-им Отделением, был близок Николаю I.

[30]) „Конечно, во всех концах России слух (об отставке Клейнмихеля) принят будет с искренним удовольствием. Этот человек своей наглостью, бесстыдством и высокомерием стал в последнее время ненавистен... (При нем) целое служебное сословие могло открыто и безнаказанно наживать себе миллионы", — писал 20 окт. 1855 г. своему брату К. Победоносцев („Рус. Мысль", 1911, май, стр. 159).—О популярности стихотворения говорит К. К. Жерве в своих воспоминаниях („Историч. Вестник", 1898, сентябрь, стр. 820).— Стих. неизв. автора; включено по недоразумению в I том сочинений К. С. Аксакова, под ред. Е. Ляцкого (Спб., 1915, стр. 91).

[31]) Из рукописного сборника.

[33]) Из рукописного сборника. Двустишие ходило в Петербурге тотчас после отставки Клейнмихеля в 1855 г.

[33]) Московский полицеймейстер.

[34]) Подмосковное имение Закревского.

[35]) Речь идет об угощении для народа во время коронации Александра I, в 1856 году. Ср. по этому поводу К. С. Аксакова „Былина о народном пиршестве“ и примечания И. С. Аксакова (собр. соч. К. С. Аксакова, т. II, стр. 116 и 653).

[36]) Из рукописного сборника. Автором назван кн. Шаховской. О Закревском см. „Колокол“ Герцена №№ 5, 6, 7, 21, 22 за 1858 год.

[37]) Из рукописного сборника с припиской Скребицкого: со слов Алексея Михайловича Жемчужникова. *Лекс*—фамилия директора департамента в министерстве внутренних дел, кажется, при Николае I или в начале царствования Александра II.

[38]) Из рукописного сборника.

[39]) Очевидно, у нас была плохая рукопись этой басни. (Примеч. Н. П. Огарева).

[40]) Стихотворение в статье Огарева „Кавказские воды“ (Отрывок из моей исповеди), напечатанной в *Полярной звезде* на 1861 год, кн. VI. Огарев в 1838 ездил на Кавказ. Здесь, в Пятигорске, он познакомился через доктора Мейера с А. И. Одоевским и другими декабристами. Встреча с ними возбудила в Огареве, по его признанию, „все (его) симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я—идущий по их дороге, я—обрекающий себя на ту же участь. Это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи, которые вероятно были плохи по форме, потому что я тогда писал много и черезчур плохо, но которые по содержанию наверно были искренни до святости, потому что иначе не могло быть. Эти стихи я послал Одоевскому, после долгих колебаний истинного чувства любви к *ним*, и самолюбивой застенчивости. Часа через два я сам пошел к нему. Он стоял середь комнаты; мои стихи лежали перед ним на стуле. Он посмотрел на меня с глубоким, добрым участием и раскрыл объятья; я бросился к нему на шею и заплакал, как ребенок. Нет! и теперь не стыжусь я этих слез; в самом деле это не были слезы пустого самолюбия. В эту минуту я слишком любил его и их всех, слишком чисто был предан общему делу, чтоб какое-нибудь маленькое чувство могло иметь доступ до сердца. Они были чисты эти минуты, как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению—поколения принявшего завет и продолжающего задачу. С этой минуты мы стали близки друг другу. Он—как учитель, я—как ученик... (стр. 348—350)

Стихотворение приведено в собрании стихотворений Огарева под ред. М. О. Гершензона (т. I, стр. 199) с пропуском одного слова („про Сибирь“); редактор этого издания предполагал, что стихотворение было написано летом или осенью 1838 года, но первые же строки определенно указывают, что стихотворение могло создаться значительно позже, когда Огарев был охвачен воспоминаниями о давно минувшей встрече с декабристами. Ср. стих. „Я видел вас, пришельцы дальних стран“ и „Героическая симфония Бетховена“ (памяти А. Одоевского) т. I, стр. 216 и 354.

[41]) Песенка, пропетая на вечеринке участников кружка А. И. Герцена вызвала полицейские репрессии против Огарева, Герцена (хотя он не был на вечеринке) и др. См. подробности у М. К. Лемке „Очерк жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей“ в „Мире божием“, 1906 № 2.

[42]) Из рукописного сборника с примечанием Н. А. Дубровского.

[43]) Стихотворение 15-летнего юноши приведено в статье Н. П. Огарева, приложенной к сборнику „Потаенная литература“. Лондон 1859.

[44]) Эти стихотворения по цензурным условиям ранее не включались в полное собрание сочинений И. С. Никитина. Они напечатаны в № 7 „Былого“ за 1906 г. Взяты редакцией „Былого“ из подлинной рукописи поэта, хранившейся у наследников Н. И. Второва.

[45]) „Голоса из России“, ч. IV, 2 изд. Лондон. 1858. В этом органе появилось другое стих. Лаврова „Русскому народу“ под общим заголовком „Современные отголоски“ с эпиграфом.

— Et l'ajcute à ma lyre une corde d'airain. Посвящено Виктору Гюго.

[46]) Голоса из России. Часть IV. Лондон. 1858.

[47]) Известный каррикатурист „Искры“, сатирического журнала 50—60-х годов; выпустил несколько каррикатур на Наполеона III.

[48]) А. А. Розенталь, студент, занимался пропагандой в деревне, был судим.

[49]) Помещик Оленин был убит крестьянами за жестокое обращение с ними.

[50]) Этим стихотворением открывался № 1 „Колокола“, вышедший 1 июля 1857 г. в Лондоне.

[51]) „Колокол“ 1 мая 1858, № 14.

[52]) Из архива Н. П. Огарева.

[53]) „Полярная звезда“, кн. VII, вып 2. 1862.

[54]) Эти стихи напечатаны в № 1 „Будущности“ 1860 г. с примечанием: „При восшествии на престол государя в 1855 г. по России ходили следующие стихи, истину коих, увы, мы видим теперь“. Моск. Историко-Рев. Архив.

[55]) Стихотворение „Мысли Россиянина“ напечатано было в заграничной газете „Общее Вече“, которая выходила как прибавление к „Колоколу“, в № 14 за 1863 г. и подписано Фирс Холмогоров. К подписи автор делает примечание: „Я, люди добрые, именинник бываю 14 декабря. Милости просим закусить!“

Фирс Холмогоров.

[56]) Русская библиотека. Том I. Стр. 239—240. Лейпциг 58.

[57]) Колокол № 21, 15 авг. 1858 г.

[58]) Эти стихи были взяты при обыске у Андрущенко, дело которого разбиралось в 1865 году. Это дело прошумело. Отчеты о нем печатал Герцен в „Колоколе“ в 1865 и 1866 г.г. Андрущенко при допросе показал, что стихи „Долго нас помещики душили“ он получил от дворянина Холодовского-Цибульского... Но сам он на допросе свое авторство отрицал, а привлеченные к делу другие обвиняемые Шатилов и Тыщинский показали, что означенные стихи—песня, которая пелась на студенческих пирушках в Казани и многим была известна на память. Эта песня напечатана в заграничном сборнике „Лютня“, вышедшем в Лейпциге в 1869 г. и подписана П. Холодовский-Цибульский. Есть данные, позволяющие установить авторство В. Курочкина.

[59]) Попечитель Моск. учебного округа, приобретший известность тем, что 12 янв. 1855 г. на праздновании столетия Моск. университета был чрезвычайно рассержен, что в зале „не приготовили для симметрии десятой музы“ (из воспоминаний А. И. Дельвига). В 1861 году был назначен мин. народ. просвещения.

[60]) Это стихотворение Михайлов написал в ответ на стих. молодежи: „Узнику“.

[61]) Из „Сборника статей, недозволенных цензурою в 1862 году“. Спб., 1862. Том II.

[62]) „Полярная звезда“ на 1861 год, книга 6.

[63]) Лютня. Собрание свободных русских песен и стихотворений. 7 издание. Лейпциг.

[64]) Лютня. 7 изд.

[65]) М. Н. Муравьев-вешатель, усмиритель польского восстания в 1863 г. Оба стихотворения впервые появляются в печати по списку П. А. Ефремова, сообщенному нам Л. Э. Бухгеймом.

[66—67]) Мин. внут. дел при Александре II.

[68]) Из рукописного сборника.

[69]) Печатается по автографу из архива Н. Огарева.

[70]) Это стихотворение было отпечатано в середине 1869 г. в Женеве отдельными листами и посвящено „молодому другу Нечаеву“. Правда, первоначально оно связано было с памятью „моего друга Сергея Астракова“, но когда оно получило очень широкое распространение, М. А. Бакунин пометил на оригинале своей рукой: „Великолепно, а лучше бы полезнее для дела было бы, если бы заместо имени Астракова ты посвятил это стихотворение „Молодому другу Нечаеву“. Эта перемена в посвящении имела целью поднять

авторитет С. Г. Нечаева. организатора „Народной расправы“. Этот эпизод из истории Нечаева отразился очень заметно в романе Ф. М. Достоевского „Бесы“ в главе VI, где Петр Верховенский (Нечаев) читает „Светлую личность“, прокламационное заграничное стихотворение, представляющее собою пародию на стих. Огарева „Студент“. См. об этом том III „Красного Архива“ за 1923 г., заметку Ю. Оксмана „Судьба одной пародии Достоевского“ стр. 301—303.

[71]) Неизвестного автора. „Земля и Воля“. № 5—1879 г.

[72]) Эти стихи посвящены поэтом подсудимым „Процесса 50“. Процесс пятидесяти—первый большой процесс пропагандистов-землевольцев, продолжавшийся с 21 февр. по 14 марта 1877 г. Процесс „50 москвичей“ произвел огромнейшее впечатление на революционеров и на передовую интеллигенцию В процессе участвовали: С. И. Бардина, Ольга Любатович, Лидия Николаевна Фигнер, рабочий Петр Алексеев и другие. Речи Бардиной и Алексеева облетели всю Россию и до сих пор часто цитируются. Некрасов лежал уже прикованный к одру смерти и больной написал это стихотворение. Оно впервые было с ошибками напечатано в № 47 „Общего Дела“ в марте 1882 г., но покойный Петр Алексеев получил его еще в тюрьме в Петербурге по окончании процесса. Об этом сообщает Богучарский в своей книге „Активное народничество 70-х годов“.

[73]) Это стихотворение написано вскоре после „Процесса 50“ и навеяно образом русской девушки-революционерки.

[74]) Это стихотворение, так-же навеянное „Процессом 50“, написано в 1877 г. и полностью приведено в № I „Былого“ за 1906 г. Это стихотворение положено на музыку и являлось любимой песней заключенных в тюрьме.

[75]) Участница „Процесса 50“ Ольга Спиридоновна Любатович, девушка 24 лет, осуждена 14 марта 1877 года Особым Присутствием Сената на 9 лет каторжных работ за составление тайного общества с революционными целями и ведение социалистическо-революционной пропаганды. Приговор был смягчен, и О. Любатович пошла на поселение. Автор этого стихотворения рабочий.

[75а]) Это был один из видных участников „Процесса 50“. На суде он произнес знаменитую речь, которую закончил пророческими словами: „Поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда... И ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!..“ Он был приговорен к каторге за пропаганду социализма и жил в качестве ссыльного поселенца в Якутской области. В 1891 г. при переезде из одного улуса в другой был зверски зарезан с целью грабежа двумя якутами: Егором Абрамовым и Феодотом. Убийц, поживившихся несколькими рублями, нашли, благодаря песне, которую пел пьяный Егор при многочисленной публике. Перевод этой песни был приложен к делу об убийстве Алексеева.

Песнь якута Егора, убийцы Петра Алексеева.

„Жил в одном улусе русский богатырь силы необыкновенной, богатый (следовали описания его силы и богатства). Но нашлись богатыри-якуты, которые его победили и богатство его себе присвоили. Лежит он бездыханный в дремучем лесу и никогда больше не встанет. Не увидят его никогда, ни конного, ни пешего, ни один человек не увидит, чтобы из трубы его юрты выходил дым...“ Затем Егор обращался к сородичам с просьбой простить за беспокойство, которому они подвергнутся благодаря исчезновению русского. „Не пройдет и двух недель, как вся окрестность—пел Егор—огласится стуком телег с кованными колесами, и понаедут в них люди с блестящими пуговицами. И будут спрашивать-допрашивать всех, куда делся русский? Но никто ничего не скажет, ибо никто не знает, где он! Знают об этом только два богатыря, а кто они, может, впоследствии узнается, но теперь Егор не скажет“.

Песню узнал следователь, привлек Егора и тот сознался.

[76]) Один из участников „Процесса 193“ или „Большого процесса“, тянувшегося свыше 3 месяцев (окт. 1877—23 янв. 1878) изложил в стихах речь обвинителя В. А. Желиховского и пустил по рукам. Оно появилось в загра-

ничной печати в 1882 г. По отзывам участников процесса, автор необыкновенно метко передал содержание речи прокурора и самый тон ее.

[77]) Напечатано в № 1 „Земли и Воли" за 1878 г. от 25 октября. Это стихотворение принадлежит адвокату Ольхину, который был привлечен в 1879 г. по делу Мирского, Тархова, Головина и др. Все они обвинялись в покушении на жизнь шефа жандармов Дрентельна. Ольхин был оправдан, но сослан в северные губернии. Убийство шефа жандармов Мезенцева, как и покушение Веры Засулич на Трепова, поразило всю передовую Россию. Это были не действия организации, по плану из центра, это было проявление глубокого негодования. Мезенцев был убит за то, что он настоял на отмене ходатайства суда о смягчении приговора по „Процессу 193", за то, что был виновен в избиении заключенных Петропавловской крепости, он же способствовал утверждению смертного приговора над Ковальским. Убийство было совершено Степняком-Кравчинским, при участии Адр. Михайлова, А. Баранникова. Все участники скрылись на рысаке. Кравчинский уехал за границу, долго жил в Лондоне. Он написал ряд прекрасных книг, на которых воспитывалась и воспитывается революционная молодежь. Его „Подпольная Россия", романы „Домик на Волге", „Андрей Кожухов", „Павел Руденко" рисуют настроение революционной эпохи и героическую душу самого автора. В 1895 г. Кравчинский был случайно убит поездом железной дороги. После уничтожения Мезенцева он написал брошюру „Смерть за смерть".

[78]) В № 4 1903 г. „Народовольца" это стихотворение напечатано с примечанием: „печатающееся стихотворение получено нами с письмом: Эта песня была довольно широко распространена среди петербургских рабочих второй половины 70-х годов, но в то время вместо „Валерьян! Валерьян!" пели „Вольдемар, Вольдемар" и приурочивали песню к казни Каракозова, которого, к слову сказать, звали Дмитрием Владимировичем, и уже после казни Осинского „Вольдемар" был заменен Валерьяном. Мне никогда не приходилось слышать эту песню от интеллигенции, а исключительно только от рабочих, часто даже стоящих довольно далеко от всяких революционных организаций и знавших о них только по наслышке".

Валерьян Осинский был расстрелян 14 мая 1879 г. в Киеве. „Я имею честь принадлежать к социально-революционной партии,—говорил Осинский на суде, — и признаю лишь суд общественной совести. Что же касается настоящего суда, то я его не признаю и ни на какие вопросы—отвечать не желаю". Валерьян Осинский родился в 1853 г. в Таганроге, в имении отца-генерала. Там же провел детство. С детства отличался неустрашимостью. Был студентом Инст. Путей Сообщ. в Петербурге. На 20 году вступил в кружок лавровцев, затем в 75 г. перешел в народническую партию. Бесконечно долгая подготовка народа пропагандой не удовлетворяла его, потому-то он и перешел от лавристов к бунтарям-народникам, которые ставили себе целью прямую агитацию к бунту. Когда в 77—78 гг. дикие расправы участились, он один из первых провозгласил борьбу с правительством. В 1879 г. его арестовывают в Киеве вместе с некоторыми из товарищей и предают военно-окружному суду по обвинению в составлении тайного общества, имеющего целью ниспровержение существующего строя. Прокурор Стрельников произнес речь, составленную в выражениях, не принятых в порядочном обществе. Он добивался позорной смерти подсудимых и забрасывал их грязью.

Утром 14 мая Осинского и двух осужденных первой группы, Брантнера и Антонова, повели на казнь. Отправляясь на казнь, они все остались верны делу, которому служили; никто не пал духом. На эшафоте, обнявшись и простившись друг с другом, они отдались в руки палачей. В киевской тюрьме Лукьяновке на стене одного из двориков заключенные во время прогулок показывали фамилию: „Валерьян Осинский", которую бережно охраняли, как священную реликвию: „Это он сам выскоблил..." В 1903 году В. Львов-Рогачевский видел в Лукьяновке эту подпись и там же слышал песню: „Ах ты, поле мое, поле чистое".

[79]) Партия „Народной Воли" образовалась в 1879 г. после Липецкого съезда в Тамбовской губернии. На суде виднейший член Исполнительного

Комитета партии „Народной Воли", крестьянин А. И. Желябов в своей блестящей речи о возникновении и задачах партии говорил следующее:

...„В нашей деятельности была юность розовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виною: мы, переиспытав разные способы действовать в пользу народа, в начале 70-х гг. избрали одно из средств, именно, положение рабочего человека, с целью мирной пропаганды социалистических идей. Движение крайне безобидное по средствам своим, и чем оно окончилось? Оно разбилось исключительно о многочисленные преграды, которые встретило в лице тюрем и ссылок. Движение совершенно бескровное, отвергавшее насилие, не революционное, а мирное—было подавлено.

Непродолжительный период хождения нашего в народе показал всю книжность, все доктринерство наших стремлений, а с другой стороны—убедил, что в народном сознании есть много такого, за что следует держаться, на чем до поры до времени следует остановиться. Считая, что при тех препятствиях, какие ставило правительство, невозможно провести в народное сознание социалистические идеалы целостью, социалисты перешли к народникам... Мы решили действовать во имя сознанных народом интересов, уже не во имя чистой доктрины, а на почве интересов, присущих народной жизни, им сознаваемых. Это отличительная сторона народничества ..

... Таким образом изменился характер нашей деятельности, а вместе с тем и средства борьбы,—пришлось от слова перейти к делу. Вместо пропаганды социалистических идей выступает на первый план агитационное возбуждение народа во имя интересов, присущих его сознанию. Вместо мирного слова мы решили перейти к фактической борьбе. Эта борьба всегда соответствует количеству накопленных сил. Прежде всего ее решились пробовать на мелких фактах. Так дело шло до 1878 г. В 1878 г. впервые, насколько мне известно, явилась мысль о борьбе более радикальной, явились помыслы рассечь Гордиев узел, так что событие 1-го марта по замыслу нужно отнести к зиме 77—78 гг.

В этом отношении 1878 г. был переходный, что видно из документов, например, из брошюры: „Смерть за смерть". Партия еще не уяснила себе значения политического строя в судьбах русского народа, хотя все усилия наталкивали ее на борьбу с политическою системою... Северяне, а затем часть южан, собравшись в лице своих представителей, определили новое направление... Я участвовал в Липецком с'езде. Решения этого с'езда определили ряд событий, в которых я принимал участие и за участие в которых я состою в настоящее время на скамье подсудимых... Основное положение было такое, что социально-революционная партия—и я в том числе, это мое убеждение,—должна уделить часть своих сил на политическую борьбу. Намечен был и практический путь: это путь насильственного переворота путем заговора, и для этого организация революционных сил в самом широком смысле.

После Липецкого съезда, при таком взгляде на надобность организации, я присоединился к организации, в центре которой стоял Исполнительный Комитет, и содействовал расширению этой организации: в его духе я старался вызвать к жизни организацию единую, централизованную, состоящую из кружков автономных, но действующих по одному общему плану в интересах одной общей цели"...

Речь Желябова была напечатана полностью в стенографическом отчете „Дела 1-го марта", откуда мы и взяли этот отрывок.

80) Это стихотворение было напечатано в 1880 г. в народовольческом издании „Рабочей Газеты", № 1 (Моск. Рев. Архив).

81) В № 1 „Рабочей Газеты" 1880 г., 15 декабря, в траурной рамке напечатано было: „4 ноября в 8 час. 10 мин. утра в Иоанновском равелине Петропавловской крепости повешены социалисты-революционеры Александр Александрович Квятковский и Андрей Корнеевич Пресняков". Под этим извещением было напечатано:

„5 ноября, на другой день после казни наших братьев, товарищей Александра Квятковского и Андрея Преснякова, от рабочих, членов партии „Народной Воли", была выпущена прокламация к товарищам-рабочим:

„Товарищи!—говорилось в ней—неужели мы не отомстим за своих заступников и борцов? Неужели мы будем молчать перед своими мучителями?! Нет! Иначе кровь этих мучеников за народное счастье и волю падает и на наши головы.

Товарищи-рабочие! Пора взяться за ум! Пора призвать к ответу своих притеснителей, разорителей! Пора русскому народу взять управление делами в свои руки“!

[82]) В 1878 г. Саблину, участнику „Процесса 193“, было зачтено предварительное заключение. Участвовал в 1881 г. в деле 1-го марта: на конспиративную квартиру Саблина и Геси Гельфман рано утром 1-го марта были принесены бомбы, приготовленные Кибальчичем. На ту же квартиру за снарядами явились и метальщики. 3 марта 1881 г. Саблин застрелился.

[83—84]) Это стихотворение помещено в „Народной Воле“ 1885 г., октябрь. Инспектор секретной полиции Судейкин был убит в 1883 г. на квартире своего деятельного помощника, провокатора Дегаева. Дегаев перешел на службу к правительству в 1882 г., после ареста в Одессе, когда на его квартире взяли типографию „Народной Воли“. Уже через несколько дней после ареста он передал Судейкину все, что знал и, как провокатор, был выпущен на волю. Судейкин вполне использовал великолепные связи этого народовольческого Азефа. Благодаря Дегаеву правительство, напуганное террористами, раньше уже готовое итти на переговоры, прекратило эти переговоры, узнавши истинное положение дел в народовольческой организации. Когда народовольцы поняли роль Дегаева, ему под угрозой смерти предложили способствовать казни Судейкина. В 1883 г. он помог Стародворскому и Конышевичу уничтожить этого духовного отца провокаторов. Стародворский и Конышевич скоро были арестованы и заключены в Шлиссельбургскую тюрьму, а Дегаев скрылся в Америку.

[85]) В 1879 г. Минаков и Говорухин были привлечены Одесским воен. окружн. судом в качестве обвиняемых по делу о покушении на убийство шпиона Гоштофта и осуждены на каторгу. В 1882 — 83 гг. Минаков отбывал ее на Каре, а впоследствии был отправлен в Шлиссельбург. Здесь он был расстрелян в 1884 г. за то, что ударил одного из тюремщиков. Приводимую выше песню сообщил „Былому“ бывший на Каре вместе с Минаковым Н. Виташевский. Последний не встречал непреложных указаний, что приводимая песня принадлежит Минакову, он даже не может припомнить, от кого именно слышал, что Минаков автор и композитор мелодии. Но он утверждает, что при нем никто и никогда не приписывал ее другому и даже не возражал против предположения, что она плод творчества Минакова. Песня эта напечатана в № 11 „Былого“ за 1906.

[86]) Поливанов за попытку освободить из Саратовской тюрьмы революционера Новицкого был присужден в 1882 г. военным судом к смертной казни, которая была заменена вечным заключением сперва в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, а потом в Шлиссельбурге. В 1902 г. он был увезен из крепости в Степное генерал-губернаторство, откуда в апреле 1903 г. благополучно бежал. В 1903 г. в типографии партии соц.-рев. была отпечатана книжка: „Кончился“, рассказ П. Поливанов, посвященный „дорогой памяти друзей, замученных в Алексеевском равелине Петропавловской крепости“ (1882—84 г.).

В этом рассказе П. Поливанову удалось ярко выразить кошмарность пережитого им самим в каменном мешке. Ту же кошмарность он передал в ряде своих стихотворений, напечатанных в той же книжке. Эти стихотворения поясняют, почему П. Поливанов уже на свободе не выдержал и покончил с собой после того, как протомился два года в Алексеевском равелине да 18 лет в Шлиссельбурге.

[87]) В книжке „Узники Шлиссельбурга“ В. Н. Фигнер по поводу этого стихотворения пишет: „Это стихотворение посвящено мною Людмиле Александр. Волкенштейн, с которой в первый раз я встретилась 24 сент. 1884 г. в Петербурге, в зале суда, а рассталась в Шлиссельбурге 23 ноября 1896 г. Эпизод убийства князя Кропоткина в Харькове, по поводу которого Л. А. была привлечена к процессу четырнадцати, не имел никакой прямой связи с другими судившимися.

Улики были не велики, но Л. А. не желала скрывать свои убеждения. Она открыто признала свое полное сочувствие террористической деятельности партии „Народной Воли", свое полное участие в деле Кропоткина и заявила, что вернулась из-за границы с целью отдать свои силы на дальнейшую деятельность партии в том же направлении".

Военный суд приговорил ее к смертной казни, которая была заменена каторгой на 15 лет. В 1896 г. она была отправлена из крепости на Сахалин. В 1906 г., 10 января, была убита в толпе случайной пулей. О прекрасной душе ее, чуткой, отзывчивой, о товарищеской поддержке рассказывают ее товарищи по заключению. „Миссия и роль ее в тюрьме,—пишет В. Н. Фигнер,—была велика, и многие сердца навсегда запечатлели ее образ и сохранят о ней горячее воспоминание, полное признательности. В Шлиссельбурге и на Сахалине она была одна и та же—великая своей силой любви к людям, полная благоразумного мужества и неуклонной стойкости".

[88]) Ю. Богданович умер в Шлиссельбурге в 1888 г. В статье „Портреты народовольцев" („Былое" 1918 г. № 10) В. Н. Фигнер дает живой и яркий портрет Юрия Богдановича. Она рассказывает, что у него было совершенно простое демократическое лицо, которое как нельзя более подходило к принятой им в 1881 г. роли торговца. Это лицо вместе с находчивостью необыкновенным умением говорить и держаться по-простонародному, послужило главной причиной, почему на его долю выпала эта трудная и важная роль. „В качестве хозяина магазина он за стойкой в своем белом фартуке был восхитителен. Это был настоящий типичный торговый человек". *Задушевность* была главной чертой его характера. Богданович, по отзыву Фигнер, был „выдающимся по своей нравственной чистоте, и это придавало ему особенное чарующее обаяние. При встрече с ним чувствовался не столько деятель, сколько чудный человек".

[89]) В специальном номере „Былого" за 1918 год (№ 10—11), посвященном „1 марта 1881 г.", в художественной статье В. Н. Фигнер „Портреты народовольцев", В. Н. Фигнер пишет: „Фигура и мрачное лицо Баранникова вполне гармонировали с решительностью его убеждений, и если бы нужно было дать физическое воплощение террору, то нельзя было-бы сделать лучшего выбора, как взять образ Баранникова. По смелости и отваге это был—настоящий герой. Если кого-нибудь можно назвать ангелом мести, то именно его. Впечатление, которое он производил, было всегда громадно. Таково оно было и на суде. По крайней мере, относительно Спасовича передавали, что на него глубокое впечатление произвел именно Баранников. Его счастливая наружность обеспечивала ему большой успех среди женщин и в некоторых он вызывал настоящее поклонение. Смерть этого могучего по своему сложению человека еще в равелине,—чрезвычайно поразила меня. Я никак не могла помириться с тем, что именно он, при его молодости, силе и здоровьи, мог сойти в могилу, когда гораздо более слабые пережили первый период заключения Шлиссельбурга.

Стихотворение, написанное мною в Шлиссельбурге в части его, хоть немного, но все же рисует этого, далеко не обыкновенного человека, прекрасного как физически, так и духовно".

[90]) Напечатано в 1906 г. в № 1 сборника „Воля", вышедшего в Нагасаки под. ред. Оржика.

[91]) 10 февраля 1883 г. В. Н. Фигнер, последний член Исполнительного Комитета партии „Народной Воли", была арестована в Харькове по доносу и указанию предателя и провокатора, Дегаева, который одно время играл виднейшую роль в партии, уже служа Судейкину и его планам. 1884 г., 13 сентября, она и 13 ее товарищей предстали перед судом. По обстоятельствам дела она являлась центральным лицом в деле о „военной организации". Прокурор в своей речи выразил удивление, как по отношению к качеству совершенных ею действий, так и по отношению к количеству.

Она была приговорена к смертной казни, казнь была заменена бессрочной каторгой.

В. Н. Фигнер или, как ее звали, „Мадонна русской революции", была погребена в Шлиссельбурге и 20 лет провела „на острове мертвых, у исто-

ков Невы", в тюрьме, о которой говорили: „сюда входят, но отсюда не выходят", „отсюда выносят, но отсюда не выходят".

За каменными глухими стенами развертывался трагический свиток ее жития. Стихи и воспоминания тонкой, талантливой, героически настроенной революционерки-террористки приподнимают завесу над тем миром, в который вошли лучшие люди России, переступившие запретный „порог".

Трагизм эпохи, героизм горсточки мужественных людей сумела увековечить В. Н. Фигнер в своих простых, глубоких и благородно-сдержанных произведениях.

В своих воспоминаниях последний член Исполнительного Комитета, В. Н. Фигнер, пишет глубоко правдивые и страшные по глубине муки строки о своих переживаниях перед судом:

„Как последний член Исполнительного Комитета и представитель партии „Народной Воли", я должна была говорить на суде, а по настроению мне было не до произнесения речей. Я была подавлена общим положением дел в нашем отечестве: сомненья не было—борьба, протесты были кончены на много лет, наступила темная реакция, морально тем более тяжелая, что ждали не ее, а полного обновления общественной жизни и государственного строя. Борьба велась неслыханно тяжелыми средствами, но за них платили жизнью и верили, надеялись и уповали. Но народ безмолвствовал и не понимал, общество молчало, хотя и понимало. Колесо истории было против нас". („Суд идет").

Эти строки прекрасно объясняют, отчего поэзия этого периода проникнута такой энергией отчаяния, почему „пожертвованное поколение", „поколенье проклятое богом", чуждое народу, таким мрачным героизмом овеяло свои поэтические думы и чувства, свои мечты о жертве, о подвиге, о смерти.

[92]) П. Ф. Якубович начал писать свои стихи в конце 70-х годов, под псевдонимом Рамшев, но лучшие его стихи написаны в 80-е годы. В 1887 г. вместе с другими участниками процесса 21, или Лопатинского дела, он был предан петербургскому военно-окружному суду, и 4 июня председатель этого суда Цимиров прочел приговор, присуждавший Лопатина, Салову, Сухотина, Иванова, Стародворского, Конышевича, Якубовича и др. к лишению всех прав состояния и смертной казни через повешение. Целых три недели осужденные ждали решения своей участи, в том числе Якубович, которому казнь была заменена ссылкой на каторгу на 18 лет. Поэт был послан отбывать каторжные работы на Акатуй Забайкальской области. С головой, обритой наполовину, и закованный в цепи он пошел на каторгу, там выстрадал он свою книгу „Из мира отверженных" и там же кровью сердца своего написал многие из своих стихов, помеченных „Акатуй" или „Кара". По возвращении из Сибири Якубович вместе с Короленко, Анненским, Михайловским редактировал „Русское Богатство". Он до конца дней сохранял, по отзывам знавших его, необычайную живость, чуткость. Поэзия Якубовича-П. Я. более чем литература, это драгоценнейший документ эпохи, совпавшей с разгромом партии „Народной Воли". Настроения Якубовича—это настроения последних народовольцев, „пожертвованного поколения", „поколенья, проклятого богом". Вот почему два томика стихотворений П. Я. явились настольной книгой революционного поколения. Не следует забывать, что в 1883—84 г. г. Якубович был одним из руководителей революционного движения и участником в составлении № 10 „Народной Воли". В этом № говорится в статье „Вместо внутреннего обозрения": „Мы ясно видим, что народ изверился в правительство, что он исстрадался в конец, что он устал терпеть, что ему невмоготу более нести свой тяжелый крест, что он беспокойно бьется в своих узах, поэтому всякий призыв к нему поговорить по душе о своих нуждишках, своих делишках и о разном прочем—глубоко всколыхнет народное море и вызовет в нем радостный отклик. Раздастся ли этот призыв с высоты трона поколебленного, или же он будет сделан самой партией, *захватившей* на момент в свои руки правительственную власть,—*это все равно*". В то же время Якубович в своем письме к Шебалину, которое было приложено к материалам обвинительного акта, подтверждает приведенные из № 10 строки. „Еще

в 8—9 № своего органа—писал П. Я.—партия заявляла, что цель ее—*захват власти*, и что же? В настоящее время иного народовольца такие задачи заставляют улыбнуться. Формула наша стала иная—призыв народа с высоты трона поколебленного... Мы не берем на себя пророчеств. Но я верю подобно автору прекрасной статьи „Вместо внутреннего обозрения" в № 10 „Народ. Воли", что русский народ—великий народ, что момент созвания земского сбора будет великий момент и не пройдет бесследно в русской жизни и истории. Страстный энтузиазм, который охватит народ и общество первоначально на почве политической, неизбежно повлечет за собою и всю долю необходимых и осуществимых в настоящее время реформ экономических. Это – наша вера" (смотри „Из истории политической борьбы" Богучарского, стр. 468). Поэт-народоволец уже не верит в спасительность террора и в торжество единоличных выступлений. Как раз около этого времени (1883—84) поэтом написана сказка „Меч и Лира", проникнутая личным настроением.

В ней поэт вполне определенно говорит о своем отношении к Мечу. Его герой—будущий поэт—уже не может стать террористом, увидев кроткий лик родины, „страдалицы святой, истерзанной нуждою и кручиной, увидев кровь ее глубоких ран, он закричал о мщении. И что же? Вдруг ощутил, что мстителем суровым ему не быть, что для волнений битвы он робок и бессилен, как дитя. Он услыхал там, где-то в глубине своей души—*борьбу и тайный ропот, немолчный спор двух страстных голосов.* Там—что-то плакать и стонать хотело, там—что-то муками такими надрывалось, какие прочим смертным незнакомы". Началась та страдальческая повесть последних народовольцев, которую певец-народоволец и поведал в своей поэзии.

92а) Относится к 1895 году. Знаменитая фраза б. царя Николая II на приеме во дворце, сказанная по поводу либеральных пожеланий тверских немцев, была оценена современниками даже из охранительного лагеря, как выражение тупой реакции нового деспота (см., напр. в дневнике А. В. Богданович, стр. 189).

93) София Перовская казнена 3 апреля 1881 г. вместе с А. Желябовым, Михайловым, Кибальчичем и Рысаковым. Ее образ остался навсегда самым дорогим и светлым в истории освободительного движения. Тургенев назвал ее „святой", Г. И. Успенский „девушкой строгого монашеского облика". В этом стихотворении поэт рисует Перовскую в тот момент, когда она узнала, что любимый человек (Желябов) идет на гибель.

94) Григорий Андреевич Гершуни родился в 1870 г. в Западном крае в мелкобуржуазной еврейской семье, учился в Шавельской гимназии, которую оставил по недостатку средств. В 1895 г. поступил в Киевский университет, где выдержал экзамен на провизора. В 1898 г. переехал в Минск. Там одновременно с широкой культурно-просветительной деятельностью начал конспиративную революционную работу. Им был приготовлен печатный станок для союза соц.-рев. Он же поставил транспорт нелегальной литературы.

После больших минских арестов был увезен в Москву. Освобожденный из тюрьмы, куда он попал по делу „Рабочей партии политического освобождения России", Гершуни вошел в 1901 г. в объединившуюся партию соц.-рев. и стал основателем боевой организации. Этот убежденный революционер-террорист, обладавший железной волей, решимостью и бесстрашием, вместе с Брешковской—„бабушкой", стал играть огромную роль при организации целого ряда террористических актов.

Первым было совершено убийство Сипягина, министра внутренних дел, 2-го апреля 1902 г. Центральный Комитет после этого террористического акта, произведшего сильное впечатление, признал „Боевую Организацию" своим органом. Решающая, руководящая роль в боевой организации принадлежала Гершуни. Им подготовлялось покушение на Победоносцева, он организовал покушение на харьковского губернатора князя Оболенского после „ужасающих избиений безоружных крестьян плетьми и розгами", им было подготовлено убийство (6-го мая 1903 г.) уфимского губернатора Богдановича, виновного в расстреле златоустовских рабочих 13 марта 1903 года.

После убийства Богдановича, Гершуни и совершивший террористический акт Дулебов скрылись из Уфы. В Киеве Гершуни был арестован 13 мая

1903 г. В 1904 г. военно-окружный суд приговорил Гершуни к повешению, но смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. Сперва он был заключен в Шлиссельбург, но в мае 1906 г. перевезен в Акатуй вместе с Мельниковым, Сикорским и Созоновым. С каторги вскоре Гершуни бежал и принял участие в половине февраля 1907 г. во 2-м съезде партии, где он был избран председателем. В 1908 г. Гершуни умер.

Этим неутомимым и непримиримым революционером было написано стихотворение „Разрушенный мол", которое было очень популярно среди молодежи. По стилю оно напоминает Горьковского „Буревестника", и одно время его приписывали М. Горькому В 1905 г. это стихотворение вышло с разрешения цензуры отдельной брошюрой под № 137 в издании Донской Речи, продавалось по одной коп. и разошлось во многих тысячах экземпляров.

[95]) С. В. Балмашов род. в Пинеге, где отец отбывал ссылку, в 1881 г. 3 апр. По постановлению Боевой Организации П. С.-Р. привел в исполнение приговор над мин. вн. дел Сипягиным. 3 мая 1902 г., казнен в Шлиссельбурге.

[96]) 4 февраля 1905 г. по постановлению боевой организ. П. С.-Р. И. П. Каляев бросил бомбу в карету Сергея Романова. Московский генерал-губернатор был убит на месте. Каляев был арестован, присужден военным судом к смертной казни и казнен 10 мая в Шлиссельбурге.

[97]) В этом стихотворении Волошина говорится об одной из самых потрясающих страниц революционной истории. Эту страницу необходимо напомнить. 16 января 1906 г. на станции „Борисоглебск" был смертельно ранен несколькими выстрелами из револьвера советник тамбовского губернского правления Луженовский. Он был приговорен к смерти Тамб. Ком. Соц.-Рев. за зверское истязание крестьян во время аграрных волнений, за разбойные похождения в городе в качестве начальника охраны, за организацию черной сотни в Тамбове. Юная девушка 21 года М. А. Спиридонова добровольно взяла на себя исполнение приговора и успешно выполнила дело. Она была арестована на вокзале, тут же, где произошло убийство. Первоначально охрана Луженовского растерялась, а затем схватила девушку и тут же начала свои невероятные истязания под руководством казачьего есаула Абрамова. В своем письме Мария Спиридонова рассказывала об этих истязаниях: „Охрана в это время опомнилась; вся платформа наполнилась казаками, раздались крики: „бей", „руби", „стреляй!" Обнажились шашки. Когда я увидела сверкающие шашки, я решила, что тут пришел мой конец, и решила не даваться им живой в руки. В этих целях я поднесла револьвер к виску, но на полдороге рука опустилась. а я, оглушенная ударами, лежала на платформе. „Где ваш револьвер?"—слышу голос наскоро обыскивающего меня казачьего офицера. И стук прикладом по телу и голове отозвался сильной болью во всем теле. Пыталась сказать им: „Поставьте меня под расстрел". — удары продолжали сыпаться. Руками я закрыла лицо, прикладами руки снимались с него. Потом казачий офицер высоко поднял меня за раскрученную косу, сильным взмахом бросил на платформу. Я лишилась чувств, руки разжались, и удары посыпались по лицу и голове. Потом за ногу потащили вниз по лестнице. Голова билась о ступеньки, за косу внесена на извозчика. В каком-то доме спрашивал казачий офицер, кто я, и как моя фамилия? Идя на акт, я решила ни одной минуты не скрывать своего имени и сущности поступка. Но тут забыла фамилию и только бредила; били по лицу и в грудь. В полицейском управлении была раздета, обыскана, отведена в камеру холодную, с каменным полом, мокрым и грязным. В камеру в 12 или в 1 час дня пришел помощник пристава Жданов и казачий офицер Абрамов. Я пробыла в их компании с небольшими перерывами до 11 часов вечера. Они допрашивали и были так виртуозны в своих пытках, что Иван Грозный мог им позавидовать. Ударом ноги Жданов перебрасывал меня в угол камеры, где ждал меня казачий офицер, наступал мне на спину и опять перебрасывал меня Жданову, который становился мне на шею. Они велели раздеть меня донага и не велели топить мерзлую и без того камеру. Раздетую, страшно ругаясь, они били нагайками (Жданов) и говорили: „Ну, барышня (ругань), скажи зажигательную речь". Один глаз ничего не видел, и правая часть лица была страшно раз-

бита. Они нажимали на нее и лукаво спрашивали: „больно, дорогая?“ „Ну, скажи, кто твои товарищи?“ Я часто бредила и, забываясь в бреду, мучительно боялась сказать что-либо. В показаниях этих не оказалось ничего важного, кроме одной чуши, которую я несла в бреду. Придя в сознание, я назвала себя, сказала, что я социалистка-революционерка, и что показание дам следственным властям; то, что я тамбовка, могут засвидетельствовать товарищ прокурора Каменев и другие жандармы. Это вызвало бурю негодованья: выдергивали по одному волосу из головы и спрашивали, где другие революционеры. Тушили горящую папиросу о тело и говорили: „Кричи же, сволочь!“ В целях заставить кричать, давили ступни „изящных“—так они называли,—ног сапогами, как в тисках, и гремели: „Кричи (ругань). У нас целые села коровами ревут, а эта маленькая девчонка ни разу не крикнула, ни на вокзале, ни здесь. Нет, ты закричишь, мы насладимся твоими мучениями. мы на ночь отдадим тебя казакам“... „Нет, — говорил Абрамов, — сначала мы, а потом казакам“—и грубое объятие сопровождалось приказом „кричи“. Я за все время битья на вокзале и потом в полиции ни разу не крикнула. Я все бредила. В 11 ч. с меня снимал показание судебный следователь, но он в Тамбове отказался дать материал, так как я все время бредила. Повезли на экстренном поезде в Тамбов. Поезд идет тихо. Холодно, темно. Грубая брань Абрамова висела в воздухе. Он страшно ругает меня. Чувствуется дыхание смерти. Даже казакам жутко: „Пой, ребята, что вы приуныли. пой, чтоб эти сволочи подохли при нашем весельи“. Гиканье и свист. Страсти разгораются, сверкают глаза и зубы, песня отвратительная. Брежу: „воды“ — воды нет. Офицер ушел со мной во II-й класс, он пьян и ласков, руки обнимают меня. пьяные губы шепчут гадко: „Какая атласная грудь, какое изящное тело“. Нет сил бороться, нет сил оттолкнуть. Голоса не хватает да и бесполезно. Разбила бы голову, да не обо что. Да и не дает озверелый негодяй. Сильным взмахом сапога он ударяет мне на сжатые ноги, чтобы обессилить их; зову пристава, который спит. Офицер, склонившись ко мне и лаская мой подбородок, нежно шепчет мне: „Почему вы так скрежещете зубами,—вы сломите ваши маленькие зубки“. Не спала всю ночь, опасаясь окончательно насилия. Днем предлагает водки, шоколаду; когда все уходят, ласкает. Перед Тамбовом уснула на час. Проснулась потому, что рука офицера была уже на мне. Вез в тюрьму и говорил: „Вот я вас обнимаю“. В Тамбове бред и сильно больна“.

Суд над Спиридоновой явился судом над самодержавным застенком.

В своем последнем слове Спиридонова сказала:

„Гг. судьи, оглянитесь кругом: где вы видите веселые лица довольных и счастливых людей? Их нет! Даже те, на стороне которых сейчас торжество,—и те не веселы, и их торжество отзывается печалью, потому что они знают, что торжество их скоро кончится, потому что все придавленные, угнетенные и замученные перестанут стонать, а придумают что-нибудь иное. Я ухожу из этой жизни. Вы можете меня убить, вы можете меня несколько раз хотя бы убить, можете изобрести самые ужасные наказания, но прибавить к тому, что я вынесла, ничего не можете. Смерти я не боюсь. Убивайте меня,—вы не сможете убить мою веру в то, что настанет пора народного счастья, народной свободы, когда народная жизнь выльется в формы, где правда и справедливость будут реализованы, когда идеи братства, равенства и свободы не будут пустой звук, а воплотятся в действительность. О, за это, право, не жалко отдать свою жизнь! Кончила“.

После долгих томительных 16 дней, наконец, М. А. Спиридоновой 27 марта (9 апреля) был объявлен приговор в окончательной форме—смертная казнь заменена бессрочными каторжными работами.

М. А. Спиридонова выслушала приговор совершенно спокойно, в состоянии же ее здоровья произошло ухудшение.

Палачи Марии Спиридоновой понесли должную кару: Абрамов был убит в Борисоглебске выстрелом из револьвера. Жданов был заколот кинжалом.

[98]) Зинаида Коноплянникова родилась 2 ноября 1879 г. Отец ее был солдатом, а потом служил вахтером в Петербурге, мать крестьянка. 19 лет кончила учительскую семинарию и учительствовала в поселке Черном Лифлянд-

ской губ., а позднее в Петергофском уезде. Была уволена за неблагонадежность. Отдалась революционной деятельности. Была несколько раз арестована. В декабре 1904 г. бежала заграницу. В 1905 г. вернулась на родину. В дни декабрьского восстания особенно неистовствовал генерал Мин, прославившийся расстрелами и в Москве, и на железнодорожных станциях. В августе 1906 г. тремя выстрелами из револьвера убила на вокзале генерала, собиравшегося ехать в Петербург. Она могла бросить бомбу, которая была при ней, и легко скрыться, так как на станции почти не было народу. Но с генералом были жена и дочь, и Коноплянникова, боясь лишних жертв, прибегла к револьверу и пошла на верную смерть. 26 августа ее судили в одной из камер Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Свою речь на суде она окончила словами:

„Вы меня приговорите к смертной казни. Где бы мне ни пришлось умереть—на виселице-ли, в каторге-ли, застенках-ли, я умру с одной мыслью: Прости, народ! Я так мало могла тебе дать—только одну свою жизнь. Умру же я с полной верой в то, что наступят

. . . Те дни недалекие
Когда трон, пошатнувшись, падет,
И над русской равниной широкою
Ярко солнце свободы взойдет.

В ночь с 28 на 29 августа Коноплянникову перевели из Петропавловской крепости в Шлиссельбургскую, где рано утром повели на казнь. Она бодро взошла на эшафот и сама надела на себя петлю. Она давно считала себя обреченной и об этом говорила в своих стихах. Одно из них извлекаем из „Голоса Минувшего“ № 10—12-1918 г. (из записки А. М Хирьякова. „Зинаида Коноплянникова“, стр. 304—305).

[99]) За это стихотворение журнал „Современный Мир“ получил предостережение.

[100]) Черносотенный орган публициста правящей клики, кн. Мещерского.

[101]) Это стихотворение приписывали либеральному К. Р., как и басню „Лев и Ослы“. Оба произведения вызваны отлучением Льва Толстого от церкви смиренными святителями православной церкви, семью руководителями синода.

[102]) Все три печатаемые стихотворения приведены в №№ 1, 2 и 3 „Голоса Минувшего“ за 1918 год. Отлучение Л. Толстого всколыхнуло и возмутило самые умеренные круги После отлучения от церкви Л. Н. Толстого, его портрет на передвижной выставке в Петербурге был публично осыпан цветами.

[103]) Егор Ефимович Нечаев род. 1860 г. 40 лет работал на стекл. заводе. Начал печатать стихи 91-92 г.г. Жив и поныне. Молодые поэты зовут его „дедушкой“ пролетарских поэтов.

[104]) Ф. С. Шкулев родился в 1868 г. в бедной крестьянской семье, с 10 лет попал на ткацкую фабрику, где лишился руки и ноги. Печатаны стихи в 1890 г.

[105]) Александр Алексеевич Богданов, род. в 1874 г. Начал печатать стихи в 1893 г. Старый партийный работник, большевик. Еще до раскола С.Д.Р.П. много работал в подпольных организациях. Некоторые его стихи печатались в „Рабочей Мысли“. Был популярным поэтом в 900-е годы. Много лет провел в тюрьмах и ссылке. Работал среди пролетарских поэтов в Петрограде в 1917 г. и в Сибири. Александра Алексеевича Богданова иногда смешивали с Александром Александровичем Богдановым, известным теоретиком, игравшим в 1918-1919 г.г. видную роль в Пролеткульте. Все приводимые здесь стихи Ал. Алексеевича Богданова сообщены поэтом с его пометками.

[106]) Печаталось в журнале „Жизнь“—в 1889 г. Было принято редакцией „Новое Слово“ в 1896 г., но журнал был закрыт.

[107]) Первоначальный вариант этого стихотворения был написан в 1901 г. в „Крестах“ и передан в папироске на волю. Напечатан в „Рабочей Мысли“ 1901 г.

[108]) Стихотворение напечатано в „Рабочей Мысли“. Написанное в „Крестах“, оно было передано на волю в папироске во время свиданья.

Назначенная на 18 апреля демонстрация не состоялась.

[109]) 8 февраля 1899 г. в день акта в Петербургском университете на студентов, возвращавшихся мирными группами после сходки, налетел конный патруль и по команде офицера: „В нагайки!", стал наносить удары направо и налево. По словам студенческого „Бюллетеня", „некоторые студенты пострадали серьезно, другие меньше. Били и стороннюю публику, смяли одного старика, раскроили череп мальчишке, кондуктору конки, избили курсистку и т. д.". Эта расправа возмутила и взволновала студенчество всех высших учебных заведений России. Уже 9 февраля в Петербурге на сходке, в которой участвовало 2.000 студентов, было постановлено прекратить хождение на лекции и работы в лабораториях и не подавать никаких петиций, так как последние ни к чему не ведут. К движению петербургских студентов примкнули Москва, Киев, Томск, Харьков. Мирное студенческое движение после 8 февраля принимает яркую политическую окраску, самая форма борьбы — забастовка — заимствуется у рабочих. Свою прокламацию от 12 февраля 1899 г. киевский союзный совет заканчивает такими словами:

„Товарищи! Соберем все силы, и покуда их хватит, будем твердить, что немыслимо жить в затхлой атмосфере, созданной правительственным режимом, немыслимо молчать, видя бессмысленные выходки достойного потомка первого Николая, и твердо верим, что недалек тот день, когда из наших протестов вырастет общественное движение, которое зловещим громом раздается над истинными прислужниками трона и неумолимой волной смоет гнусные следы современного строя". На движение студентов правительство ответило исключением из университета, арестами, высылкой и, наконец, отдачей в солдаты.

В ответ на эти распоряжения состоялась казанская демонстрация 4 марта 1901 г. в Петербурге, затем последовал выстрел студента Карповича в министра народного просвещения Боголепова. Лучшие из студентов примкнули к революционному движению. Бывший киевский студент Балмашов, участник движения 1899 г., убивает в 1902 г. 2 апреля министра внутренних дел Сипягина. Сотни студентов и курсисток участвуют в рабочем движении После 9 января 1905 г. все высшие учебные заведения объявили забастовку протеста и позднее по призыву соц.-демократ. газеты „Искра" открыли двери своих аудиторий для рабочих митингов. Начав борьбу за автономию университета против устава 1884 г., студенчество, под влиянием рабочего революционного движения и под градом правительственных репрессий, проходит в борьбе против отжившего политического строя. Это яркое политическое настроение учащейся молодежи конца 90-х годов и начала девятисотых годов отразилась в известном стихотворении М. Горького „Буревестник" и мн. др. произведениях.

Стих. А. Богданова было написано по поводу демонстрации у Казанского собора, появилась с ценз. измен. в „Журнале для всех" в 1901 г.

[110]) Это стихотворение написано под влиянием сообщений о карах, посыпавшихся на студенчество после 1899 г.

[111]) Автор — бывш. заключенный в Петропавловской крепости.

[112]) Эта сказка появилась в № 1 „Рабочего Дела" (апрель 1899 г.) и была очень популярна в рабочих кружках, она учила, как держать себя на допросе. Моск. Историко-Рев. архив.

[113]) Три стихотворения рисуют в лице генерала Куропаткина бездарность царских милитаристов в Японскую войну 1904 г.

[114]) Это стихотворение воспроизведено в 1919 г. в „Известиях Моск. Сов. Раб. и Красноарм. Деп." в номере от 9-го января с целым рядом поправок и вставкой.

[115]) Андрей Андреевич Жулковский — старый партийный работник подпольной типографии, умерший недавно в г. Майкопе.

[116]) День 17 октября 1905 года в Москве был омрачен убийством из-за угла одного из передовых борцов за освобождение рабочего класса т. Н. Э. Баумана.

Н. Э. Бауман был членом Центрального Комитета большевиков и принимал активное участие в работе среди московского пролетариата. В ро-

ковой для него день он с утра находился в здании Моск. технического училища, где с утра происходили совещания Моск. Комитета партии, собрания различных профессиональн. групп и целый ряд митингов. Шло обсуждение и критика распубликованного утром октябрьского манифеста. Около полудня сюда докатились первые отклики уличных демонстраций рабочих в центре города. Бауман с несколькими товарищами поспешил туда, но, едва выйдя из здания, он был настигнут одним черносотенцем, который с железным ломом в руке напал на него сзади и несколькими ударами убил его на месте. Когда товарищ подбежал к Бауману, он уже лежал на мостовой без чувств. Товарищи на руках перенесли его в здание училища, где над свежим трупом его жена призывала к неослабному продолжению борьбы до окончательной победы.

Грандиозные похороны Баумана, состоявшиеся 20 октября, остались в памяти Москвы. В этих похоронах приняла участие вся рабочая Москва. Более 100 тысяч человек стройными колоннами, со своими знаменами и оркестрами музыки, шли за его гробом и завалили могилу высоким холмом красных живых цветов.

117) „Зритель". Экстренный выпуск 24 ноября 1905. Дурново—виднейший представитель правительственной реакции, мин. внут дел.

118) „Жупел" № 1 1905 г. Имеется в виду С. Витте в этом и следующем стихотворении.

119) „Шрапнель" № 1. 1905 г. 8 декабря.

120) Из конфискованного сборника стихотворений Амари, хранящ. в Моск. рев. архиве.

121) „Зритель" № 22 1905 г., 22 ноября;

122) „Шрапнель" № 1, 1905 г.

123) „Шрапнель" 1905 г. вып. 2, 2 декабря. Москва.

124) 18 февраля 1906 г. лейтенант Шмидт был присужден к смертной казни. 6 марта на острове Березани были расстреляны: лейт. П. Шмидт и матросы Частник, Гладов и Антоненко.

125) „Жупел" № 3 1906 г.

126) „Солдатская Жизнь" 1907 года, изд. Центрального Комитета Рос. С. Д. Р. П. Начиная от 1906 года нарождается много революционных солдатских газет в особенности в Москве. Большая часть из них выходит под знаменем Рос. Соц. Раб. Партии. Коллекция их имеется в Москов. Рев. Архиве.

127) Солдатский голос № 2. 1906 года Военной Организации и Московская Жизнь Рос. С. Д. Р. П.

128) Печ. в № 1 „Солдатского Голоса", в 2—3 „Солдатской Жизни" 1906 года.

129) Это стихотворение не раз перепечатывалось в газетах для солдат.

130) № 8 „За народ". 1907 г. (Моск. Рев. Архив).

В этой песне видно подражание напечатанной в 1-й главе нашей книги песне Рылеева и Бестужева.

Царь наш, немец прусский,
Носит мундир узкий.
Ай-да царь, ай-да царь!!!

131) Всероссийский Союз солдат и матросов 25 июля 1907 г. изд. Ц К. П. С. Р. (Моск. Рев. Арх.).

132) „За народ" № 9, 1907. Рядовой Черницкий был присужден в Москве военно-окружным судом к смерти и расстрелян за то, что выпустил шесть политических арестованных на волю и сам с ними бежал. Все скрылись, но сам он был опознан на вокзале и арестован. (Московск. Революц. Арх.).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Глава III.

Декабристы.

Глава IV.

Николай I и его время.

Глава V.

Молодая Россия.

ЧАСТЬ II.

Разночинец пришел!

Глава I.

Отцы и дети.

Глава II.

В народ!

Глава III.

Народовольцы.

Глава IV.

После разгрома народной воли. Эпигоны народничества.

ЧАСТЬ III.

Под знаком пролетариата.

Глава I.

Перед 1905-ым годом.

Глава II.

9 января 1905 г.

Глава III.

Октябрь 1905 года.

Глава IV.

Декабрь 1905 г.

По техническому недосмотру пропущены сноски к стихотворениям „Петру Алексееву“ (стр. 124—125) и „Бессмысленные мечтания“ (стр. 148), к которым относятся примечания 75а и 92а; к сноске 8 примечания нет.

Учебная Типография 1-го Дома-Коммуны. Мойка, 54.

Ленинградский Гублит № 9971 -- 6.000 экз.—16 п. л.

Цена 1 р. 75 к.

Кооперативное Книгоиздательское Товарищество
„КОЛОС"
Ленинград, Пр. Володарского, 21.
Телефон 5-66-23.



